

№2(374)·1967

# РОМАН ГАЗЕТА



ИВА ДАНГУЛОВ

ДИПЛОМАТЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“  
принимается подписка  
на собрание сочинений  
в пяти томах  
**ГАЛИНЫ СЕРЕБРЯКОВОЙ**

Настоящее издание является первым Собранием сочинений известной советской писательницы Галины Иосифовны Серебряковой.

В него войдут трилогия „Прометей“ и роман „Предшествие“ — обширное историко-биографическое полотно о жизни и революционной борьбе великих вождей пролетариата Карла Маркса и Фридриха Энгельса.

Первая часть трилогии — „Юность Маркса“ повествует о молодых годах Карла Маркса, о формировании его философских взглядов, рассказывает о борьбе рабочего класса Европы в 30—40-е годы XIX века.

Вторая часть — „Похищение огня“, состоящая из двух книг, охватывает двадцатилетний (1844—1864) и третья часть — „Вершины жизни“ — последний, восемнадцатилетний, периоды жизни и деятельности великого революционера и мыслителя.

В романах нашли отражение важнейшие события политической и культурной жизни прошлого века. Большой фактический материал, собранный в трилогии, дает возможность наглядно представить процесс формирования революционной идеологии пролетариата.

В Собрание сочинений войдет также книга новелл „Женщины эпохи французской революции“.

Собранию сочинений предпослана вступительная статья Л. Никулина.

ИЗДАНИЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНО В ТЕЧЕНИЕ 1967—1968 ГОДОВ

ТОМ ПЕРВЫЙ. „Юность Маркса“

ТОМ ВТОРОЙ. „Похищение огня“. Книга первая

ТОМ ТРЕТИЙ. „Похищение огня“. Книга вторая

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ. „Вершины жизни“

ТОМ ПЯТЫЙ. „Предшествие“. „Женщины эпохи французской революции“

**УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ**

Стоимость всего издания 5 р. 50 к. — по 1 р. 10 к. за том.

ПРИ ПОДПИСКЕ ВНОСИТСЯ ЗАДАТОК В РАЗМЕРЕ СТОИМОСТИ ОДНОГО ТОМА.

ОПЛАТА ВЫХОДЯЩИХ ТОМОВ ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИ ИХ ПОЛУЧЕНИИ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВСЕМИ МАГАЗИНАМИ, РАСПРОСТРАНЯЮЩИМИ ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ.

*Издательство  
„Художественная литература“  
СОЮЗНИГА*



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
МОСКВА

## САВВА ДАНГУЛОВ ДИПЛОМАТЫ

РОМАН

(Окончание)

63

Весна восемнадцатого пришла в Петроград вместе с мартовским дождем, который неожиданно упал на белые сугнины, на Неву, на деревья, опущенные инеем, и в одну ночь потревожил и залил фальми водами лед. Только вчера город был белым и голубовато-дымное сияние стояло над невской набережной, над Летним садом, над каменными просторами петроградских площадей, а сегодня все точно обуглилось: кора деревьев, напитанная влагой, кованое железо оград, камень... Да, есть такая пора весны, самой ранней: до того, как зеленым дымком затянет деревья и засинит небеса и воды, все, кажется, становится исчерна-черным. Вечерами, будто врезанные в самую тьму, неестественно ярко горели окна. И голоса города, только вчера ярко звонкие, отраженные в сухой тверди льда и камня, сегодня вдруг набухли, расплылись и потекли вместе с Невой, глухие, длинные, повторенные эхом. Все растопила весна, все зачернила угольным карандашом — только светится в ночи неровная ледяная стежка, что

легла кое-где через парки и не успела стаять.

Едва весть о брестском событии достигла Английской и Французской набережных, Невского и Фурштадской, дипломатический Петроград собрался в дорогу. Ломовники, гравастые и крепконогие, потащили грузовые фуры с черными посольскими сундуками, перехваченными брезентовыми и кожаными ремнями, на Московский вокзал к товаро-пассажирскому поезду, особняком стоявшему на запасных путях. Имя заштатного северорусского городка легло на сундуки и чемоданы: «Вологда». Оно прошло наискось их ребристые стены. Оно своеобразно преломилось в говоре пассажиров этого необычного поезда: «Волбогда», «Волгода».

Дипломаты стран Согласия покидали столицу революционной России, не скрывая неприязни к новому строю, не делая из своего поступка тайны.

Что означал этот шаг?

Одни говорили: Вологда призвана стать транзитным центром на пути дипломатов на родину.

Другие полагали: дипломаты не верят в мир большевиков с немцами и хотят покинуть Петроград до того, как немцы в него войдут.

Третьи, наконец, считали: выезд дипломатов из Петрограда — средство протеста против брестской инициативы большевиков, а выбор города не имеет значения.

Так или иначе, а товаро-пассажирский поезд, в такой же мере разношерстный (международные вагоны и платформы, груженные автомобилями), в какой и разноплеменный по составу пассажиров, готовился покинуть Петроград и уйти на восток, во мглу северных русских лесов, еще не тронутых мартовской оттепелью, оставив Петроград строить догадки и недоумевать относительно истинных причин отъезда дипломатов, отъезда, в такой же мере похожего на хорошо рассчитанный маневр, в какой на организованное бегство. Но как примет Брест Россия? Не возмутится ли ее достоинство, не взорвется ли и не потребует помочь извне?

На рассвете в посольство привозят утренние питерские газеты и по долгим лестницам особняка, чертыхаясь и проклиная судьбу, поднимается в свою скромную келью секретарь-переводчик. Пока посол досмотрит свой самый сладкий сон и распечатает светлые очи, переводчик должен окунуть орлиным взором содержание тридцати трех питерских газет и, что еще диковиннее, уместить его на трех машинописных страничках. разумеется, изложив текст по-английски — русский язык все еще остается для посла за семью печатями.

Ровно в десять, ни минутой раньше, ни минутой позже, секретарь внесет папку с заветными страничками в посольский кабинет и, возложив ее перед многомудрым лицом шефа, встанет поодаль, весь превратившись в зрение и слух: проглотит ли, не поперхнется?

А дальше — день. Большой день в чужой стране. От одного берега до другого — океан. Но человек, надо отдать ему должное, храбро бросается в воду.

В двенадцать посол будет завтракать с русскими военными, в два раза опьет бутылку бургундского с бывшим королем лесным, в четыре сядет за обеденный стол с королем нефтяным, в семь — театр, в одиннадцать — ужин... И всюду рядом с послом, как его поводырь и ангел-хранитель, секретарь. Он и тень, он и блик, готовый в любую минуту возникнуть и исчезнуть. В деловой беседе он между послом и гостем. На званом обеде он по левую руку от посла. В большом приемном зале он за спиной посла. Ни одно слово не произнесет посол, чтобы между ним и собеседником не оказался секретарь. Точно искусственные зубы или слуховой аппарат, секретарь поместился

где-то внутри посла, превратившись из человека в приспособление. Посол научился его не видеть, в этом ведь нет большой необходимости. Для него секретарь — только голос, часто переходящий на шепот, едва внятный. Но вот чудо: хоть секретарь и незрим, он мыслит. Посол догадывается, секретарь не просто переведет на русский его речь, он, словно знаки препинания, расставит акценты, осторожно придаст речи и живописность и юмор, общие рассуждения обогатят именами собственными, вставит невзначай крылатое словцо, сообщив речи и мысль и блеск.

Нет, посол не так прост, чтобы не понимать деликатности своих отношений с секретарем. Действует защитный рефлекс. «Майл, ты у меня министр!» — с фамильярной хитрецой подмигивает он секретарю. Но секретарь нем. Уласи господи воспринять тон посла — завтра останешься без должности. У секретаря своя стежка — он следует по ней неколебимо: «Ваш прогноз оказался верным, господин посол!». «Вы предупредили серьезную неприятность...». «Вы парировали...». И пошло как по-писаному: «Предупредили!», «Предугадали!», «Превозмогли!» — «Пре... пре... пре...». Каждый, как умеет, играет свою роль.

А сейчас утро и три странички лежат перед послом. Три странички, впитавшие все, что отважились сказать читателям питерские газеты.

Тайна декабряского слета в Париже малопомалу становится явью — новая политика по отношению к России дает свои плоды.

Три крейсера уже идут в русские порты: американский — «Олимпия», французский — «Адмирал Об», английский — «Глори».

Англичане, как всегда, в авангарде: их военное судно с десантом на борту будет в Мурманск 9 марта.

Но хорошая политика никогда не была прямолинейной, тем более что Брестский договор еще подлежит ратификации. Пусть «Глори» идет в Мурманск, а товаро-пассажирский состав с дипломатами в Вологду — у каждого своя цель: у военных — военная, у штатских — штатская. Главное, чтобы все контакты были сохранены и все добрые слова произнесены — чем добрее, тем лучше.

— Скажи, Майл, когда Брюс Локкарт должен быть у Ленина?

— Простите, Владимир Ильич у себя?

— Да, принимает Локкарта.

Репнин не остановился. В момент, когда мир с немцами уже не отдаленная перспектива, а вопрос дней, англичане направили к Ленину своего самого деятельного эмиссара. Все силы пришли в движение!

Репнин вошел в комнату, которую только что покинула девушка в вельветовой блузке. Было необычно тихо. Эта тишина только подчеркивала значительность события, происходящего рядом. Репнин взглянул на часы — четверть одиннадцатого. Ленин пришел в кабинет час назад, значит, беседа началась недавно. Судя по тому, как Ленин говорил о Локкарте с Репниным, Владимир Ильич никогда не встречался с англичанином, это их первая беседа.

Репнин был прав: первая встреча. Когда десять минут назад Локкарт шел смольнинским коридором (благо коридор был от горизонта до горизонта и давал простор мысли), он не мог не признаться себе, что его уверенность непонятно поколеблена при одной мысли о предстоящей встрече.

Локкарт пытался разобраться в своем чувстве, которое было для него ново. Все, что говорили Локкарту о Ленине, которого он хотел видеть, но до сих пор не видел, нередко сводилось к рассказам о воинственной энергии этого человека. Энергия эта, как казалось Локкарту, была способна вызвать порядочное опустошение в противном Ленину стане. Среди постоянных собеседников Локкарта были два человека, в жизни которых Ленин занимал свое большое место. Эти двое были непохожи друг на друга, как только могут быть непохожи люди: первый — идеалист, второй — бизнесмен, первый — профессиональный дипломат, второй — едва ли не профессиональный военный, первый... Короче, это были Чичерин и Робинс.

Нравится это Чичерину или нет, но он, как полагал Локкарт, человек дворянской культуры, при этом не столько века двадцатого, сколько девятнадцатого. Как ни жестока была русская революция, она склонила на свою сторону немало тех, на ком держалась та Россия. Не столько буржуа, сколько дворян, и это, наверно, характерно. Среди последних — Чичерин. В своем неизменном желто-коричневом костюме, сшитом из недорогого твида, как думает Локкарт, еще в Лондоне, который заменял ему и фрак, и визитку, и деловой костюм, Чичерин был деятелен и нес свое бремя с радостью.

Локкарт впервые беседовал с Чичериным на Дворцовой, в кабинете, который до этого был кабинетом Терещенко, а еще раньше Сазонова; Чичерин держался корректно-лояльно,

даже дружественно. Это не помешало ему произнести несколько жестких фраз вроде того, что британский имперализм столь же ненавистен русским, что и германский милитаризм.

В каком качестве Локкарт явился к Чичерину? В более чем своеобразном: он английский представитель. Не посол и не поверенный в делах, а именно представитель. С отъездом Бьюкенена у англичан в России нет посла. Есть поверенный в делах — Линдлей. Но он лицо официальное и никаких дел с большевиками не имеет, подобно Френсису и Нулансу. Поэтому практические связи с новым русским правительством возложены на Локкарта. У Линдлея — Локкарт, у Френсиса — полковник Раймонд Робинс. Своеобразный теневой дипломатический корпус в Петрограде.

Локкарт щепетилен и точен в своих отношениях с британским поверенным в делах. Линдлей осведомлен о каждом значительном шаге Локкарта. А как Робинс? Он не делает секрета из своих отношений с большевиками. Он встречается с Лениным часто. Очевидно, американцы думают, что эти встречи полезны им. Вряд ли большевики думают иначе. Линдлей и Френсис послали своих эмиссаров к большевикам в надежде (она всегда оправдана) не все мосты сжечь. У Ленина свой план: прямо противопоставить эмиссаров послам: Локкарта — Линдлею, Робинса — Френсису.

Трудно сказать, в какой мере русским известна жизнь Робинса, но они достаточно осведомлены о жизненной стезе Локкарта, однако это не мешает им относиться к нему непредвзято. Это свойство национального характера или тактический ход их молодой дипломатии — истинная дипломатия не уходит от борьбы, если даже ей противостоят фигура столь своеобразная, как Локкарт.

Кстати, эту корректность по-своему преломила и истолковала пресса. Для нее Локкарт влиятельный англичанин, прибывший в Питер в качестве доверенного лица Ллойд-Джорджа, при этом симпатии Локкарта, разумеется, на стороне русской революции. Все это повторялось прессой столь настойчиво и было так убедительно, что ввело в заблуждение и русских и англо-французов. Первые устремились к Локкарту, вторые — от него!

А как поведет себя Ленин? Какой тактики держится он?

Ленин не заставил себя ждать: он принял Локкарта тотчас же. Когда, войдя в комнату, Локкарт шагнул к письменному столу, из-за которого вышел Ленин, англичанин увидел боковым зрением, сумеречным и нерезким, как с полукресла, стоящего у окна, поднялся Троцкий.

— Здравствуйте, — произнес Ленин, протягивая руку и с испытующей твердостью глядя Локкарту в глаза, точно говоря: «Даже любопытно — вон вы какой, Брюс Локкарт!» — Мне хвалили ваш русский язык. Будем говорить по-русски?

— Ну что ж, по-русски так по-русски! — произнес Локкарт с неунывающей отвагой, теперь пожимая руку Троцкому. — Здравствуйте, здравствуйте. — В голосе Ленина Локкарт почувствовал радущие и хотел ответить полной мерой. — По-русски так по-русски! — произнес он, просияв.

Ленин вернулся за стол и предложил Локкарту место слева от себя, в то время как Троцкий пошел к своему полукреслу. Мгновенная пауза будто засекла позицию каждого: Ленин и Локкарт готовы были начать беседу, Троцкий, удалившись к окну, будто свидетельствовал, что его интерес к этой беседе ограничен.

Локкарт еще раз оглядел кабинет (так вот где первый большевик России читал Робинсу свои полуночные проповеди!) и взглянул на Ленина с веселой решимостью — он не намерен был тратить время на раздумья, — разумеется, он будет благодарен советскому премьеру, если тот осветит нынешнюю стадию отношений с немцами.

Ленин посмотрел на Локкарта не без улыбки; наверно, Локкарт мог бы ответить на этот вопрос не хуже Ленина — ведь все опубликовано, все на ладони.

Но вопрос задан и требует ответа. Быть может, ответ будет в такой же мере лишен оригинальности, как и сам вопрос, но, очевидно, для начала беседы такой вопрос, как и ответ, необходим.

— Мы вели переговоры с милитаристами, и условия, которые нам предъявили, могли предъявить только милитаристы. — Ленин скосил глаза на книгу, лежавшую на столе. — Условия эти нельзя назвать иначе, как скандальными, но мы их примем.

— Но как прочен будет такой мир и на сколько его хватит? — спросил Локкарт и, придинувшись к столу, прищурился с очевидным намерением рассмотреть название книги.

— На сколько его хватит? — Ленин воспроизвел вопрос Локкарта даже интонацией, не утаив чуть иронического отношения к словам англичанина. — На сколько хватит, трудно сказать, — отозвался Ленин. — Ясно одно: если немцы нарушают слово и сделают попытку навязать нам буржуазное правительство, мы обратимся к оружию. — Он придинулся к столу, взял со стола книгу. — Мы будем воевать до последнего, если даже придется отступать до Волги и Урала! — Ленин потряс книгой. — Но мы будем воевать на собственных условиях: мы

не станем таскать каштаны из огня для союзников!

— Простите, господин премьер, но тогда какова основа ваших отношений с союзниками? — спросил Локкарт и медленно откинулся в кресле, повторив движение Ленина, это давало ему возможность рассмотреть название книги, лежащей на столе, кажется, это была французская книга.

— Нам так же ненавистен англо-американский капитализм, как и германский милитаризм, — сказал Ленин.

Ленин повторил слово в слово фразу Чичерина, которую произнес тот во время первой встречи с Локкартом на Дворцовой. Значит, не было формулы Чичерина, была формула Ленина! Новая для Локкарта возможность убедиться в истине, к которой он пришел своим путем; ни одно крупное решение Чичерин не принимает без того, чтобы не посоветоваться с Лениным.

— Но какова все-таки основа для нашего сотрудничества? — спросил Локкарт, обхватив спинку стула, на котором сидел только что: книга была перед ним, французская книга «Антимилитаризм после войны». Она была издана, как показалось Локкарту, в Лозанне и принадлежала Голлею. «Кто такой Голлей?» — не мог не спросить себя Локкарт. Видно, Ленин листал эту книгу еще сегодня утром, готовясь к беседе. Для него встреча с Локкартом еще одна возможность дать бой коварному Альбиону.

— Вы живете по-своему, мы — по-своему, — возразил Ленин почти миролюбиво. — Но мы можем позволить себе пойти на временный компромисс с капиталом. Такой компромисс для нас даже необходим: ведь если капиталисты объединятся, они нас задушат. К счастью, капитал по самой своей природе не способен к единству. Поэтому, пока существует германская опасность, мы пойдем на риск сотрудничества с союзниками, что представляет выгоду для обеих сторон. В случае немецкой агрессии мы готовы принять даже военную помощь.

Локкарт забеспокоился и взглянул на Троцкого, но тот казался странно безучастным. Последний раз, когда они виделись, Троцкий был иным. Это было числа пятнадцатого — шестнадцатого где-то здесь, в Смольном, в кабинете Троцкого с красным ковром посередине. Троцкий только что вернулся из Бреста. Он еще не знал, чем ответят немцы на его формулу «Ни войны, ни мира!», но считал, что ответ этот не сулит ничего доброго. Троцкий негодовал. Нелегко было установить, против кого обращен этот гнев, но Троцкий был неистов. И вдруг молчание сковало Троцкого. Молчание, которое трудно понять: то ли это неизбежная реакция ума,

который не знает иных состояний, кроме шторма и штиля, то ли равнодушие к делу, которое человек уже считает не своим.

— Но согласитесь, — возразил между тем Локкарт, — теперь, когда вопрос о мире решен, немцы получат возможность бросить все свои силы на запад. Они могут даже разгромить союзников, в каком положении тогда окажется Россия? К тому же хлебом, который немцы вывезут из России, они смогут накормить свое голодавшее население, — добавил Локкарт и тут же огорчился, что сказал это: пожалуй, последний довод ничего не прибавлял к тому, что было произнесено раньше.

— Как все ваши соотечественники, вы мыслите конкретными военными категориями и игнорируете психологический фактор. — Ленин поднялся, пошел по комнате, пошел размеренным и спокойным шагом, при этом, как заметил Локкарт, он не убыстрял и не замедлил шага, когда минул Троцкого, он точно хотел сказать этим Троцкому: «Вы начисто выключились из разговора. Вряд ли это уместно, хотя бы по соображениям такта. Но вас это устраивает, и не сетуйте, если я пойду вам навстречу до конца». — Но даже с вашей точки зрения аргументация не обоснована, — продолжал Ленин. — Германия давно отозвала свои лучшие войска на запад. Что же касается возможности Германии получать из России большое количество продовольствия, то можете не беспокоиться. Пассивное сопротивление — это выражение пришло к нам из вашей страны — более сильное оружие, чем то, которым располагают военные.

Прощаясь, Локкарт подумал: «Что сообщил Ленин нового?» Пожалуй, ничего. Все, что он сказал Локкарту, он многократно повторял в своих последних речах да, пожалуй, в беседах с Робинсом. Все, в том числе и эту формулу об одинаково непримиримом отношении большевиков к немцам и странам Согласия. Впрочем, эта формула, повторенная в беседе с Локкартом, обрела новый смысл, отнюдь не обнадеживающий для Локкарта.

Локкарт вновь оказался в длинном смольинском коридоре, мысль его упорно возвращалась к Робинсу. Где-то тесная дорожка, которой шли англичанки и американец, невидимо раздвоилась, образовав вилку, и Локкарт увидел своего коллегу далеко в стороне. А потом вступил в действие закон времени: чем дальше они шли, тем дальше оказывались друг от друга — вилка! Вот хотя бы этот вечер у Локкарта. Резиденцией Локкарта в Питере стал дворец на набережной. Локкарт собрал друзей — не столько новоселье, сколько холостяцкая пирушка. Робинс не приехал к началу — у него была очередная встреча с Лениным. Американец явился, когда гости были уже за сто-

лом. Локкарт не сводил глаз с Робинса. Американец был необычно пасмурен и замкнут — он явно находился под впечатлением беседы, которая была у него в Смольном. Робинс встал из-за стола, так и не разомкнув уст, но когда гости перешли в гостиную, Робинс дал свободу и мысли и страсти. Он высмеял утверждение, что большевики работают на германскую победу. «Нам нечего ждать от русской буржуазии, которая реставрацию привилегий связывает с немецкой помощью», — сказал Робинс. Затем он извлек из кармана вчетверо сложенный лист бумаги. — Вы когда-нибудь читали эти стихи? — спросил он. — Я переписал их из газеты. Он подошел к окну так, чтобы отблеск заходящего солнца (оно было живописно в сочетании с силуэтом Петропавловской крепости) лег на бумагу.

Он начал читать:

Мы мертвые. Вчера мы жили —  
Дышали, пели и любили,  
Сегодня мы лежим недвижно  
В долинах Фландрии.

Смените нас на поле боя,  
Наши факел сильно рукою  
Вздымите смело к небесам.  
Но коль измените вы нам —  
Нам никогда не знать покоя  
В долинах Фландрии<sup>1</sup>.

Получилось так, что ирония Робинса в адрес антибольшевиков и стихи о войне слились воедино. Среди гостей Локкарта вряд ли были друзья новой России, но слова Робинса потрясли и их. Подле Локкарта стоял Бенжи Брюс, чье предубеждение против большевиков было хорошо известно. Но в тот момент он полагал, что признание Советов и помощь им были бы правильной политикой. Ни единим словом Робинс не обмолвился о встрече с Лениным, но все поведение американца в этот вечер слишком очевидно было подсказано этой встречей и ее отразило.

После сегодняшнего своего похода в Смольный Локкарт понял лучше, чем прежде: Ленин мог владеть воображением Робинса. Но, возвращаясь к смольинской беседе, Локкарт задумался и над подробностью, которая к беседе отношения не имела, но была подробностью значительной. Разногласия между Лениным и Троцким живы. Поединок продолжается даже тогда, когда диалог между большевистскими лидерами, как это было сегодня, в сущности является диалогом молчания. Лондон возлагает свои надежды на эти разногласия.

Но вот вопрос: насколько серьезны козыри, которыми обладает Троцкий? Троцкий человек недюжинной энергии и, пожалуй, темпера-

<sup>1</sup> С английского. Перевод Андрея Сергеева.

мента. Но его тщеславие, как признает Локкарт, весьма чувствительно к похвалам. На нем, на этом тщеславии, и Локкарт мог играть не без успеха. Льстить Ленину... что может быть более нелепым? Ленин против лести бронирован. Каковы реальные шансы противоборствующих сил? Любопытен рассказ, который поведали Локкарту однажды. Происходило заседание Совнаркома. Троцкий внес предложение. Ему возразил весьма страстно один из комиссаров. Разгорелся спор. Назалось, Ленин воспользовался этим и углубился в работу — блокнот и карандаш были перед ним. Наконец кто-то из присутствующих, утомленный спором, произнес: «Владимир Ильич, давайте же решим...» Ленин оторвал взгляд от своей работы и в одной фразе, только в одной, предложил формулу решения — мир был восстановлен тотчас. Даже при желании не толковать этот эпизод слишком расширительно, он, как полагал Локкарт, давал ответ на главный вопрос: как ни упорен поединок, исход его нетрудно предугадать — слишком неравны силы.

Простишись с Локкартом, Ленин принял Репнина.

— У нас к вам просьба, Николай Алексеевич, — произнес он, пожимая ему руку, и взглянул на Троцкого. Корректно-вежливым «у нас» Ленин сделал еще одну попытку присоединить Троцкого к общему разговору. — Только что здесь был английский представитель, на днях будет американский. — Он помолчал, очевидно намереваясь произнести главное. — Нельзя ли исследовать такую проблему: как поведут себя страны Согласия после заключения мира. Двадцать страниц на пишущей машинке. Мнения и мысли. Ваш вывод. Ваш...

Репнин встретился взглядом с Лениным. «Поймите, что для нас это проблема проблем», — точно говорили в эту минуту глаза Ленина. А Репнин подумал: как ни важна для Ленина эта работа, она имеет и педагогическое значение. Эти двадцать страниц текста могут стать своеобразным мостом, по которому Репнину предстоит перейти из старого мира в мир новый.

— Я бы не беспокоил вас, Николай Алексеевич, но это важно.

— Очень, — согласился Троцкий и взял с соседнего кресла свою папку с медной застежкой.

— Очевидно, для такой работы нужен месяц, — добавил Ленин. — У нас месяца нет, у нас есть неделя. — Но Ленин,казалось, сказал не все. — Вот задача для дипломата: Робинс и Локкарт. Кстати, исследуйте и ее...

Уже очутившись далеко за пределами Смольного, Репнин вдруг увидел на противоположной стороне улицы Локкарта. Тот шел кромкой тротуара, шел быстро. Англичанин так задумался, что на какой-то миг утратил контроль над собой, над своей походкой, над лицом своим.

Репнин убавил шаг, посмотрел Локкарту вслед. Наверно, Локкарту кажется, что он настолько перевоплотился в дипломата, что истинное лицо его не угадывается. Ему-то надо знать, что это не так. Есть в этих людях для Репнина нечто такое, что выдает их с головой: в их походке, которая и на большом приеме остается скользящей (перебежками, перебежками!), в их взгляде, который чем-то похож на блуждающий в небе луч и который то расслаблен, то тверд, в их манере говорить, которая при кажущейся свободе и безыскусности неизбежно будет сведена к системе вопросов; в их желании перейти на доверительный тон, прежде чем это может позволить собеседник; в их почти патологической боязни так встать и так сесть, чтобы, уласи господи, за спиной не оказался кто-то; в их фамильярности, которую никак не упрятать и которая, очевидно, определена тем, что в своей карьере они, как правило, опережают возраст и ум; в их, наконец, неожиданно угнетенном виде, который вызвало к жизни постоянное одиночество, одиночество тоскливо, знакомое разве только зверю... Нет, определенно есть некая беспомощность в людях, носящих маски.

## 65

Своеобразный календарь с обозначением фамильных торжеств у Репниных вел Илья Алексеевич. Большой день был еще за горами, за долами, а старший Репнин уже подавал знак:

— Четырнадцатого марта Елена родилась, не запамятуй!

И разом приходили в движение невидимые веретена, много веретен, наращивая с каждым днем скорость, обгоняя друг друга, заставляя напряженным гудением и тревожиться, и радостно замират сердце.

Уже много дней вертели эти веретена и в этот раз («Четырнадцатого марта родилась Елена!»), когда Илью Алексеевича осенила счастливая мысль.

— Замани, Ленушка, к нам Егорку... оказии такой больше не будет!

— Заманю, — сказала Елена и собралась было идти, но Илья Алексеевич удержал ее.

— У нас будут свои? — спросил он. — Своим свои?

Казалось, румянец, объявивший ее щеки, поднялся до бровей — еще миг, и огонь спалит их.

— Я сделала так, чтобы Егорка был с тобой, — сказала Елена.

Но тоскликий холодок подозрения уже проник в его сердце. Видно, и к Елене подобралось всевластное лихо. Кого она хочет уберечь от Ильи? Беда шла на дом Репниных, и, кажется, не было от нее спасения.

— Кто этот человек? — осторожно возобновил Илья Алексеевич прерванный разговор, увидев Елену на следующий день. — Я его знаю? — Он взял ее руку, поднес к колючей щеке.

— Помнишь, Патрокл, того, седоголового, что пожаловал к нам ночью?

Он затих, все отвердело в нем, только зрачки ворочались едва заметно.

— Да не чекист ли он, Ленушка?

Она не очень понимала это слово. В том кругу, в котором она жила, это слово было синонимом других слов, таких же устрашающих.

— Знаешь ли, кого ведешь в дом?

Он пугал, старый добрый Патрокл, а ей решительно было не страшно.

Они встретились с Ильей вновь лишь в канун дня рождения.

— Ленушка, я просил кликнуть еще Поливанову. — Он сказал: «Поливанову», а не «Агнессу Ксаверьевну», как звали ее обычно в семье, и этого не могла не заметить Елена, сказал не из храбрости. — Хочу поразвлечь ее маленько, с той среды она листры черным крепом обернула. Ты не тревожься: денег добуду.

Он сказал: «Денег добуду», а Елена подумала: «Опять запрется в своей келье, а потом ненароком выйдет с круглым свертком под мышкой и пойдет из дома подчеркнуто твердым шагом, глядя вперед. И так сверток за свертком. Говорят, до войны у Патрокла была необыкновенная коллекция черно-белой графики».

— Хочу показать ей Егорку, — сказал Патрокл, имея в виду Поливанову.

Агнесса Ксаверьевна Поливанова (в свете просто: Поливанова 1-я) была закадычной подружкой Ильи Алексеевича, карточным партнером, поверенной всех самых сокровенных дел. Душа смятенная, Агнесса Ксаверьевна неожиданно оказалась очевидцем событий, которое явно не было рассчитано на ее маленькое сердце: в прошлую среду на рассвете в дом вторгся взвод латышей. В автомобиль, что стоял у подъезда, погрузили сундук с личной корреспонденцией Поливанова 1-го, ларец с фамильным золотом, рядом поместили самого Поливанова и увезли. Двумя днями позже Поливанов 1-й вернулся, как говорят, под расписку, однако без сундука и, разумеется, без ларца. Так или иначе, а с той злополучной ночи Аг-

несса Ксаверьевна постоянно ловила себя на том, что прислушивается к шуму автомобилей и вздрагивает при звуках автомобильного рожка. Она ходила по дому тихая, смотрела на мужа влажными глазами, точно видела в последний раз.

— Хочу развлечь Агнессу и показать ей Егорку, — повторил Патрокл. — Егорка ей будет любопытен.

Елена устремилась прочь. Патрокл не мог не заметить: ее решительно не устраивало продолжение разговора.

Прежде бывало так: в канун праздника, когда вкусное дыхание только что вынутого из печи сдобного теста распространялось по дому. Илья Алексеевич приходил на кухню. Он любил наблюдать, как Егоровна прослаивает заварным кремом многоярусный пирог, украшает крупными абрикосами, вынутыми из варенья, готовит бабку, сбивает сахаристое, туто текучее бзесе. Не было в этот момент у Ильи Алексеевича большего желания, как получить из рук Егоровны кусок пирога и потом нести его на ладони, горячий, напитанный пылающей влагой, пахнущий свежей вишней, с румянецшей, мягко вдавленной корочкой. А сейчас Илья Алексеевич нес на дрожащей ладони пирожок с вишней, тяжелый и сплюснутый, испеченный из серой муки восемнадцатого года, и на душе лежал тоскливыи туман, такой же, как этот пирог, серый и тяжелый: необычным нынче будет день рождения Елены.

Первой из гостей приехала Поливанова 1-я. Она пошла за Ильей Алексеевичем, кутая плеши в просторный шерстяной платок, закрыв глаза.

— Молва сказывает, что Кочубей в панике, ждут приезда Софы, — произнесла Агнесса Ксаверьевна, когда вошли в комнату Патрокла, и, сбросив туфли, она взобралась на софу — это место у печи было любимо ею. — Приедет и возвратит Георгия Ильича (она так и сказала «Георгия Ильича», не «Егорку») в Швецию.

Старший Репнин сник. Он сидел перед чашкой кофе, опустив голову, тонкая струйка пара коснулась вихра седых волос, и вихор странно удлинился.

— Знаешь, обидно сознавать, — говорил Илья, не поднимая головы, — что все вершится помимо твоей воли и ни на что ты уже не можешь влиять. Да поедет ли он в эту Швецию? У него свое разумение — взрослый. Не поедет...

— А вот он придет сюда, и мы все узнаем, — говорит она.

— Узнаем, — говорит он и смотрит на часы. — Через полчаса узнаем, — добавляет

он, а сам не сводит глаз с часов, точно эти полчаса истекут сию секунду.

А на улице вызванивают трамваи, точно их сто лет держали взаперти, лишив возможности двигаться и звенеть, а сейчас вдруг выпустили. Нет, это уже звенит не трамвай, а дверной звонок.

— Поброди, Егорушка, по дому, а я пока займусь собой, — говорит Елена. — Или лучше зайди к Илье Алексеевичу, он тебя ждал.

— А он ничего не говорил о пилках для лобзика?

Елена смеется — Патрокл все рассчитал точно.

— Да ты спроси его, он у себя.

Слышишь, как застучали шаги Егорушки и неожиданно замерли — видно, стоит где-то рядом, не решается войти. И два человека, два старых человека, тоже по-птичьи вытягивают шеи, дожидаясь стука в дверь, и робеют не меньше мальчика, что пришел за пилками для лобзика и стоит сейчас у самой двери.

— Илья Алексеевич, разрешите?

Вздох вырвался из груди старшего Репнина и отозвался в его больных бронхах.

— Заходи, Егор.

Илья видит: в раскрытой двери стоит сияющий мальчик — да нет, нет же, не надо переоценивать его счастливой улыбки, он рад не встрече с тобой, а пилкам для лобзика!

— Заходи! — говорит Илья, а сам счастлив безмерно. — Позволь представить тебе Агнессу Ксаверьевну Поливанову, сестру твоего дяди Корбанского. Да знаешь ли ты своего дядю Корбанского? — спросил он и рассмеялся.

Егор покраснел — разумеется, отродясь он не слыхал, что у него есть такой дядя.

— Нет, признаюсь...

Илья достает из шкафа третью фарфоровую чашку и пытается налить в нее кофе; рука дрогается, и кофе проливается. Старший Репнин становится к мальчику спиной и, придерживая одной рукой другую, медленно наполняет чашку.

— Прошу тебя, Егорушка, вместе с нами.

Но Егорка брезгливо косится (он не может скрыть этой брезгливости) на мокрые руки Патрока, которые тот пытается вытереть, и, разумеется, замечает, что платок Патрока не очень свеж.

— В какую гимназию тебя определили: в Первую на Ивановском, или Петра Великого на Большом, или, быть может, эту... Человеколюбивого общества? — Агнесса Ксаверьевна говорит, и ее серые глаза, опущенные густыми ресницами, точно надвигаются на тебя. — Господи, надо же такое придумать: Человеколюбивого общества! Будто речь идет не о людях, а о собаках. В какую тебя определили, Егорушка? —

спрашивает она: у нее очень симпатично получается: «Егоушка!»

— Дед сказал мне: «Мосье Шаброль тебе заменит все гимназии: и Петра Великого, и Человеколюбивого общества — не умеют учить в Питере!»

Илья Алексеевич улыбается: однако храбр старик Кочубей, да и молодой Репнин не из робких — молодец Егорка!

— Ну и как мосье Шаброль... хорош?

— Добрая душа! — восторженно воскликнёт Егорка. — Коммунар!

— Ты сказал: коммунар?

— Да, как все французы!

Агнесса Ксаверьевна беззвучно шевелит губами и скользит взглядом по столу: кажется, и она пытается рассмотреть там пилки — сейчас самый раз вручить их Егорушке.

— Вот, Егор, я припас тебе, — говорит Илья Алексеевич, распечатывая пачку с пилками. Илья Алексеевич приятно вручить Егорке нехитрый этот подарок — сколько бы ни жил на свете, все б дарили ему пакеты с немудренными этими пилками, лишь бы Егорка улыбалась в ответ вот так простодушно и искренне.

— Погоди, Егорушка, а как твои летние каникулы? Куда устремишь стопы свои — в Швецию или, быть может, к деду в Тверь? — спрашивает старший Репнин.

— Какая там Швеция, дядя Илья? Конечно, в Тверь, на Волгу!

Он берет пилки и уходит. Слышишь, как стучит ботинками в столовой, он счастлив. Илья смотрит на подружку, которая вновь забралась на софу и припала к теплой стене — ей холодно. А сумерки втекают в дом: сизые, они гасят блики, затягивают тусклой пленкой бумагу и ткань, обволакивают мебель. Только лица светлы, только их не может загасить вечер, что-то есть в коже лица такое, что живет и во тьме.

## 66

Сумерки, что сизый мартовский снег, будто завалили Патрока, лишили глаз и слуха.

— Патрока, милый Патрока... посмотря, какое чудо принесли наши гости! И вы взгляните, Агнесса Ксаверьевна! Сильный и добрый зверек! Кажется, мангуст!

Это Елена. Она мчится из гостиной через весь дом, и в шкафу звенит посуда. Илья нащупывает прохладную костишку выключателя, поворачивает — неудобно, если Елена их застает сидящими вот так, в темноте.

— Я прошу вас, такое чудо!

Сейчас улыбаются и Агнесса Ксаверьевна с Ильей Алексеевичем, в улыбке и умиление наивной восторженностью Елены, и сомнение — идти или нет смотреть чудо? Но Елена решает

за них, она хватает Агнессу Ксаверьевну за рукав и увлекает в гостиную.

Илья выключает свет и возвращается на софу. Он сидит в темноте, доверив всего себя думам о Егорке. Из гостиной доносится смех и голос Агнессы, в темноте он особенно отчетлив:

— О, да как же мы красивы! А как зовут нас? Какой мы породы? Кто мы такие?

Потом неожиданно наступает тишина. Минута тишины. Большая минута тишины. Открылась дверь — Агнесса. Она вошла едва слышно.

— Как этот военный проник к вам в дом? — спросила она. — Каким образом?

Он молчит. Все, что смутно роилось в нем все эти дни, что мучило и давило, сейчас вдруг поднялось и встревожило.

— Он тебе известен?

Прошла вечность, прежде чем она разомкнула уста.

— Он был, когда забирали Поливанова, — сказала она. — Его нельзя не запомнить — молодые седины.

За полночь, проводив Агнессу Ксаверьевну, старший Репнин вернулся на Черную речку. Дом спал, только Елена бодрствовала.

— Входи, Патрокл, — сказала Елена, слышав шаги рядом с дверью.

Но Илья не вошел — в конце концов дверь не мешала произнести то, что он хотел произнести.

— Это твой Кокорев был с обыском у Агнессы Ксаверьевны и увез на Шпалерную Поливанова, — сказал старший Репнин.

Он слышал, как Елена вздохнула и медленно захлопнула книгу.

— Ну и что ж... — сказала она.

Он выдержал паузу.

— Я говорю, твой Кокорев — чекист.

Он видел, как задрожало в комнате пламя свечи.

— Это все, что ты хотел сказать?

Илья Алексеевич едва достиг своей комнаты, когда в столовой застучали частые, быстро удаляющиеся шаги Елены и хлопнула входная дверь.

Старший Репнин выбежал во двор, отодвинув тяжелый деревянный засов ворот — путь через дом к парадной двери был бы длиннее, — выглянул на улицу. Ему почудилось, что он приметил Елену, перебегающую дорогу; потом ее тень на дороге — видно, над ее головой ветер тряс фонарь, — длинная и печальная, вздрогнула.

— Ленушка... Елена!

Налетел ветер и медленно растер голос на голых камнях вместе со скопой пригоршней снега.

Илья стоял у распахнутых ворот без пальто, в ночных туфлях, простоволосый, всматриваясь

в дальний конец улицы, туда, где ветер грозил пустым кулаком уличного фонаря невысокому питерскому небу. Вот она беда, что уже пошла в атаку на дом Репнинов!

А в сознании Елены жили слова Патрокла. Надо было очень хорошо знать Елену, чтобы обратиться к этим словам. Всю дорогу, пока она мчалась в тот конец города, ее знобило, на сердце наплывали тоскливы туманы и было непредаваемо горько, что Патрокл мог подумать о Кокореве так худо, что семейный праздник, начатый светло, закончился так нескладно, что было, наконец, что-то зловещее даже в облике мангусты, которая сейчас бегает по дому, тупая и юркая, похожая на ящерицу.

Елена была у дома Кокорева, когда уже рассвело. Она безбоязненно позвонила, но на звонок не отозвались. Только теперь Елена вспомнила, что мать Василия накануне уехала в Кувшиново за мукой и пробудет там дня два. Она позвонила еще и еще — нет ответа. Быть может, Василий ушел от Репнинов в Смольный, а возможно, так уснул, что ничего сейчас не слышал. Она набралась терпения и позвонила в третий раз, позвонила настойчиво — в доме было тихо. Она уже пошла прочь, бесконечно усталая и сникшая, когда услышала, как открылась дверь.

В дверях стоял Василий. В шинели, без сапог, белый вихор вздыблен, но в глазах нет сна — видно, беспокойство уже перекинулось от Елены к нему.

— Что ты так?

То ли взгляд ее был грозен, то ли он вдруг застеснялся своего вида — Василий отпрянул, и Елена вошла в дом.

Он принялся целовать холодные руки, но она отстранила его.

— Я очень озябла, дай мне чего-нибудь горячего.

А потом они сидели в его комнате над пылающим чаем, и она говорила, не глядя на него:

— Сейчас согреюсь и все скажу, только согреюсь.

Она как-то потемнела и ожесточилась за эту ночь, кожа лица стала серой. Она пила чай, не отнимая стакана от рта, торопясь допить.

Он уже почуял недоброе и зло ощетинился. Этот жест, которым она отстранила его, был откровенно неприязненным.

Она вздохнула, как вздыхает человек, который собрался говорить, а потом вдруг раздумал.

— Я очень верю в тебя и тебе, Василий, — наконец произнесла она без запинки. «Так гладко можно говорить, — мелькнуло у него, — если ты все это обдумал». — Скажи мне все

напрямик, как бы ни было тяжко, напрямик скажи, — повторила она, а он вновь подумал: «Видно, всю дорогу от Черной речки до Леонтьевского она твердила эти слова, иначе не произнесла бы их так храбро».

Она допила чай, но не отняла рук от стакана — все еще было зябко.

— Верно говорят, ты не просто красный, а тайный агент красных? — спросила она и впервые взглянула ему в глаза.

Кокорев улыбнулся — не случайно ему померещилось в этой встрече недобро.

— Верно, агент, — сказал он и протянул к ней руку.

— Ты не тронь меня, — сказала она, отводя руку. — И ходил с обыском к Поливановым? — Она недобро взглянула на него.

— Это каким Поливановым... на Моховой? Разумеется, ходил и арестовал сундук с золотом, — пояснил он, улыбаясь.

— И не только сундук с золотом, но и самого Поливанова, так? — спросила она.

— Арестовал Поливанова, — сказал он и неожиданно для себя заметил, как слезы застилают ее глаза.

— Как ты мог это?

Она плакала, охватив голову руками, и кудесные волосы точно расплескались.

— Елена, послушай... — устремился он к ней. Ему было и смешно и больно. — Только послушай и поймешь меня, — говорил он и, дотянувшись ладонями, вдруг ощущил желобок на спине, и ему стало жаль ее. — Я верю, ты поймешь меня, — сказал он, но Елена вдруг пристала.

— Хочу тебя спросить еще, — сказала она. — Ты решился на все это... по своей воле?

— По своей, разумеется.

— Если ты способен лишить человека свободы, ты способен лишить его и жизни... да?

Он стоял у распахнутой двери и видел, как она шла вдоль кромки тротуара, присыпанного скудным городским снежком, и сильный сквозной ветер, казалось, покачивал всю ее. Она была очень слаба в эту минуту и необыкновенно сильна — он знал ее настолько, чтобы понимать это.

## 67

Настенька была на распутье. Вот уже третий день в доме Репнина готовились к отъезду в Москву. Собирались все: Илья Алексеевич, Елена, Егоровна. Московский дом Репниных на Остоженке занимали дальние родственники, которые готовы были выехать по первому требованию хозяев. Репнин говорил, что Елена приняла это известие без энтузиазма, однако заметила, что ее дом там, где дом ее отца. Илья, наоборот, был воодушевлен, он полагал,

что издревле Репниным больше везло в Москве, чем в Петербурге. Егоровна следовала за Еленой. Настенька была в смятении.

Она не знала, что ей ответить Жиллю, который обстреливал ее письмами и телеграммами. Она не знала, что делать с питерским домом. Она не знала, что отвечать деверю, который грозил явиться вновь. Она не знала, что отвечать питерским друзьям, которые все еще пытались что-то советовать. Она знала единственное: она любит так, как никогда и никого не любила, а потому готова предать анафеме и дом, и Жилля, и Бекаса в придачу.

Она сказала, что едет, и тотчас, точно услышав это слово, явился мальчик из храма святой Екатерины на Невском и сказал, что ее просит к себе настоятель. Она пошла, не раздумывая.

Каноник Рудкевич ее не страшил, а разговор с ним никогда не был для Настеньки обременителен. Он казался ей самым светским из всех светских и никогда не говорил о боге. Больше того, все его увлечения, по крайней мере доступные постороннему глазу, никакого отношения к церкви не имели. Настеньке определенно импонировал характер настоятеля — Рудкевич был постоянно полон сил, неизменно деятелен. Иногда даже казалось странным, каким образом этот человек может быть всегда одинаково бодр. Когда он являлся к Шарлю, больше всех была рада Настенька. Нет, Рудкевичу не сопутствовала благостная тишина, наоборот, с ним приходила жизнь, очень земная. Он был высок, широк в плечах, когда ходил, загребал руками, как человек, которому некуда девять свою силу, брылся наголо и был неравнодушен к ослепительно-белым сорочкам. Смеясь, он закидывал голову и весь розовел, нет, не только нос, щеки, подбородок, но и голова, затылок, шея — все становилось ярко-розовым, все было полно здоровья и силы.

Иногда Настеньке казалось, что настоятель ухитряется быть таким даже в храме. Как-то она долго наблюдала, как он, совершив свадебный обряд и проводив молодоженов, остался в храме с большой группой прихожан. Он принял им рассказывать что-то непобедимо веселое, сам увлекся, хохотал громче всех и был необыкновенно симпатичен. Настенька наблюдала за ним из сумеречного угла, не слышала, что он говорил, но была уверена, что говорил он не о боге, да и вообще весь он, голубой, красный, с здоровущими плечами и руками, был бы хорош верхом, или на облучке тарантаса, или за рулем автомобиля, но не в храме. А может, именно таким должен быть настоятель, если хочет сберечь влияние на сердца и души людей? В конце концов миф о небе силен в той мере, в какой небо похоже на землю.

Как полагала Настенька, Рудкевич любил бывать в ее доме. Настенька даже готовила для него любимое блюдо — вареники с вишнями или сливами, которые она ухитрялась добывать Рудкевичу во все времена года. Нередко вареники подавались в комнату Шарля, где настоятель беседовал с хозяйкой дома.

Сейчас полдень, и храм пуст. Его полумрак стремительно пронзают три солнечных луча. Они врываются из верхних окон и рассекают храм по наклонной. Где-то под куполом лучи пересекаются. Служба давно кончилась, а в глубине храма звучит орган. Со свету Настенька сомкнула глаза, застланные слезами, а когда раскрыла, увидела прямо перед собой Рудкевича. Он шел навстречу, протянув могучие руки. Он сиял и искрился. Лицо его и круглая голова, выбритые и отполированные до зеркального блеска, будто прибавили света храму.

— Господи, как же я вас долго не видел, — произнес он. — А хороши вы сегодня необыкновенно. И не перечьте.

Она улыбнулась:

— Нет для женщин волшебнее слова, чем это. По крайней мере, ее хорошее настроение зависит от него.

Они поднялись в комнатку, которая служила Рудкевичу кабинетом.

— Ах, эта церковная сырость, — заметил настоятель и открыл форточку, запахло сухим ветром, пыльным, городским. — Слышиште? — поднял Рудкевич палец, словно призывая быть внимательнее — рядом, на уровне церковного окна кто-то играл на мандолине, играл негромко, но очень четко. — По-моему, нет инструмента, который способен в одно и то же время так точно передать и мелодию, и человеческую речь. — Он помог Настеньке снять пальто, пригласил сесть, но сам не торопился опуститься в кресло. — Анастасия Сергеевна, родная, вы знаете, о чем я хотел с вами говорить? — вдруг произнес он, все еще прислушиваясь к мелодии, которая доносилась сюда, нужно было усилие, чтобы ее услышать. — Нет, скажите, догадываетесь?

Настенька молча кивнула головой, кивнула и улыбнулась.

— Ну и что ж? — спросил он, не тая улыбки, — он, бестия, знал, как хороша у него улыбка.

Анастасия Сергеевна пожала плечами, выражая нерешительность, быть может, неловкость.

— Не знаете? — взглянул он на нее, продолжая улыбаться. — А я знаю, — заметил он и кротко погасил улыбку. — Вам надо ехать к мужу, милая Анастасия Сергеевна.

У него это получилось так просто и искренне, так участливо и по-человечески проникно-

венно: «Вам надо ехать к мужу», что она подумала: «Может, мне и в самом деле надо ехать к Жиллю?» Она едва сдержала себя, чтобы не сказать ему так.

— Вы затрудняетесь ответить мне?

Она не разомкнула губ.

Он подошел к окну и осторожно прикрыл, сейчас мелодия просачивалась сюда по капельке.

— Анастасия Сергеевна, выслушайте меня. Нет, я не хочу, чтобы мои слова значили для вас больше, чем слова доброго друга. Я знал вашу семью, много лет знал вашего мужа. — Он как-то хотел заставить ее разомкнуть уста. — И я вам хочу сказать, нет, нет, бог здесь ни при чем... Я хочу подтвердить эти слова честным словом человека, если хотите, друга вашей семьи, если хотите, вашего духовника. Ну, вы же знаете, что мне известно больше, чем вам? Сердца мне открыты! Это человек достойный и, верьте мне, Анастасия Сергеевна, вам бесконечно преданный. Заслужил ли он, чтобы с ним вот так?..

Настенька молчала.

Рудкевич подошел к окну и на секунду раскрыл створки. Ворвалась мандолина — радостно-сбивчиво, она пыталась договорить что-то очень лихое.

— Вы влюблены? — спросил он прямо, и бесенок веселости, вызванный мандолиной, заливал в его глазах — все-таки он любит жизнь, этот святой отец. Он понимал, как трудно было ответить на этот вопрос. — Ну что ж, любовь благо, тем более что человек, которого вы любите, и умен, и хорош собой, и души необыкновенной... — Он сделал паузу, точно дожидалась, как она примет эти слова. Не может быть, чтобы у нее не возникло искушения горячо, всей силой сердца подтвердить: «Да!.. Да!..» Но и на этот раз она смолчала. — Ну скажите, влюблены?

Она испытывающе посмотрела на него.

— Это даже не то слово... я... я... люблю... — сказала она едва слышно, будто все время говорил не он, а она и это исчерпало ее силы так, что даже этой фразы она не могла произнести полным голосом.

Очевидно, он ждал этого слова и давно готовился услышать, но, когда оно наконец было произнесено, он понял именно в эту минуту, что предстоит нелегкий разговор и кто знает, как он закончится. Опыт отца Рудкевича, опыт человека, который изо дня в день говорил с людьми о самом насущном, подсказывал: ничего не требовало от него таких усилий, ни в одном разговоре он не чувствовал себя так зыбко и так в конце концов ложно, как в разговоре, в котором участвовала любовь.

Но у него была цель, и он отважился на приступ.

— Анастасия Сергеевна, — он старался говорить так же добродушно-миролюбиво, как начал, — скажите, вас связывает с этим человеком многолетняя дружба? У вас одни взгляды на жизнь, на призвание в жизни? Скажите: да?

Она внимательно посмотрела на него.

— Я люблю этого человека.

Видимо, ответ ее воодушевил Рудкевича.

— Иначе говоря, вас связывает только... любовь?

Она продолжала смотреть на него, теперь внимательно-неприязненно.

— Он благородный человек, и я люблю его.

У него созрел план единоборства с нею. Ему очень захотелось настежь распахнуть окно, чтобы веселый речитатив мандолины еще раз заполнил паузу, но он сдержал себя.

— Вы говорите, что он благородный человек. Чтобы сказать так, в наше время надо знать человека годы. Вас связывает с ним только любовь.

Она подняла голову так, будто решила сражаться.

— Да... и это немало.

Рудкевич пошел к окну, и Настенька последовала за ним взглядом: округлая, большая, добрая спина. Такая спина может быть у старшего брата или даже отца: добрая спина. И Настенька подумала: как соединились в этом человеке, на вид очень цельном, духовник, врачающий души грешных, и крупный дипломат. В одном он, как говорил Шарль, тактик, в другом — стратег. Как сочетать первое и второе? Или первое является легальным обличьем второго?

— Любовь чувство святое, и я не подниму на него руку, но любовь ли это — вот вопрос. Верьте мне, Анастасия Сергеевна, я это знаю: часто люди принимают за любовь нечто такое, что любовью не является, — порыв сердца, может быть, благородного, увлечение, наконец. Освобождаться от ига любви не следует, но освободиться от ига такого увлечения благо. Да, увлечение, и все пошло кругом, все смеялось, все опрокинулось. Кажется, что человек, которого ты встретил, создан для тебя самим богом, ты не можешь прожить без него дня и строй его ума, его сердце, душа его, все, из чего соткан его характер, удивительно тебе соответствуют. Да что ум и сердце? По тебе создан весь он, его кровь, плоть, тело его. Но есть одно испытание, есть в природе один меч, такой непобедимой стали, равной которой в природе нет ничего: все рушится под его ударом, его не боится только любовь. Этот меч — время. Проверь себя этим мечом. Устоишь против меча — значит, обрел благо. Убоился меча — отступил. Не разрушай жизнь человека, да и свою добереги! — Он поднял на нее глаза,

полные строгой скорби. — Анастасия Сергеевна, были вы под этим мечом?

Она не могла сказать слова — она боялась того, что хотела сказать.

— Нет... — Ей почудилось, что сказала не она, а кто-то другой.

— Отступитесь.

Когда она, объятая сомнениями и почему-то страхом, бежала по лестнице, ей привиделось, что отец Рудкевич распахнул окно — было слышно, как играла мандолина.

Она понимала, что Рудкевич незуит, ей было видно и то, что двигала им отнюдь не добрая воля, больше того, ей было ясно, что разговору с ней предшествовал разговор с деверем, и тем не менее ей казалось, что он нашел слова, чтобы посеять сомнение и поколебать веру. Дома, на Охте, ее ждал Репнин, ждал ее решения о поездке в Москву, но она не пошла домой. И прежде в минуты тревоги она шла на Неву. Была в этой реке, в ее черной воде, в ее каменных, врезанных наперекор ненастью берегах, в самих очертаниях построек, возведенных по берегам, то стремительно вздымающихся, то падающих, — была в этой реке мятежная сила. Отдай себя во власть этой стихии, и она развихрит в тебе любую непогоду.

Настенька пошла на Неву.

Природа была полна ожидания —казалось, земля, уже созревшая для цветения, вот-вот развернется и родит чудо. Анастасия Сергеевна думала, что, вопреки всем ненастям, овладевшим ею, что-то радостное высветлило душу. Она была большой и ласково-доступной, эта радость, лежала высоко в груди и казалась физически ощущимой. И подобно тому как это было с Анастасией Сергеевной прежде, она стала думать: откуда эта радость и почему вдруг стало так хорошо? Анастасия Сергеевна вдруг вспомнила, что уже на Невском, когда она вышла из храма святой Екатерины, неожиданная мысль осенила ее: она сражается с Рудкевичем не одна. Рядом с нею он. И это понимает Рудкевич. Поэтому к природной деликатности прибавилась осмотрительность, какой прежде не было. Наверно, никто так не чувствует сильнее плечо друга, как женщина. И от сознания, что он был рядом, во всех ее радостях и бедах рядом, любое испытание, которое готовила Анастасии Сергеевне жизнь, казалось ей преодолимым и решительно не было страха.

А о каком испытании может идти речь? Испытании временем? Кажется, об этом говорил ей Рудкевич? Да каждую ли любовь следует испытывать временем? Нет, у Анастасии Сергеевны и в самом деле не было страха, решительно не было.

Она пришла домой поздно. Репнин ждал. Он

сказал, что поезд уходит в десять вечера. Она обещала выехать в Москву позже.

Николай Алексеевич не спрашивал, чем вызвана перемена в ее решении. Он знал, что Настенька сделала это не без основания и в условленный день будет в Москве. Тем не менее он решил отложить свой отъезд и явиться в Москву вместе с нею.

## 68

Елена была в этом доме однажды, лет пяти от роду, и все, что с ним связано, рисовалось, как в тумане. Она помнит, как ранним летом отцвели яблони и лепестками, точно молодым снегом, запорошили зеленое сукно письменного стола. Помнит большую лампу над столом, круглую, надутую, точно пузырь, неожиданно вырвавшийся из рук ребенка и уткнувшийся в потолок. И все, что вспомнилось о доме на Остоженке, было окрашено в какие-то неестественно радужные тона — лепестки цветущих яблонь были снежно-солнечными, ковер туманно-зеленым, лампа такой густой синевы, какой не бывает даже море. Они, эти краски, были однажды, как один только раз бывает у человека детство, и потом погасли. И вот сейчас все оставалось на своих местах: и гобелен с оленями, и круглая лампа, но не было прежних красок, как не было уже детства.

Каким-то чудом это состояние души Елены подсматривал Илья Алексеевич. Он повел Елену в дальний конец дома, привел в комнату, неширокую, с одним окном, выходящим в сад. Комната была пуста, совершенно пуста, ни стола, ни стула, ни кровати, и смотреть было не на что; странно, что пустая комната могла сказать сердцу Патрокла так много.

— Вот здесь родились все Репнины, — сказал Илья Алексеевич значительно. — Все Репнины... и наш дед, и твой дядя, и отец твой...

Ей почему-то стало жаль и отца, и дядю Илью — уж больно комната была неказистой, чтобы быть торжественными вратами, через которые пришли в этот мир все Репнины.

— А я... я тоже здесь? — спросила она наугад, хотя, если говорить искренне, ей не очень хотелось, чтобы она родилась здесь.

— И ты, — сказал Патрокл, и она вдруг почувствовала, что смотрит на комнату другими глазами. Пустая комната, только что такая не-приветливая, обрела для нее иной смысл, и дом как-то преобразился — только что стоял в тени и вдруг невидимо перекочевал на солнечную сторону.

А в большой кухне Егоровна поставила опару и уже затопила русскую печь. Предстоящее воскресенье, а вместе с ним и приезд Николая

Алексеевича и Анастасии Сергеевны совпадали со страстным воскресеньем — пироги из кислого теста, какие пекла Егоровна, пироги с капустой, картошкой, грибами были хороши. Еще утром, когда семья приехала на Остоженку, Егоровна обошла дом и хотя по складу своего характера не подала виду, но осталась домом довольна. Впрочем, на вопрос Ильи Алексеевича, как понравилась ей кухня, заметила хмуро, что, как ни хороша кухня, все одно в ней ничего само по себе не сварится, не изжарится, не испечется.

Еще в Питере Егоровна приметила: Настенька была ласкова с ней, но именно поэтому старая не очень верила. Егоровна полагала, что у всех невест (для нее она была невестой) поначалу рука бархатная. Ее не столько беспокоила судьба Николая Алексеевича и даже ее собственная, сколько судьба Елены. Как Анастасия Сергеевна отнесется к Елене, как сойдутся они, как поделят место под крышей репинского дома и хватит ли им этой крыши. Как ни хорошо относился Николай Алексеевич к Егоровне, он не спросил у нее совета, но если бы надумал спросить, она, пожалуй, сказала бы «нет». И еще сказала бы: «Живи-ка ты, друг мой, один да люби птенца своего. Вот я живу одна».

Но Николай Алексеевич решил по-своему, и Егоровна должна была считаться с этим, тем более что Елена решение отца одобрила. Пожалуй, это было главным. Так или иначе, а младший Репнин решил жениться. И не раздумывая, Егоровна поставила опару и растопила печь — она знала по многолетнему опыту, что новое дело надо начинать с пирогов, остальное приложится.

## 69

— Ты видишь кого-нибудь? — спросила Настенька Репнина и приникла щекой к его руке, когда поезд подошел к перрону. — Видишь?

Репнин улыбнулся.

— Кажется, промелькнул Илья... очень торжественный.

Они медленно пошли к выходу, и все казалось, что эта вагонная толчая, шарканье ног, стук чемоданов, разговор с носильщиками, разговор пассажиров между собой о пустяках — все это так буднично и незначительно по сравнению с тем большим, что было в душе у Репнина и Настеньки, что хотелось остановиться и подождать, пока все склонят и невидимым течением вымоет и выщелочит. И они действительно остановились, ожидая, пока убудет толпа. Но наперекор потоку пассажиров и движению чемоданов уже пробивались Илья Алексеевич и Елена.

Ну вот, Настенька не вошла еще в дом, а семья Репниных выглядела сейчас куда более сплоченной, чем некоторое время назад; в извозчичьей пролетке женщин усадили под верхом (моросил дождь, прерывистый, апрельский), а братьям пришлось сесть напротив. Да, впервые за столько месяцев братья сидели плечом к плечу, являя редкое единодушие.

Пока пролетка катила по московским булыжникам и торцам от Николаевского вокзала к Остоженке, Настенька не проронила ни слова. Она была благодарна судьбе, что шел дождь и на улицах было мало народа. Казалось, если и ей суждено совершить грех в самом первородном и тяжком виде, она это сделает только теперь, когда переступит порог репининского дома, ее нового дома. Где-то здесь ляжет резкая черта, отделяющая прежнюю жизнь от будущей. До того как она переступила этот предел, никто не отнимал у нее возможности вернуться. После того как она его переступит, такая возможность, по крайней мере для нее самой, будет утрачена. Хорошо все-таки, что это произойдет не в Питере, а в Москве, но между Москвой и Питером нет непреодолимых стен. Наоборот, для того круга людей, к которому принадлежит она, на шестисотверстном пути, отделяющем один город от другого, Москва где-то переходит в Питер и наоборот. Однако грех этот будет виден и за Уральским хребтом, так думала она.

И все-таки, когда Репнин полуслуга-полусерьезно подал ей руку и они поднялись на крыльце старого репининского жилища, она просияла. Это же счастье — войти вот так с любимым в его и твой дом. И эту улыбку заметили и Елена, и Илья Алексеевич, и Егоровна, стоявшая у раскрытой двери, и все улыбнулись. Это придало ей силы. Она переступила порог с той лихой и светлой отвагой, с какой человек переступает новый рубеж в жизни.

Илья Алексеевич приподнял короткий, с ямочкой подбородок, намереваясь произнести нечто торжественное, потом неожиданно махнул рукой, взял Настеньку под руку и, оставив брата одного, пошел по дому.

А потом Елена приняла ее из рук Ильи и повела показывать ту маленькую комнатку, которую показывал накануне Патрокл, а из комнаты этой они перешли в галерею и кухню, а из кухни в сад. Сад еще был обнаженным, только сирень уже выстрелила бледно-зеленые ворсистые почки. Сад был еще голый, но уже полон птичьего гама.

— Вам будет хорошо у нас, — сказала Елена, и глаза ее вдруг повлажнели.

Они стояли в тишине сада и плакали крупными и молчаливыми слезами. Было в этих слезах и сознание, что вопреки всем невзгодам свершилось что-то очень большое, чего они обе

желали, и сострадание к своей женской слабости, и тревога, и робость, и счастье. Они бы так плакали долго, если бы рядом не оказался Николай Алексеевич.

— Боже милостивый, что это еще такое?

Репнин ушел, а они еще долго не могли вернуться в дом. Небо оторвалось от земли, кое-где даже посветлело. Смолкли шумы города. Стало и теплее, и тише, и спокойнее. Из дома доносился бойкий ритм польки-бабочки. Это Илья Алексеевич завел мощный «Циммерман», под усиленные рупором вздохи граммофона могла бы танцевать вся Остоженка. «Циммерман» вздыхал, вожделенно замолкал, шептал и вновь вздыхал, и звал женщин в дом, а Настенька и Елена не торопились — что-то еще не было сказано такое, что было и у одной и у другой на сердце и что не в силах были объять слова.

— А я тебя не отпущу из дома, если даже будешь просить, — сказала Настенька воодушевленно, обхватив плечи Елены. — Да, да, если даже придет час, а вместе с ним человек, может, хороший человек, все равно не отпуши... веди его сюда.

— Человек... человек... — произнесла Елена так, будто бы все было за какой-то далекой гранью, где начинается нечто призрачное, что быть может, существует, а возможно, создано воображением.

Илья Алексеевич устремился к Настеньке, едва она вошла в дом, подхватил и повлек по большому кругу, танец дал и дыхание и силы. Граммофон играл, Илья Алексеевич видел, как разгорается огонек в глубине глаз Настеньки, как огонек этот упал на щеки яркой ветви, густой, не убывающей в силе. А Настенька видела в распахнутую дверь стол, накрытый крахмальной скатертью, и на нем внушительную для нынешней суровой поры рать пирогов Егоровны. Илья Алексеевич мчал ее по кругу, победив сердцебиение, а она внимательно следила за всеми, кто стоял поодаль и наблюдал. В глазах Елены она увидела восторженное внимание, Егоровны — хмурую задумчивость, Николая... Нет, его глаза сейчас не видны. Он наклонился над письменным столом, и видны срез лба и губы, сейчас почему-то бледные, но вот он выпрямился и она вдруг почувствовала, как по нему соскучилась. Скорее бы конец и граммофону, и танцам, и пирогам. И к чему все это задумали, когда надо было, как велит сердце: она и он, только.

Уже за полночь, когда встали из-за стола, вышли в сад все вместе и долго слушали, как мягко шумят ветер прошлогодней листвой и перекликаются во сне птицы. И все, казалось, отступило куда-то прочь, и города, большого города нет рядом. А потом все ушли, остались лишь Репнин и Настенька.

— У тебя нет ощущения простора и... воли? — спросил он.

Она дотянулась губами до его губ.

— Я хочу, чтобы оно у меня было, — сказала она.

Настенька обернулась и вдруг увидела, что в доме уже погасли все огни, все, за исключением одного — лишь окно их комнаты было освещено. И она вдруг подумала, что предел, за которым у нее начнется новая жизнь и о котором она думала там, у порога дома, ей еще предстоит переступить.

## 70

Репнин решил не откладывать встречи с Чиличиным и отправился в Наркоминдел на следующее же утро. Он понимал, что это утро могло быть началом новой работы. «Наверно, в Питере все это совершилось бы труднее», — думал Репнин, спускаясь к Пречистенскому бульвару. То ли потому, что все, что надо было пережить, пережито, то ли потому, что сегодня этому событию сопутствовало счастье его личной жизни и все перекрасило в свои краски, но на душе Николая Алексеевича было спокойно. Он подумал, что дипломаты стран Согласия, выехавшие из Питера раньше, чем его покинуло правительство, наверно, уже прибыли в Вологду. Разумеется, испокон веков в Москве существовали генеральные консульства, по крайней мере у великих держав, однако консульство не посольство, а консул даже по официальному статуту не дипломат. К тому же в этом жесте стран Согласия (в них дело, только в них!) было нечто дискриминационное. Отстранившись от прямых контактов с революционным правительством и поручив все дела консулам, союзники точно хотели сказать: «Большее не позволяет нам сделать ни наш престиж, ни отношения с внешним миром». Но жест союзников, как понимал его Репнин, говорил и об ином: «Вопрос о признании решительно снимался».

Репнин перешел мостовую и готовился подняться на тротуар, когда справа, у рекламной тумбы, увидел Илью. В руках у него были газеты. Как и в Питере, Илья начинал день с похода за газетами, с чтения прокламаций и афиш, которыми за ночь оклеивался город. Илья заметил Николая первым и, не отрывая глаз от рекламной тумбы, наблюдал за братом. Глаза Ильи были пасмурны — они все понимали: и куда держит путь Николай, и как значительно для него это.

Репнин прибавил шагу — братья разминулись. Репнин заставил себя не думать о брате, хотел заставить себя. «Как бы то ни было, надо

изучить документы, — решил Репнин. — Прочесть все, что надо прочесть о нынешней позиции союзников. Каждое серьезное дело надо начинать с чтения документов».

Репнин свернулся налево и тихими арбатскими переулками пошагал на Спиридоньевку. Шел, думал: нет более русского города. Москва выглядит почти обыденно, но почему тогда такая сила скрыта для Репнина в этом городе? Вот хотя бы эта улочка. Неожиданно просторные дворы со скамьями, врытыми в землю, и дубом в три обхвата, укрывшим все вокруг зыбкой кровлей. Особняки, построенные еще в том веке, прежде белостенные, теперь белесые и серые. Крыши, не очень новые, крашенные зеленью и охрой, и на чистом поле стены березка. Издали она кажется нарисованной. Трубы на домах, как дубы, тоже едва ли не в три обхвата, построенные на века, и синие клубы дыма, которые невысоко движутся над городом. Церквишки, церквишки, одна меньше другой. Все очень обыденно и просто, но тогда почему так тоскливо и радостно тревожится сердце и почему такая сила скрыта в этом городе для Репнина?

Москва — патриархальная, дедовская, Николай Алексеевич так хочет сказать, старорепнинская.

И неожиданно — Спиридоньевка. И здесь, на Спиридоньевке, многое напоминает арбатские переулки. Особняки, крытые беленым тесом, как на Арбате, дворы с дубами и вязами. Церковь золото-серебряноглавая, расписные (церковь Спиридона, что на Козьем болоте), с выводком деревянных домов — жилище настоятеля, дьякона да псаломщика, жилище просвирни. Но здесь и нечто необычное: точно корабли, потревожившие спокойную московскую воду, выстроились на Спиридоньевке новые особняки. Они не вплыли, а вторглись в кирпич и дерево старой Москвы, растолкав сильными боками все вокруг, где сплющив и смяв, а где обратив в пыль и щепу. Вторглись и замерли, радуясь добротности металла и камня, в который закованы, весомости имен, высеченных на камне: Рябушинский, Морозов, Тарасов... Дом, куда сейчас держал путь Репнин (Наркоминдел был там), находился на углу Спиридоньевки и Патриаршего переулка и принадлежал Гаврилу Тарасову.

Репнин испытал нечто похожее на беспокойство при этом имени. «Гаврил Тарасов, — повторил он, — Тарасов!» Репнин вспомнил историю о стремительном возвышении четырех братьев, которую как-то рассказывал ему Илья, историю, в которой климат России двадцатого века отразился достаточно. Армянегорцы, чьим родным языком был черкесский, они начали торговлю забавной мелочью, которую, по преданию, расположили на табурете.

установленном на людной улице степного города. Через тридцать с лишним лет они внесли та-  
бует как реликвию в особняк на Спиридоньев-  
ке, который правильнее было бы назвать двор-  
цом. Один бог знает, каким был этот путь из  
степного города в древнюю русскую столицу.  
Москва не изумилась приходу братьев — М-  
осква видела и не такое. Единственно, кто сделал  
большие глаза — обитатели кирпичного дома  
через дорогу от Тарасовского особняка, там  
была дворянская богадельня (Репнин знал эти  
богадельни: длинные коридоры с комнатами-но-  
рами, тосклившую тишину, нарушающую винова-  
тым покашливанием, и этот воздух, которым  
пахнет сама старость). Когда старик Тарасов  
брал зубило и присоединялся к каменотесам,  
одевающим особняк в гранит, обитатели бога-  
дельни выходили на улицу. Не было зрелища  
диковиннее: в особняке художники, выписан-  
ные из Италии, расписывали плафоны и стены,  
высоко по фасаду рабочие выбивали мудреную  
латынь (латынь, и не иначе: «Gabrielus Taras-  
sof, Fecit anno domini...»<sup>1</sup>), а у входа в особ-  
няк сидел едва ли не самый богатый человек  
империи и тесал камень. Как полагал Николай  
Алексеевич, в этом был вызов и обитателям  
богадельни, жестокое напоминание, что их век  
кончился, но было и другое: энергия и целе-  
устремленность класса, набирающего силы.  
Вряд ли поступок Тарасова мог вызвать у Реп-  
нина восхищение, но, человек ума спокойного и  
точного, привыкший считаться с фактами,  
Николай Алексеевич должен был своеобразно  
легализовать это явление в своем сознании,  
трезво его признать.

В подъезде было темно и холодно. Пахло  
тесом, где-то шумел рубанок, что-то срочно  
перестраивали. Секретарь Чичерина сказал,  
что у Георгия Васильевича прием, и вручил  
Репнину ключ от будущего кабинета. Репнин  
отыскал кабинет, отпер и, к удивлению своему,  
обнаружил в нем секретер, шифоньер, шесть  
полукресел, все из одного гарнитура, а также  
фарфоровую настольную лампу, миниатюрную  
и нарядную, очевидно, все это принадлежало  
семье, судя по всему богатой, которая накануне  
выхала отсюда. Впрочем, стопка визитных  
карточек, ненашком найденных Репнином в  
ящике секретера, указывала на это безошибочно —  
уже после Тарасовых здесь осели беженцы из Петрограда.

— Николай Алексеевич, вот где довелось  
встретиться!

Репнин обернулся: после солнца непросто  
разглядеть человека, стоящего в дверях.

— Здравствуйте... да неужели я так изме-  
нился?

<sup>1</sup> «Гавриил Тарасов, построил в году божьей ми-  
лостью...»

Репнин шагнул человеку навстречу — Мар-  
кин!

— Давно замечено, ничто не способно так  
переинчить и душу, и лицо человека, как ди-  
пломатия. Николай Григорьевич.

— А вы полагаете, я уже дипломат? Я так  
не думаю.

— Простите, почему?

— Я был дипломатом, пока не надо было  
сидеть за столом. А сейчас вам дали стол, да  
и мне, говорят, облюбовали. Не стол — четы-  
рехвесельная шлюпка.

Репнин рассмеялся.

— Так это же знак признания.

Маркин помрачнел.

— Ко мне это признание могло бы прийти  
и позже — так лучше.

— Как это понять, Николай Григорьевич?

— Понять нелегко, Николай Алексеевич...

Маркин сощурил глаза — казалось, в них  
отразилось само апрельское небо, его простор.

Репнин подумал: а ведь он был добрым  
приятелем Настеньки, быть может, другом.  
Чем-то она отличила его от всех прочих учени-  
ков. Не в синих же глазах дело. Есть в нем и  
ум, и такт, и тот простой и ясный взгляд на  
жизнь, когда человек знает, что ему надо.  
В той среде, к которой принадлежала Настень-  
ка, таких было немного.

— Хочу знать, как пахнет буря, а заодно  
посмотреть на жизнь, набраться ума-разума.  
Человеку важно не переоценить себя.

— И не недооценить, — сказал Репнин.

Маркин помолчал, повторил убежденно:

— Не переоценить.

Маркин протянул руку, но Репнин не торо-  
пился ее пожать. Приход этого человека в его  
новый дом был бы приятен Репнину, да и Нас-  
теньке тоже.

— Анастасия Сергеевна не раз о вас гово-  
рила. Не зайдете ли к нам как-нибудь.

— Анастасия Сергеевна? — Он улыбнулся,  
будто вспомнил что-то очень давнее. — Я бы  
пришел, да ведь время все вышло.

— Да неужели так прямо в дорогу?

— В дорогу.

Репнин задумался.

— Я что-то не понимаю, Николай Григорь-  
евич. По-моему, вы здесь очень нужны.

Маркин засмеялся.

— Главное, не переоценить себя.

Маркин ушел, а Репнин долго не мог успо-  
коиться. Как тогда, на Охте, в родительском  
доме Настеньки, Репнин не мог не подивиться  
мудрой скромности этого человека, его цельно-  
сти и тому, как благородно и сильно он смотрит  
на жизнь. Почему он решился пригласить Мар-  
кина в дом? Из всех, кого он встретил в эти  
ненастные месяцы и кто для Репнина представ-  
лял тот мир, именно его?

— Ты помнишь, Николай, разговор о грозных кортиках, который был у нас с тобой еще в Питере, кажется, в Смольном? — услышал Репнин в телефонной трубке голос Чичерина, как всегда в поздний час неожиданно громкий. — Ты имеешь возможность повторить все свои возражения, — заметил он, смеясь. По тому, как произнес Чичерин эти слова, нарочито громко, с вызовом, Репнин понял: Георгий Васильевич в кабинете не один. — Я жду тебя. — Однако он сказал не «мы», а «я» — что-то от игры, озорной и неловкой, в какую играют только взрослые, свойственно и Чичерину, иначе погибнешь в этот поздний час.

— Входи, Николай Алексеевич, мы заждались тебя, — сказал Чичерин, едва Репнин открыл двери чичеринского кабинета; сочетание дружески-фамильярного «ты» с именем и отчеством было для отношений Репнина и Чичерина необычным и показало Репнину, сколь своеобразна обстановка.

Репнин вошел и в глубине кабинета в свете настольной лампы рассмотрел фигуру Дзержинского, низко склонившегося над журнальным столиком, устланым большой географической картой, края которой, свешиваясь, лежали на полу. Увидев Репнина, Дзержинский встал и, пытаясь разогнуть спину, замер, ссутулившись. Видно, полтора месяца, прошедшие со времени последней встречи, были для Дзержинского нелегкими — лицо потемнело, в глазах прибыло горящих углей.

— Однако в наших встречах есть известная закономерность, — сказал Репнин, здороваясь. Репнину казалось, что ему следует расковать неловкость, которая была при их встрече прежде и, очевидно, будет сегодня.

— Закономерность уже потому, что они происходят ночью? — спросил Дзержинский, рука у него была приятно прохладной.

— Все значительное возникало ночью, — сказал Репнин.

— Не было бы ночи, не было бы и тайны, — засмеялся Дзержинский. — Дипломатической, — добавил он. — Ведь тайна — душа каждого дела, не так ли?

Репнин смешался: что-то в этих словах было знакомое!

— Душа... душа... — произнес он.

Чичерин пододвинул к журнальному столику кресло. Репнин сел.

— Чай хочешь, Николай? — спросил Чичерин.

— Да, пожалуй, — ответил Репнин, заметив, как Дзержинский потянулся к стакану с чаем, впрочем уже остывшему.

Наступила пауза, чай помогал ее продлить.

— Кортик оказался и в самом деле оружием грозным, — заговорил Чичерин, заговорил так, точно предыдущий разговор о кортике и дипломатах был только что прерван. — Международное право обогатилось новым термином: заговор послов. Впрочем, не будем голодовны, — взглянул он на Дзержинского.

Нет, Дзержинский не был настроен столь иронически-воинственно. Он строго посмотрел на карту, лежащую перед ним, задумался, подперев кулаком сильный лоб. Все, о чем он подготовился говорить, было для него вопросом жизненным — бесконные ночи, жестокие стычки с врагами на допросах.

— Мы вас побеспокоили столь поздно, Николай Алексеевич, в связи с обстоятельствами чрезвычайными, — произнес Дзержинский тихо, много тише, чем говорил только что. — Службой ЧК установлено, что мозговым и оперативным центром восстания, которое началось на юге России и грозит сомкнуться с восстанием на востоке, все больше становится дипломатический корпус. — Дзержинский умолк, видно, длинная фраза ему была сейчас не по силам. — Наиболее деятельная фигура, не только оперативная, — Локкарт.

Репнин подумал: «Нет, Бьюкенен выехал из России не потому, что привилегию стать разведчиком доверил своим преемникам Линдлею и Локкарту. Позволь ему возраст и здоровье, он бы воспринял эти обязанности». Для Репнина все это было очевидно, однако хотелось подумать, что старик Бьюкенен переуступил эти функции преемникам, решив остаться до конца дней своих дипломатом. Очень хотелось хорошо думать о Бьюкенене, быть может, вопреки здравому смыслу, и сберечь в сознании представление о дипломатии как об искусстве, не оскверненном тем, что зовется нечистым словом «шпионаж».

— Нашей дипломатии не следует обманываться насчет истинного облика своих коллег из того лагеря, — медленно продолжал Дзержинский. — Локкарт деятелен и агрессивен. Он знает Россию, у него связи, он молод.

Дзержинский сказал: «Он молод», а Репнин решил: «Да, все в том, что он молод, люди того поколения честнее, разборчивее в принципах и средствах. Они бы не решились на это. Но тогда какова цена непорочным сединам Френсиса, добрым глазам, мягким рукам, да, какова цена сединам Френсиса, который так похож на классический тип человека того столетия?»

— Вологда стала истинной столицей... той России, — произнес Дзержинский и прямо взглянул на Репнина. — В Осаново под Вологдой сегодня в своем роде совет дипломатов, аккредитованных в России. Телеграмма о первом заседании должна быть к одиннадцати,

Дзержинский рассмотрел в сумерках кабинета дымчато-матовый циферблат больших настенных часов. — Пожалуй, телеграмма уже есть.

Он поднялся и медленно прошагал к письменному столу, на котором стояли телефоны; шел, вскинув голову, будто хотел себя взволнить и победить усталость.

— Вместе с депешами, — услышал Репнин голос Дзержинского. — К Чичерину, — добавил он. — А как Тверь? Тверь как? — спросил он, когда разговор, как показалось Репнину, был закончен. — Не оставлять провода! Каждый час — Тверь! Каждый час!

Репнин подумал: «А при чем тут Тверь? Не перекочевала ли дипломатическая столица из Вологды в Тверь?»

Репнин слышал, как Дзержинский положил трубку на рычажок, положил осторожно, явно контролируя каждое движение, опасаясь, как думал Репнин, обнаружить усталость.

— Да, Вологда стала истинной столицей белой России, — заметил Дзержинский, повторив интонацию своей реплики, на которой разговор был оборван. — Все, что нам угрожает, идет оттуда, — добавил он и посмотрел на Чичерина — очевидно, эта фраза была адресована ему. — Это отлично усвоили дипломаты, в том числе и стран-нейтралов. Многие из них Вологду, по существу, предпочли Питеру.

— Не думаете ли вы, Феликс Эдмундович, что своеобразное представительство в Вологде должно быть и у Комиссариата иностранных дел? — спросил Чичерин.

— Да, если говорить об интересах России, несомненно, — сказал Дзержинский, не сводя внимательно-пристальных глаз с Чичерина.

Репнин подумал: «Вологда — столица белой России, а при чем тут Тверь?» Дзержинский сказал: «Об интересах России». Он хотел сказать: «Об интересах Советской России», а сказал просто «России» — совершенно очевидно, что эти слова он обратил к Репнину. Не его ли, Репнина, он имел в виду, когда говорил о необходимости лучше знать тайны дипломатической Вологды? Репнин еще не проник до конца в суть этого чувства, оно было для него неосознанным, но явственно ощущал, как гневное пламя поднялось из самых глубин души. Да не Репнина ли Дзержинский имел в виду, когда думал о человеке, который направится в Вологду и, опираясь на свое положение, словное, профессиональное, общественное, в конце концов, проникнет в святая святых вологодских дипломатов?

Дверь приоткрылась. Дзержинский оторвал глаза от карты (они все еще были устремлены в буйные дубравы Заволжья), произнес:

— Входите, Василий Николаевич, мы вас ждем.

Репнин посмотрел на дверь и увидел

тусклые в сумеречном свете чичеринского кабинета седины Кокорева.

— Прошу вас, пожалуйста, — подхватил Чичерин и остановил весело-недоуменный взгляд попеременно на Репнине и Кокореве, точно спрашивая: «Что происходит, друзья? Нет, объясните, что происходит?»

Кокорев вошел и поклонился присутствующим, поклонился с той робостью, которая называла, как хорошо он понимает, что здесь он младший.

— Василий Николаевич Кокорев, — произнес Дзержинский и, взглянув на Репнина, добавил: — Вы знакомы?

— Да, при обстоятельствах... своеобразных, — заметил Репнин, улыбаясь.

— Не подверг ли он вас ненароком... аресту? — спросил Дзержинский и рассмеялся впервые в этот вечер.

— Что-то в этом роде, — сказал Репнин. Кокорева точно горячим паром обдало — он стал мокрым.

— Было дело, Василий Николаевич? — спросил Дзержинский — ему было приятно воспользоваться этим обстоятельством и несколько разрядить беспокойно-тревожное настроение вечера. — Когда?

— В ноябре. — Кокорев не удержал улыбки.

— За давностью срока простим! — произнес Дзержинский весело. — Впрочем, взглянем, что вы принесли, и решим, стоит ли вас прощать.

Репнин не улыбнулся шутке Дзержинского, один он не улыбнулся. Очевидно, Дзержинский заметил это, и мигом вернулась к нему пасмурность и усталость.

— Телеграмма получена в одиннадцать? — спросил он Кокорева серьезно, спросил, чтобы, возможно, обрести прежний тон и инициативу в разговоре.

— Четверть двенадцатого, Феликс Эдмундович, — уточнил Кокорев. — В одиннадцать я напомнил специальной депешей, — добавил Кокорев, он хотел дать понять и Чичерину, и главным образом Репнину, что его обязанности отнюдь не обязанности курьера. Но Дзержинский уже не реагировал, он был занят чтением телеграммы — сейчас он ее воспроизведет, воспроизведет или прочтет? Для Репнина это существенно.

— Сегодня поутру в Осаново выехали Френсис, Локкарт и Нулас, — проговорил Дзержинский, не отрывая глаз от листа, выклеенного телеграфной лентой. — Вместе с ними были американский и французский военные атташе, — продолжал Дзержинский. По тому, как убыстрял речь Дзержинский, Репнину показалось, что, очевидно, он не столько читал текст, сколько пересказывал его. — В полдень они вызвали к себе трех русских, прибывших

накануне в Вологду, как говорят, с юга. — Нет, Дзержинский щадит самолюбие Репнина и текст читает, хотя кажется, что пересказывает, — просто текст тускл, а в комнате не хватает света. — Из всех, кто участвовал в переговорах, в город вернулся только французский военный атташе. — Дзержинский закончил чтение. Если его чтение чем-то отличалось от текста, то только пропусками. — Атташе сообщил доверительно, что в Осанове речь шла о помощи чехословакам.

Дзержинский свернул телеграмму и возвратил Кокореву.

— Следующая телеграмма должна быть в шесть утра, — произнес Кокорев нетерпеливо, но Дзержинский и на этот раз не реагировал: в конце концов важно ли, когда будет следующая телеграмма?

В тишине, которая наступила, слышно было простуженное чихание автомобильного мотора у подъезда да скрежет заводной ручки — шофер крутил что было силы, однако мотор решительно отказывался заводиться.

— Разрешите идти, Феликс Эдмундович? — спросил Кокорев, укладывая телеграмму в папку и поднимаясь.

— Нет, подождите, Василий Николаевич, — сказал Дзержинский, и Кокорев медленно опустился в кресло: то ли Кокорев действительно был ему нужен, то ли он хотел обнаружить истинное положение Кокорева перед присутствующими.

— Мне кажется эта информация недостаточной, — сказал Дзержинский. — Обидно недостаточной.

Ну конечно, подумал Репнин, он оставил Кокорева, чтобы проинформировать эту фразу в его присутствии и показать Репнину, что им был прочитан только текст вологодской депеши, именно весь.

— Но то, что придет в шесть утра, будет богаче? — спросил Чичерин быстро.

— Вероятно, но возможно и повторение, — произнес Дзержинский.

Да, речь явно идет о поездке Репнина в Вологду. Однако в каком качестве? Неужели Репнин должен направиться в Вологду, чтобы пополнить информацию, которой недостает Дзержинскому? Если вопрос будет поставлен так, у Репнина есть только один ответ.

— Заговор слов — такого термина дипломатическая практика не знала, — проговорил Чичерин, разумеется, этой репликой он хотел вызвать Николая Алексеевича на разговор, расковать наконец молчание, которое становится неприличным. — Все, что происходит в Вологде, не в меньшей мере касается и иностранного ведомства, — сказал Чичерин, а Репнин подумал: «Он точно торопит меня: «Тебе надо ехать в Вологду, пойми, только тебе!»

— Завтра в Вологду выедет группа наших сотрудников, — подхватил Дзержинский, поднимаясь. — Всем, что добудем, поделимся, — заметил он и улыбнулся. — В Вологду поедете и вы, Василий Николаевич, — взглянул он на Кокорева.

Кокорев вобрал нижнюю губу, безжалостно сдавил.

— А как Тверь, Феликс Эдмундович?

— За Тверью прослежу я, — сказал Дзержинский и, взглянув на озадаченное лицо Репнина, смущился. — В Твери скопилось пять составов с хлебом для Питера, — пояснил он, обращаясь прямо к Репнину. — Если протолкнем, в Питере можно увеличить паек на осьмушку, там половина русских рабочих.

Репнин пошел домой пешком. Решил идти дальней дорогой — вниз к манежу, потом вдоль реки. Очень нужен был час тишины, час абсолютной тишины. Хотелось додумать все, что только что произошло, именно додумать. Да нет же, он не торопил и тем более не навязывал своей воли Репнину. Он сказал просто, что дипломатию делать без информации трудно, именно дипломатию. И потом эти вагоны в Твери, которые все время вторгались в разговор и гремели, гремели... Надо вернуться сейчас в Наркомат, вломиться к Чичерину, если спит — поднять, сказать: «Мне надо ехать в Вологду, только мне!» Да нет же, не ты делаешь дело Дзержинского, а он твое, делает скромно и твердо, без компромиссов. Делает и даже не упрекает тебя в этом.

— Николай Алексеевич, это вы?

Кокорев вышел из-под тени деревьев, закрывших решетку Александровского сада. Наверно, и ему нужен час тишины, чтобы все додумать. Он идет рядом с Репнином, однако все еще поодаль, опасаясь сократить расстояние.

— Николай Алексеевич...

Они стояли под купами деревьев и молчали. Каждый из них понимал, что в этом молчании и есть их спасение. Наверно, этот разговор с Дзержинским дал право Кокореву остановить Репнина.

— Я хотел сказать, что нет человека лучше... чем Елена Николаевна, нет честнее, — произнес Кокорев и опрометью ринулся в темноту. Репнин еще долго видел его узко-плечую фигуру, внезапно четкую.

Маркин, а потом Кокорев. Маркин в начале дня. Кокорев — в конце. Где-то тут объяснение всех правд.

Часа тишины недостаточно, чтобы совладать с этим вечером и этим днем. «Там половина русских рабочих», — сказал Дзержинский.

Он так и сказал: «русских рабочих». Так вот к какой цели он шел длинными российскими трактами с кандалами на ногах! Длинными российскими трактами... Россия, мать родимая, как же трудны мысли о тебе!

Николай Алексеевич оглянулся: Кремль, мощный изгиб стены, завершающейся вдали Троицкой башней. Репин шел к Кремлю, знал, что он рядом, и все-таки, когда увидел его, вдруг ощутил, что не хватает дыхания. Что-то было для него в облике Кремля непреходящее. Оно пришло в сегодняшний день из всевластной древности и будет воспринято будущим и распространено на века.

## 72

Из окна дома Белодедов на Литейном была видна просторная крыша соседнего особняка, крытого фигурной черепицей. Только вчера глыба снега на черепичной крыше была нерушима, Петр любовался ее могучим пластом — с завидной точностью она повторяла контуры Австралии. Однако к утру пласт растаял до пределов Скандинавии, а к полудню повис чахлым стебельком — так на школьной карте выглядят Апеннины.

Петр явился в полдень, явился неожиданно.

— Собирайся, мать, и кличь Лельку. Да, да, заколачивай свою церковь, отдавай ключи соседям, а сама — со мной. Кстати, и машина у ворот.

Мать тронула ладонью рябое лицо, но с места не сошла.

— У-у-у... шальной! И когда ты переселяешься.

Она поднесла ладонь к глазам, неторопливо вытерла, хотя глаза были сухи — нелегко выпаливались у нее слезы; если плакала, то без слез.

— Ну, жди, — бросил Петр, — может, чего и дождешься. Только Лельку я возьму.

Уже под утро где-то на перегоне между Тверью и Клином Петр проснулся, за окном клубился туман, обильный, предутренний, в вагоне было холодно, тепло ушло еще с вечера. Петр снял с себя одеяло, укрыл Лельку, укрыл старательно, заправив одеяло за спину. Она едва заметно шевельнула плечом, произнесла что-то свое, невнятное. Она показалась Петру совсем малышкой, несмышленой и беспомощной, очень хотелось протянуть руку и коснуться щеки, а может, задержать ладонь где-то у виска, так, чтобы тепло проникло в руку.

— Ты не спиши, Петя? — Она выпросталась из-под одеяла кисть руки. — Как там будет? — Она указала взглядом на окно.

Он дотянулся до ее руки.

— Этот парень... муж твой, что погиб под Солдаем...

— Грика?

Он заметил: так говорят только на Кубани — Грика.

— Да, Гриша, он был человек стоящий? Она вздохнула.

— Очень... — Она выпростала всю руку, положила на одеяло, рука была тонкой, четко очерченной. — Он был человек необыкновенный, Грика. — Она вздохнула, помедлила, она чувствовала, что Петр ждет следующего слова. — Я заметила, парень с такой внешностью — баловень судьбы, белоручка, а Грика...

Она умолкла, а Петру хотелось договорить все, что не было еще сказано.

— Это ты по нем... черное платье надела?

Она долго молчала, точно дожидалась, когда тронется поезд и тогда грохотом и посвистом, стуком колес заколотит все, что было и должно быть сказано.

Но поезд не шел.

— По нем, Лель?

Она натянула одеяло, скрыв и плечи, и подбородок, и рот, только глаза были обнажены.

— Да, по нем, — произнесла она. — Убили его — точно сердце мое живде в огонь кинули. — Она вздохнула, будто не хватило воздуха. — Это такое варварство, Петя, такое варварство. А когда погиб, осталось чувство вины перед ним. Все казалось: никто не виноват, только я.

Поезд тронулась. Потек седой туман, не склончаемая полоска леса вдали, белая полоска снега в кювете, поля, перечеркнутые косыми линиями льда.

— Ты сказала, парень с такой красотой — баловень? А я заметил, это бывает у художников.

— Ты знал такого? — спросила она.

Он отрицательно покачал головой, засмеялся.

— Знал... такую.

Она улыбнулась.

— Там, Петя?

Петр подумал: скоро четыре месяца, как он уехал из Лондона, целых четыре. Не было бы того, что произошло в жизни Петра за эти четыре месяца, наверно, не пережить бы разлуки с Кирой. Но в эти месяцы одно событие следовало за другим, и события эти, как камни, падающие с гор, преградили реку памяти. Нет, реку памяти преградить нельзя — она вспухнет и разметет камни, не пытаясь преграждать!

Ранним вечером он взял Лельку за руку и повел смотреть город. Они шли по Тверской, скривив руки и размахивая ими, весело, как ходили, наверно, в детстве. По небу бежали облака, крепкие и яркие, точно в каждое из

них было завернуто по солнцу. Лелька раскраснелась, казалось, даже загар подрумянил щеки, прогнав и природную бледность и усталость, да и в глазах поубавилось сини. Они спустились к реке, долго шли по набережной, вспоминая свободную невскую воду. У храма Христа Спасителя перебрались на ту сторону и уже к вечеру добрались, счастливые и усталые, до Нескучного сада.

Было холодновато и ясно.

Он смотрел на нее, как она шла вдоль воды, и отражение в реке — светло-серое пальто, чуть-чуть взбитые и схваченные бантом волосы — было пригашено сумеречностью воды. И казалось, там, в воде, идет она, а здесь на земле, рядом с тобой, ее отражение. В воде она была больше похожа на себя. Все меняется в человеке, даже кожа, но обличье, будь то светское или, как сейчас, монашеское, труднее сбросить, чем кожу. Какая-то скованность движений, робость шага, неловкость и нерасторопность речи напоминали о монастырской церкви, о сводах келий и трапезных монастыря.

Вечером им выдали ключ от небольшого особняка в Староконюшенном, хозяева (уральские заводчики, жившие в Москве по зимам) выехали в неизвестном направлении. Видно, жизнь пресеклась в квартире на полуслове — подъехал грузовик, перенесли чемоданы и сундуки, шофер, быть может, даже не дал сигнала и не включил фар, и тихо покатали по затененным и притихшим переулкам большого мира, каким издревле был Арбат, и канули во тьму, московская тьма — как топь, она принимает, но не отдает.

Петру почудилось: дом точно ожесточился. На Петра пошли в атаку и запахи и вещи. Рядом со старым креслом, стоящим у камина, Петр увидел мельничку для кофе; Петр выдвинул ящик, и оттуда пахнуло нюхательным табаком. На кухне Петр нашел гончарный круг — что делали на нем здесь? В прихожей, рядом с бархатным салопом, в каких ходят замоскворецкие купчихи в церковь, висел головной убор индейца, расцвеченный синими перьями. В мансарде, где красный угол сплошь был заставлен иконами, Петр обнаружил черный клобук.

— Благочинный носит клобук? — спросил он сестру, которая неотступно следовала за ним не столько из любопытства, сколько из страха.

Она отрицательно покачала головой.

Казалось, она ответила, имея в виду прямой смысл этого вопроса, не осознав еще обидной для нее сути.

Больше в этой комнате он не задерживался.

А потом они вошли в галерею, и Петр увидел деревянный желоб. Длинный, хорошо сбитый желоб протянулся из одного конца галереи

в другой, в конце деревянной канавки лежали красный деревянный шар и жестоко разметанные по сторонам фигуры. Видно, последнее, что сделал хозяин, навсегда покидая дом, тщательно поставил своих воинов, с веселой и злой удастью пустил в них красный шар. Удар пришелся в самое ядро коня, и деревянные фигуры кинуло вразброс. Петр решил повторить удар и, к страху и трепету Лельки, которая издали наблюдала за братом, выстроил деревянное воинство и пустил красный шар. Раздался гром, такой глубокий и мощный, что, казалось, эхо пронеслось по ближним и дальним комнатам. Как ни силен был замах, шар едва докатился до того края канавки — деревянное воинство продолжало стоять нерушимо.

А все-таки не проста сестра и, наверно, не просто понять ее. Чем она еще осчастливит Петра? Чем сокрушит? Если и был у нее когда-нибудь бог, то это любовь к мужу — большего бога она не ведала. Она не очень знала жизнь и принялась искать своего бога там, где отродясь его не было. Благочинный понял это прежде, чем смогла уразуметь она, и пытался обратиться в Грику. Однако благочинный не все может. А пока Лелька тихо идет по большому и холодному дому, идет все тише, и зыбкая тьма, тьма недобрая, точно колеблется в ее глазах.

Странно все-таки: мельничка, гончарный круг, наряд индейца, деревянный желоб... неожиданное и нелепое сочетание вещей. Неужели когда-нибудь Петр поймет, к чему здесь был гончарный круг и синие перья индейского вождя? А потом Петр подумал: «А может быть, в каждом доме можно найти что-то похожее? Вот попробуй заберись в дом Белодедов на Литейном — найдешь там и монашескую скучью, и прямоугольные гвозди, которыми ковал лошадей отец».

Наутро, когда Петр окликнул Лельку, она не отозвалась. Он пошел в соседнюю комнату. Постель была даже не разобрана. Видно, сестра ушла еще ночью.

## 73

Петру не терпелось посмотреть новые апартаменты наркомата. Чичерин его удерживал.

— В этом доме мы жильцы временные, — заметил Георгий Васильевич. — Для посольства нет особняка лучше, для наркомата он мал. Если есть возможность жить в одном доме, какой резон расселяться в трех?

Чичерин был прав. Переехав в Москву, наркомат расселился в трех особняках: нарком и оперативные отделы — в Тарасовском на Спиридоньевке, часть аппарата — на той же Спиридоньевке в особняке Рябушинского, наконец, консульская служба — где-то на Хорошевке.

Но взглянуть на красивый дом всегда приятно, тем более, если в этом доме предстоит работать, и Георгий Васильевич уступил настоянию Петра: Чичерин и Белодед пошли из комнаты в комнату. Хозяева особняка давно выехали, но... природа не терпит пустоты, в особняке поселились знатные беженцы из Питера — большие и малые чиновники, которых вызвала к жизни мартовская революция.

— Мы на вас управу найдем, узурпаторы! — Человек в шубе с каракулевым воротником хотел сказать нечто еще более дерзкое, но, оглянувшись, увидел Чичерина. — Простите, вы не новые хозяева?

— Новые, — произнес Чичерин, не останавливаясь.

— С кем имею честь?

Чичерин назвал себя.

Человек нетерпеливо переступил с ноги на ногу.

— Вы... интеллигентные люди, проехали полмира... — Он на секунду запнулся. — Как вы можете... допускать такой произвол?

— Но это же революция!

— Мы-то знаем, что такое революция! — сказал господин в шубе.

Петр улыбнулся.

— Так то была другая революция!

Человек в шубе побелел.

— Самозванцы! Самозванцы! Кто вас вывирал?

— Что вы сказали? Повторите! — грозно обернулся Петр.

Человек, качнувшись, полетел по лестнице вниз. Было слышно, как он кричал внизу, и голос доносился сюда, как со дна колодца:

— Это же бог знает что!

Петр остановился. Как ко всему происшедшему отнесется Чичерин? Он был потрясен тем, что увидел: в нескольких шагах от него стоял Репнин, доброжелательно-строгий, заметно похудевший за две недели жизни в Москве.

— Мне сказали, что вы где-то здесь, — заметил Репнин, адресуясь к Чичерину и Петру. — И, признаюсь, я не устоял от искушения...

Эти несколько слов были произнесены столь невозмутимо, что не оставалось сомнений: Репнин не был свидетелем напряженного диалога с человеком в шубе. А может быть, он так произнес эти слова именно потому, что был свидетелем? С тех пор как они столкнулись с Петром в споре о дипломатии догматической и творческой (так, кажется, выглядела окончательная формула?), Петр видел Репнина не однажды, но каждый раз Петру казалось, что Репнин настойчиво, хотя и осторожно, пытается продолжить спор.

— Сегодня пришла почта с французской прессой, — сказал Репнин. — «Тан» поведал

о презабавном случае, когда французский консул, чудом избежавший интернирования, продолжал оставаться консулом Франции в городе, занятом немцами, и выполнять свои обязанности.

Петр пристально посмотрел на Репнина. Ну конечно же, он обратился к этому рассказу о французском консуле в оккупированном городе, чтобы возобновить спор с Петром.

— А я полагаю, — воинственно реагировал Петр, — консул должен быть консульством, посланик — миссией, посол — посольством, если... даже город, в котором они находятся, и оккупирован немцами!

Они шли сейчас неосвещенным коридором, и было слышно, как затих шаг Репнина. Белодед жаждал поединка.

— Я вас не понимаю, Петр Дорофеевич, — заметил Репнин.

— Я тоже, признаюсь, не очень вас понял, — усмехнулся Чичерин. — Значит, консул — консульством, так, кажется? — добродушно подзадорил он.

Коридор был все так же темен, и только звук шагов и дыхание определяли, где находится каждый из идущих.

Петр подумал: настало время сказать все, что в нем тревожно зрело все эти месяцы, что однажды уже свело его в поединке с Репнином.

— Я хочу говорить только о дипломатии, Георгий Васильевич, — произнес Петр и огляделся. Комната, в которую они вошли, была самой солнечной в доме — она была угловой.

— О дипломатии? — переспросил Чичерин и закусил губу так, что бородка ощетинилась. — Ну что ж, о дипломатии и, быть может, чуть-чуть о жизни.

— Но предупреждаю вас, Георгий Васильевич, — сказал Петр и посмотрел на Репнина. — То, что я скажу, это мой взгляд на жизнь и людей, моя память, быть может, даже симпатии мои и антипатии. Это прежде всего я. Это много, для меня по крайней мере, но это и очень мало. Короче, хочу иметь право говорить только от себя. Можна?

— Да, разумеется. Это будет интересно мне, да и Николай Алексеевич, я думаю, не устранился, — заметил Чичерин не без лукавства, он-то великолепно понимал, кому в первую очередь Петр адресовал то, что намеревался сейчас произнести.

Петр оглядел комнату: три венских стула, которые стояли в разных концах, как повздорившие собеседники, — вся мебель, что еще здесь оставалась.

— Кто такой дипломат? Вот простой и бесконечно сложный вопрос, — заговорил Петр. — Ответ может быть один: тот, кому страна доверила говорить от своего имени с другой стра-

ной. Заметьте, доверила. Разумеется, помимо него есть много таких же, как он, и вместе они составят ума палату! Но в данном случае речь идет о нем, облеченному доверием. И сразу вопрос: коли народ ему доверил, может ли он, дипломат, вести себя так, как ведет себя капитан в открытом море?

— Как велит ему чувство долга, как требует разум? — нетерпеливо перебил Чичерин.

— Да, долг и разум! — подхватил Белодед, он любил эту способность Чичерина определять самое сложное понятие двумя словами, двумя динамическими словами — «долг» и «разум». — Как велит долг и требует разум. — повторил Белодед. Этот разговор начинался слишком стремительно — как при сильном ветре, вдруг не хватило воздуха. — Значит, может быть положение, — продолжал Петр, — когда один человек — я подчеркиваю: один! — станет своеобразным Наркоматом иностранных дел? Его слово и его дело — слово и дело наркомата? Я свободен в способе действий, лишь бы они были полезны делу и по характеру своему, ну, как бы это сказать... были достойны.

— Да, у вас есть это право, Петр Дорофеевич, которым вы не злоупотребите.

— У меня есть свобода действий, без которой нет дипломатии творческой, — продолжал Петр, он хотел вести разговор в прежнем темпе. — Я свободен решать, когда и с кем мне встречаться, к каким аргументам обратиться. Я свободен выбрать собеседников, ими могут быть банковские воротилы и туземные царьки, департаментские клерки и хозяева сахарных плантаций, сенаторы и председатели синдикатов, автомобильные короли... Я волен вести эту беседу так, как подсказывает мне мое сознание, разум, знание предмета, опыт. Я готов нести ответственность, самую строгую, за каждый свой поступок, каждое слово, но я прошу взамен одного — доверия.

— Слушаю вас, Петр Дорофеевич, и мне кажется, что я перенесся в девятнадцатый век, — как бы невзначай реагировал Репнин.

— Не понимаю вас, Николай Алексеевич, — заметил Петр.

— Это в те далекие времена, при примитивных средствах сообщения и связи, — заговорил Репнин вразумительно, — каждое посольство представляло собой остров в океане и должно было решать задачи, сообразуясь лишь с картиной неоглядного моря, которая открывалась из окна, решать на свой страх и риск. Ныне, в век аэропланов, беспроволочного телеграфа и железных дорог, в этом нет решительной никакой необходимости. Вы создали проблему искусственно, сегодня ее нет.

— Где ее нет? — спросил Петр, спросил горячо, он хотел обострения спора.

— Как... где? — изумился Репнин. — В практике дипломатии.

— Какой дипломатии? — настаивал Петр. Ему показалось, что он нашупал слабое место в позиции Репнина, и хотел его обнаружить воочию.

— Я лучше знаю дипломатию английскую, — скромно заметил Репнин, терпимым тоном он пытался умерить воинственность разговора.

— Так это же естественно, что там ее нет, этой проблемы, — заметил Петр воодушевленно. — Но там к дипломату нет и того доверия, которым располагаю я, дипломат новой России.

Репнин улыбнулся, улыбнулся саркастически, не стараясь скрыть своей улыбки — не часто он был столь откровенен.

— Дай бог, чтобы мы располагали завтра таким доверием, какое они имеют сегодня!

Петр поднялся так резко, что стул едва не опрокинулся.

— Дай бог им и впредь такую же меру счастья, но мне ее мало! — воскликнул он.

Вмешалась тишина. Даже Чичерин, только что настроенный иронически, насторожился.

— Да поймите же, что я не упорствую в своих заблуждениях, — заговорил Репнин, стараясь самым тоном, спокойно-доброжелательным, доверительным, показать, что он хотел бы вернуться к началу разговора. — Сами проблемы, которые предстоит решать дипломатам, стали многое сложнее, чем были прежде. Нередко решить их не под силу одному человеку. Дипломатия блестящих одиночек отошла в прошлое, настало время мозговых трестов и в дипломатии. И техника дает нам эту возможность: даже если человек действительно находится посреди океана, он не чувствует себя там более одиноким, чем на Даунинг-стрит.

— Вы хотите сказать, что время самостоятельных действий для дипломата бесповоротно минуло, а доверие обременительно? — спросил Петр неожиданно, но Репнин только развел руками.

— Вольному воля, — сказал Николай Алексеевич, дав понять, что намерен стоять на своем.

## 74

Белодед заметил еще в Питере: самую трудную работу Чичерин делал ночью. Когда город уходил на покой и затихали ближние и дальние шумы, Чичерин гасил верхний свет, придвигал настольную лампу, клал перед собой стопку бумаг и садился за работу. В Москве Чичерин не изменил своего режима. Далеко за

полночь, в предрассветный час, когда тишина, как и темнота, наиболее глубока и нерушима, были написаны все знаменитые чичеринские письма Ленину с проектами нот и телеграмм. Ленин мог вызвать Чичерина в полночь — от Спиридоныевки до «Националя», где первое время находились квартира и рабочий кабинет Владимира Ильича, а позднее от Спиридоныевки до Кремля в десять — пятнадцать минут можно управиться и пешком.

Чичерин вызывал Петра в третьем часу ночи.

Георгий Васильевич сидел за журнальным столиком, придинутым к окну, поближе к батарее парового отопления.

— Нет, нет, пальто не снимайте, — поднял он ладонь предупредительно. — Кстати, и мне не лишне накинуть. — Чичерин пошел к вешалке. — Вот поставил стол у батареи, а она остыла. Сижу колдую, — указал он взглядом на просторный лист бумаги перед собой.

Петр взглянул и все понял: ну конечно же, это был план нового здания; Чичерин не оставлял своего намерения собрать Наркомнидел в одном доме. Им мог стать «Метрополь», его боковой подъезд, прилегающий к Китайгородской стене.

— Как должен выглядеть наш новый дом? Кстати, вы заметили там, на Мойке: все представительские комнаты, все эти золотые гостиные, банкетные, буфетные и рюмочные одеты от пола до потолка в шелк, а в служебных комнатах, где сидел наш брат, самая большая роскошь — фаянсовые умывальники и медные краны.

Петр не знал, что ответить.

— Ну, я вижу, вы совсем растерялись! — произнес Чичерин. — Скажите, Белодед, а вы никогда не думали, как спланирован административный Петроград? Тут и немецкая четкость, и целесообразность тоже немецкая. Совершите мысленное путешествие по Петрограду, обогните Зимний, и вы сделаете открытия покрупнее, чем Пржевальский на Аркатае и Миклухо-Маклай на берегу залива Астролябия. Представьте все это зритально: в самом центре, разумеется, дворец, через площадь — министерства: военное, иностранных дел и финансов, то есть все, что необходимо, чтобы государственная машина вертелась. По правую руку — священный синод и сенат. По левую — посольский квартал. Вы обратили внимание, какая дисциплина ума, точно все это создавалось не веками, а сразу и навечно! А министерство иностранных дел и весь комплекс больших и малых учреждений, которые к нему тяготеют! Не менее рационально: министерство иностранных дел — в центре, под одной крышей с ним — военное и финансовое министерства, в двух шагах главные посольства: на площади у Исаакия — германское, на невской набережной —

английское и французское. Американское посольство — на Фурштадской, зато консульство — на Невском. Чисто американское решение задачи: административная столица Вашингтон — в стороне от больших дорог, деловая столица на большой дороге — Нью-Йорк. Разумеется, у нас иные цели, и пусть вся эта комбинация больших и малых дворцов останется в назидание потомкам как памятник тому режиму. Но у них был государственный ум, нередко точный, а это и нас не обременит. Как вы полагаете? — Чичерин достал часы. — Что-то нет звонка... А вы думаете, что я поднял вас за полночь, чтобы рассказывать, как экономно спланирован старый Питер? — Чичерин смеялся, пальто упало с плеч. — Невысокого вы обо мне мнения. Приезжает Мирбах. Да, граф фон Мирбах, германский посол. Я жду звонка от Ленина, хочу, чтобы вы были со мной.

Но звонок, которого ждал Чичерин, раздался только под утро. Петр слышал, как загудела мембрана телефона, и узнал быструю речь Владимира Ильича.

— Нет, нет, не хитрите, небось окоченели там в своих хоромах? — Телефон захрипел и на какой-то миг стих, а в следующую минуту раздался голос, но на этот раз необыкновенно живой, точно из соседней комнаты. — Куда вы запропастились, Георгий Васильевич? Я давно сказал: жду!

## 75

Они оделись и вышли из здания, мягкость неба и тихо пробуждающейся земли, нерезких, но необъяснимо тревожных запахов и теплого ветра обняла их. Все время, пока они шли до Кремля, в памяти Петра звучали несколько слов, услышанных по телефону: «Я давно сказал: жду!» Город спал, но тишина и мягкость были и приятны и чуть тревожны.

Их встретила Надежда Константиновна, радостно обеспокоенная, усталая.

— А чай уже на столе, — сообщила она и, улыбнувшись, поправила плед на плечах — здесь было не теплее, чем в наркоминдельском особняке. — Только вы уж похозяйничайте сами. Мне неможется, — произнесла она и вновь улыбнулась, так же приветливо и устало. — Володя, — позвала она, приоткрыв дверь. — Встречай, к тебе!

Чичерин открыл дверь пошире, и Петр увидел у самой двери Ленина.

— Да не на аэроплане ли вы так быстро? — Владимир Ильич медленно развел руки. «Утром бы он их развел стремительнее», — подумал Петр. — Чайник не успел вскипеть, а вы тут. Вот чай, хлеб. — Он указал глазами на масленку. — По-моему, есть даже масло. На-

ливайте чай и пододвигайтесь к столу. Да похрабрее, храбости-то вам не занимать, а?

Чичерин пододвинул чашку, налил чай, потом взял ломтик хлеба, тщательно разрезал вдоль, срезал тонкую пластинку масла и, прикрыв хлеб, положил бутерброд рядом.

Петр попытался сделать то же, но сломал ломтик и, потеряв надежду разрезать его, придинул к себе чай.

Ленин улыбнулся одними глазами.

— Вновь встала тень Бреста — приезжает Мирбах, — сказал Ленин. — Как его встретить? Как повести себя с ним? Я полагаю, надо встретить достойно... — Ленин умолк и взглянул на дверь, она бесшумно открылась — на пороге стоял Соловьев-Леонов, черная повязка все еще поддерживала руку. — Встретить достойно, — повторил Ленин, особо выделив «достойно». Ленин молчаливо пригласил Соловьева сесть. — И не только встретить, но и оказать ему внимание, которое должно быть оказано послу.

— Внимание? — удивился Соловьев. Он сидел в дальнем углу, куда не доставал свет настольной лампы, и был почти скрыт от присутствующих. — По-моему, на внимание не рассчитывают даже немцы.

— Если посол попросится на прием к председателю Совнаркома, очевидно, придется принять, — проговорил Ленин, он сделал вид, что не рассыпал слов Соловьева.

— Принять? Надо ли, Владимир Ильич? — Соловьев сказал «Владимир Ильич», чтобы смягчить резкость этой и предыдущей фраз.

— Полагаю, что отказать значит оскорбить, — подтвердил Ленин энергично.

— Это же... почти чествование, Владимир Ильич, — возразил Соловьев. — Зачем чествовать немцев, за какие заслуги?

— Чествовать? — стремительно реагировал Ленин. — Ни в коем случае! Но элементарную вежливость соблюсти...

— Но что даст эта вежливость реально? — спросил Соловьев.

— Она сохранит отношения с немцами на уровне, который нас устраивает, — заметил Ленин.

— Это нам нужно? — спросил Соловьев.

— До поры до времени очень.

— Погодите, но как все это поймут наши друзья за рубежом? — нашелся Роман. Он даже улыбнулся от сознания того, что довод найден. — Сколько добрых людей отойдет от нас после каждого такого приема?

— Весьма возможно, что кто-то отойдет, — ответил Ленин.

— Вы согласны, что это может иметь место? — спросил Соловьев, ему очень нужно было согласие Ленина.

— Да, согласен, — сказал Ленин. — Воз-

можно, кто-то отойдет, но это погоды не сделает.

— Но достоинство, наше достоинство, Владимир Ильич!

Ленин стоял посреди комнаты, положив руки на спинку кресла, словно то, что он намеревался сейчас сказать, не мог произнести без того, чтобы не опереться вот так прочно.

— Когда я буду принимать Мирбаха, приходите посмотреть, как мне будет сладко. — Он долго молчал, не поднимая глаз. — Но я его все-таки приму и думаю... сохрани достоинство.

## 76

У подъезда Наркоминдела собиралась толпа.

— Мирбах собственной персоной!

Это было в диковину: посол императорской Германии при большевиках.

Мирбаху определенно импонировала популярность. Когда автомобиль выскакивал из Денежного переулка и сворачивал на Арбат, рука в белой замше неожиданно испытывала неудобство на остром колене Мирбаха и перекочевывала на борт автомобиля. Машина проносилась быстро, но так, чтобы фигура германского посла, восседающего в открытом автомобиле, была опознана горожанами. Золотое шитье на парадном мундире способствовало этому немало. На московских панелях, где все чаще стучали башмаки на деревянных подошвах, слепящее золото мундира Мирбаха было в диковину. То ли рассчитывая на плохое знание протокола, то ли пользуясь тем, что права и привилегии дипломатического корпуса монопольно сосредоточились у него да, пожалуй, у турецкого посла, прибывшего в Москву почти одновременно с Мирбахом, кайзеровский посол явно злоупотреблял парадной формой.

Белодед встречал Мирбаха в приемной наркома.

— Как я люблю русскую церковную службу! — вернулся немец к своей теме. — Как хорошо было в церкви в ту субботу!.. Как после хорошего вина, да, да... Теперь в апреле самые красивые службы... и вербное воскресенье, и всенощная, и пасха... Там, в Афинах, присутствие на больших церковных службах для дипломатов приятная обязанность. — Посол косвенно дал понять, что эта традиция уже не может иметь места в России. — Особенно служба в ночь на пасхальное воскресенье, только бы постоять со свечой — толстая свеча и под ней бумажный веер... А потом процессия идет вокруг храма, и полуночная встреча в Патриаршем дворце, и крашеные яйца... Нет, что ни говорите, а приятно удариться с патриархом этими... крашенками!

(Посол следовал старому правилу: чужой народ легче всего познается через церковь.)

Мирбах чуть-чуть позировал, разговаривая с Белодедом. Он вдруг медленно подходил к окну и долго смотрел в него, при этом глаза его застилали столь непроницаемая пленка самообожания, что он, как был уверен Петр, решительно ничего не видел ни за окном, ни в комнате. Иногда он, едва ли не молитвенно воздев очи к большой люстре, висящей в приемной, окаменевал. Чаще же всего старался так поместить мощный торс, чтобы по правую и левую руки был кто-то из сопровождающих чинов посольства. В этом случае военный и штатский чины, как правило, фигуры абсолютно молчаливые, намертво отстравившиеся от участия в беседе и прочко доверившие послу свои мнения по вопросам, которые когда-либо возникли или могут возникнуть, были не больше, чем золоченные грани богатой рамы, в которую вправлен великолепный портрет Мирбаха.

Но золото рамы заговорило.

— Господин Белодед, а мы ведь с вами встречались, — произнес человек в черной паре, когда посол в очередной раз отошел к окну. — Помните Стокгольм, гостепримный дом господина Лундберга и два пистолета, с помощью которых мы пытались решить спор?

Оказывается, английские усы обладают силой магической: вон как неизвестно преобразили они философа и дипломата Рицлера.

— Ваш приезд в Москву меня настороживает, господин Рицлер, — усмехнулся Петр. — Очевидно, опасность для меня не миновала.

— Мы еще скрестим шпаги, господин Белодед, — произнес Рицлер и поднял тонкий палец. Палец дрожал.

«Как он чувствует себя, философ и дипломат, молчаливо обрамляя Мирбаха? — не мог не подумать Петр. — Что у него на душе? Не уходит ли он в тень сознательно, чтобы дождаться своей минуты и стать уже не рамой, а портретом?»

## 77

Вечером, когда Петр вернулся на Конюшенный, у порога особнячка стояла тяжелая московская фура, а на ступеньках дома сидела Лелька.

Петр бросился к ней, не поднял, а взвил.

Он смотрел на сестру: что-то в ней просыпалось жизнерадостное, просыпалось вместе с весной, тоскливыми волнениями и соблазнами.

— Оденься, и давай завьемся с тобой куданыбудь, Лелька! — произнес он с веселым молодечеством. — Я любил там, в Глазго...

Он сказал «Глазго» и ощущил, как Кира

застучала по сердцу кулаками. «Вот пойдем, и скажу ей о Кире, обязательно скажу», — подумал он.

Они пошли по бульварам, вначале Пречистенскому, потом по Никитскому, Тверскому и Страстному. Земля была еще черной. В канавах отставалась вода — влажная почва отказывалась ее принять. Деревья казались настороженно-тревожными, живыми, все чудилось: дохни на них еще раз теплом и солнцем, и они зацветут.

Кто-то крикнул вслед:

— Ничего себе парочка!

Она обернулась:

— А тебе завидно?

Петру была по душе ее дерзость, храбрая при всех ненастях и бедах, белодедовская.

Где-то на Тверском в погребке они выклянчили бутылку «Церковного» — вино отдавало прелой пробкой, ноказалось неслыханно вкусным.

Потом они долго шли бульваром, черным, как весенняя река, только что освободившаяся от льда.

— А знаешь, Лелька, — сказал Петр. — Вот этот пейзаж надо писать тушью. Краски тут беспомощны.

— А та... девушка писала маслом?

— Маслом... — сказал Петр. — Она, эта девушка, очень настоящая.

Он подумал: сейчас спросит иронически-лукаво: «Так уж и настоящая? Ай-ай... настоящая!» Она спросит, и он расскажет все, что хотел рассказать. Но она ничего не сказала, только плечи странно сузились и сильнее сокнулись губы.

Быть может, прежде Петр осекся бы и смолчал, но сейчас все рассказал: и про последнюю встречу в Кирином доме, и про встречу и расставание в Лондоне, рассказал и спросил, что делать.

Все время, пока он говорил, она не разомкнула рта.

— А я не верю ни в ее талант, ни в ее любовь, — сказала она неожиданно и встала, дав понять, что хочет идти.

Он был обескуражен.

— Не пойму тебя, Лелька, почему ж?

— А талант на любовь не меняют, если он истинный, и любовь на талант тоже.

Они пошли медленнее.

Она, не стесняясь, подняла кулаки:

— Вот ты говоришь, Россия! А что ты видел в ней?

Петр взглянул на нее и вдруг, спохватившись, отвел глаза.

— Ты видела?

— Видела.

— ЧТО?

Она пыталась заглянуть ему в глаза, знала, что они у него злые.

— Разве об этом расскажешь.

— А ты попробуй рассказать.

Она пошла быстрее, так и не рассмотрев его глаз. Наверно, она имела в виду длинные свои дороги по Руси, длинные и ой какие трудные.

Они пришли домой, так и не возобновив разговора.

Петр опасался, что утром, когда встанет и заглянет в ее комнату, увидит неразобранную постель и в очередной раз решит: «Она уехала еще с вечера...»

Однако, проснувшись, он увидел ее рядом.

— Слушай меня, в Петроград вернулся Вакула. — Она повела черными глазицами. — Завтра, а может, послезавтра будет здесь с матерью. Мать — от нее никуда не денешься, как от неба, она наша. А он? Гони его от ворот, чтобы духа здесь не было.

Петр ухмыльнулся:

— Чего гнать, он брат.

Она встала:

— Не погонишь ты, я погоню.

Петр спешил в Наркоминдел, разговор с Лелькой не шел у него из головы. В ее жизни, как в жизни каждого, есть закрытые города — туда она никого не пустит, теперь и навечно. А может быть, когда-нибудь пустит? Как она говорила о Кире и почему так говорила? Это тоже запретный город? Что-то в ней было непреодолимо дремучее, как июльская полночь где-нибудь на Кубани, когда тьма от самых звезд до земли.

Если Кира суждено быть в Москве, то она будет скоро. В Москве жил Столетов, близкий родственник Кире по отцу, однажды он звонил Петру. Звонил и обещал позвонить еще, разумеется, если будет необходимость.

## 78

Позвонил Столетов.

— Петр Дорофеевич, голубчик, в это ваше иностранное ведомство за крепостными стенами — пушками не пробьешься! Верите, звоню с шести вечера — не могу дозвониться! Короче, есть телеграмма. Едут: Клавдиев и Кира.

Петр увидел Киру в окно вагона и поймал себя на мысли: «Я берег ее другой...» Он хранил в памяти другие глаза, совсем другие, а те, что она привезла из Глазго, были не ее: он берег дымно-серые, а эти непонятно-зеленые.

— Петр! — крикнула она, очевидно думая, что он ее не видит. — Я же здесь, Петр!

Он кинулся к ней. Сейчас он чувствовал: это она. В эти месяцы все растеклось и размы-

лось в памяти, но ощущение упругости и робкой податливости плеч осталось. Это она. Сейчас он видел ее, только ее, все остальное отступило и рухнуло. Даже Клавдиев. Он должен быть где-то здесь, в вагонных сумерках. Но сейчас Петр мог видеть только ее.

— Кира... Кира... — говорил он и все думал: как он мог без нее все эти месяцы? Почему она была с ним, в его сознании, его памяти не постоянно? Почему были дни, когда она бесследно уходила куда-то прочь, а когда приходила, то из такого далека, что он спрашивал себя вновь и вновь: была она в его жизни или ее не было?

Из купе донесся сдержаный кашель Клавдиева.

— Я готов ждать еще, только вагон, как мне кажется, пуст и мы рискуем укатить в Питер.

Но Белодед уже шел на Клавдиева.

— Это же чудо, Федор Павлович, вот так встретиться в Москве...

Уже за полночь Кира упросила Петра пройтись по Москве, и он привел ее к собору Василия Блаженного. Шел дождь. Блестели тротуары. В эту ночь, не потревоженную городскими шумами и сутолокой, хорошо смотрелось и виделось. Кира подставила лицо дождю. Капли, теплые и обильные, сбегали по щекам. Она мягко щурялась, улыбалась, жадно и неожиданно вздыхала.

— Господи, только подумать — я в Москве, только подумать... — не уставала произносить она.

Потом они стояли где-то на мосту, над текучей водой Москвы-реки, и он целовал ее в губы, они пахли мокрыми листьями.

— Кира, никуда тебя не пущу, — говорил он.

А она отвечала, улыбаясь:

— Да... да...

И нельзя, решительно нельзя было понять, что означает это «да», но очень хотелось, чтобы она повторяла его бесконечно.

## 79

Вернувшись домой, он не без изумления заметил, что крайнее окно справа, где находилась его комната, освещено. Он вошел в дом и увидел спящего в кресле Вакулу. Голова Вакулы, жирная и седеющая, свалилась набок, только руки, упершиеся в подлокотники, удерживали тело от падения.

Видно, Вакула услышал шаги Петра, он подобрал ноги и приготовился привстать, но Петр не подал голоса, и Вакула замер. Так они долго молчали, не двигаясь с места. Потом Вакула подтянула тяжелое тело, опершись о под-

локотники (он устал первым), и, повернувшись к Петру, моргнул.

— Здравствуй... брат.

— Здравствуй.

Вакула поднял пятерню и, запустив ее в седые лохмы, взъерошил их, точно желая разогнать сон. Потом навалился на стол, долго смотрел перед собой — там лежала толстая, в сером переплете книга.

— Вот раскопал здесь кассовую книгу хозяина, — он ткнул коротким пальцем в пол, точно желая этим жестом показать, какого именно хозяина он имеет в виду. — Толковый, я тебе скажу, человек, — он постучал согнутым пальцем по лбу. — Тут у него... и замах, и расчет, и понимание. — Он посмотрел кругом. — Я обошел дом, у него, наверно, детишек много было. Постоял, подумал: зачем было гнать человека — не пойму.

— А его не гнали.

— Положим, гнали, — произнес Вакула сумрачно и зевнул. — Только почему прогнали, сами не знаете, поэтому и говорите, что не гнали.

Петр расхохотался.

— Ты что? — спросил Вакула, скосив на Петра глаза, он не очень понимал, почему смеется брат.

— До чего же ты похож на одного человека! — продолжал хохотать Петр. — Тот тоже все знает и все понимает на сто лет вперед. И думает — за тебя, и говорит — за тебя...

— Кто это? — мрачно спросил Вакула.

— Есть такой человек, — уклончиво ответил Петр.

— Нет, ты скажи, кто? — настаивал Вакула.

Петр хмуро молчал.

— Троцкий, — наконец произнес он.

Теперь умолк и Вакула.

— Этот человек, — Вакула указал взглядом на книгу — разговор о Троцком его не устраивал, — талант. — Он продолжал благодарно смотреть на переплет. — Человека этого я никогда не видел, а по книге этой разумею: на таких, как он, Россия держалась.

— Ты что хочешь от меня, чтобы я сейчас вернул его? — ухмыльнулся Петр.

Вакула раскрыл книгу и, зажав в пятерне листы, медленно, страница за страницей их выпустил.

— Да нет, пожалуй, уже не вернешь. Он от любви к вам так шарахнулся, что если и найдешь его, так только в том краю России... Ты Кубань помнишь?

— Помню.

— А коли помнишь, ответь: кто там был заводилой, кто был мотором? Кто строил железку, кто гнал поезда, кто молотил хлеб и

грузил составы, кто давил масло и наливал цистерны? Кто, скажи.

— Наш брат рабочий, вот кто!

Вакула сокрущенно гаркнул:

— Рабочий-то оно рабочий, да не в нем дело.

— А в ком?

Вакула постучал согнутым пальцем по касовой книге.

— Вот в ком! Я тебе дело говорю: он пуп земли! — Вакула продолжал упорно стучать пальцем. — Хочешь, скажу, в чем ваша беда? Хочешь?

— Говори.

— Вы жизни не знаете и человека. Да, человека вы не знаете, и в этом все ваши несчастья. Что говорит малютка перво-наперво, когда на свет божий появляется: «Это мое!» Да, да, «мое!», вот и танцуй от этой печки, коли это у тебя в крови. Дай человеку почувствовать силу свою, дай размахнуться уму. Он будет богаче, и ты будешь богаче, он войдет в тело, и тебе перепадет. А вы у него выкормили сердцевину, оскопили, отняли у него право сказать «мое» и хотите, чтобы он трудился и землю русскую украшал. Не будет он трудиться! Все бурьянном захлестнет, все запаршивеет и сгинет.

— Ну, ты ложись, утро вечера мудренее, — сказал Петр.

Вакула недоуменно взглянул на него.

— А при чем тут утро? — Он захлопнул кассовую книгу и отодвинул прочь. — Если всех хозяев вырубить, кто кормить будет, кто хлеб даст, а? Скажи, кто даст? Мирбах?

Петр вышел: где-то он уже слышал эту фразу о Мирбахе.

А едва забрезжил свет, Петр разбудил Вакулу.

— Вот что, собираясь и уходи! Чтобы духа твоего тут не было.

Вакула ничего не сказал, начал медленно собираться.

## 80

Лето восемнадцатого года было знойным. По вечерам небо над Москвой становилось пыльно-багряным, к ветру. День ото дня с Воробьевых гор, с песчаных полей, лежащих на юг и запад от лесистых увалов и скатов левобережья, тянул ветер, жестко-сухой, насыщенный песком и пеплом, — где-то рядом с городом горели леса. Ветер перекрасил город, трава стала серой, пожухла и потускнела листва, деревья и дома стояли в багровом чаду, точно в ожидании большого пожара. Прошел дождь, один, второй, третий, но не победил зноя. Москва-река обмелела, жестокая проседь тронула леса.

У новой России была одна столица. У ди-

дипломатов, аккредитованных и неаккредитованных, три.

В Петрограде оставались нейтралы. Казалось, они обрели единственную в своем роде возможность доказать, что они нейтральны. Вслед за столицей они не поехали. За союзниками — тоже. Нет ничего вернее нейтралитета.

В дипломатической Вологде уже сложился свой быт. Дворянская, с ее деревянными особняками — гордость и украшение Вологды, — стала своеобразным посольским кварталом. Осаново, небогатая усадьба в пяти верстах от города, чью колокольню не мудрено рассмотреть и с Дворянской, заменило дипломатам Гатчину.

И, наконец, то, что можно было бы назвать дипломатическим корпусом Москвы, в сущности ограничивалось германским и турецким послами да консулами держав Согласия, впрочем, последние не в счет не только потому, что по давнейшей традиции консул не дипломат, но и по другой, более важной причине: до того как факт признания совершился, положение союзных представителей в России более чем условно.

Итак, у новой России была одна столица, у дипломатов — три.

От Петрограда до Вологды — четыреста пятьдесят верст, от Вологды до Москвы — пятьсот, от Москвы до Петрограда — шестьсот. Больше полутора тысяч. Непросто послу страны, упорно не признающей нового строя, проехать из Вологды в Москву или тем более в Питер. Положение посла не дает никаких привилегий, наоборот, обременяет. Единственно, кто беспрепятственно курсирует между тремя городами, — военные атташе посольств и миссий. Они не послы, они атташе. В отличие от американского посла, который прочно осел в своем вологодском особняке, или посла германского, который не менее прочно прикрепился к каменным хоромам в Денежном переулке в Москве, резиденцией военных атташе, в сущности, стал вагон железной дороги, который, точно заведенный, бежит по треугольнику.

И, обгоняя атташе и курьеров, в посольский особняк на проспекте с деревянными мостовыми идут радиодепеши, идут день и ночь, даже больше ночью, чем днем. Свет в крохотном окне под самой крышей указывает на это безошибочно. Кажется, что он, этот свет, негасим, и если бы не дневное светило, то был бы виден и днем. Человек, принимающий радиофиры и переводящий их на язык смертных, как огонь в его окне, всегда бодр, всегда во всеоружии. В посольстве никто не знает, когда этот человек спит, когда сидит за обеденным столом с женой и сыном, когда говорит жене: «Люблю» — и сыну: «Ты опять выпачкал губы химическим карандашом». Такое впечатление, что за своей

толстой, оббитой белой жестью дверью человек разгадывает тайны круглосуточно. Кажется, только ему и доверено говорить в посольстве с солнцем, звездами и облаками. Только он и в состоянии проникнуть в тайны языка и изобразить этот язык на бумаге. Стопка этих бумаг, заключенных в зеленую папку, у него всегда под мышкой. Когда он идет со своей папкой по посольству, кажется, что полуночный разговор со звездами оставил свой отсвет на его лице, оно выглядит сине-голубым — лунный человек! Может, поэтому, когда железная дверь неожиданно распахивается и выщелкивает его на лестницу вместе с зеленой папкой, коллеги почтительно расступаются, готовые пропустить его в посольский кабинет — этот алтарь и престолю. И лунный человек смело шагает, хорошо зная, что облечены правом едва ли не без стука войти к послу и в малую гостиную, где он принимает деятелей священного синода, и в кабинет, где сейчас диктует записи своих бесед, и даже в личные апартаменты. Всесилен лунный человек: депеша, которую он снял едва ли не с самого неба, дает ему это право.

И вот он стоит сейчас перед шефом, всемогущий coding clerk, со своей зеленой папкой и скептически-великодушно взирает, как посол ширит глаза, читая радиодепешу. Человек с зеленой папкой имеет право на иронию — он знал эту депешу, когда посол не имел о ней понятия. А депеша способна вызвать удивление. Русская проблема вновь стала предметом специального разговора союзников в Париже. Вторжение в Россию должно принимать все большие размеры. В новом русском походе участвуют англичане, американцы, французы, итальянцы, сербы. Главный фронт — север. Центр накапливания сил — Мурманск. Британская военная миссия в составе семидесяти офицеров ожидается в Мурманске со дня на день. Известно имя главнокомандующего: английский генерал Пуль. Стратегический замысел: накопить силы в Мурманске и овладеть Архангельском, Петрозаводском, Вологдой. Сигнал к захвату Архангельска должен быть подан в июле — для русского севера это лучшее время. Депеша хоть куда!

Но в июле должны выступить не только англичане. От Пензы до Владивостока вдоль великой магистрали расположились чехословакские войска, что некогда составляли армию австрийского императора и предпочли русский плен бессмысленной гибели. Войска изголодались, исхолодались, истосковались по родине. Это учитывают командование и французские инструкторы — они и в Пензе, и в Челябинске, и в Сибири... Июль — начало генеральных действий и для чехословаков. Лозунг, адресованный солдатам, что зажженная спичка над

бочкой бензина: «На родину, пробиться на родину, чего бы это ни стоило!» А что значит пробиться? Это значит ударить с тыла по большевикам! Кстати, расходы по вооруженному походу берет на себя американский президент. Очередная депеша, лежащая перед послом, сообщает об этом недвусмысленно: чехословацким войскам переведено восемь миллионов долларов... Посол смотрит на человека с зеленою папкой не без восхищения: вон какие депеши низверглись сегодня — всесилен лунный человек!

Было лето восемнадцатого года.

Петр доехал паровичком до дачного полустанка и пошел опушкой леса. Солнце уже давно село, но небо было нетускнеющим, и белесые полуночные сумерки разлились над полем и лесом. Земля давно остыла от полуденного зноя, и лес дышал холодной свежестью, а повсюду в стороне, отступая от дороги и леса, где днем поблескивали озерца и болотца, поле было мягким, серо-пепельным.

Еще дача была далеко, когда на белой тропе, огибающей лесок, он вдруг увидел светлое платье Киры. Быть может, она выходила к поезду и, не дождавшись, возвращалась обратно. Он шел вслед, думал: «Все, что надо сказать, скажу сейчас». Они будут идти по тропке, касаясь друг друга плечами — тропа неширокая, и он спросит...

— Кира! — крикнул он негромко, точно боясь вспугнуть легкую тишину ночи. Она оглянулась и, не увидев Петра, пошла быстрее. Петр улыбнулся. Ну конечно же, она идет сейчас и думает, что голос ей померещился. Он сошел с тропы — трава скрадывала шаг.

— Кира!

Она обернулась и пошла навстречу усталым и храбрым шагом.

— Ты звал меня сейчас? — спросила она и припала щекой к его груди.

Он кивнул и, сняв пиджак, набросил ей на плечи — всеказалось, что она мерзнет.

— Мне не холодно, — сказала она и благодарно посмотрела на него.

— Ты работала сегодня?

— Да, только утром, — сказала она.

День у нее расписан точно — четыре часа при утреннем солнце, четыре — при послебеденном и вечернем. Она была тверда, когда речь шла о рабочих часах. Тогда почему в послебеденные часы, которые Кира особенно ценила, она не работала?

— Тебе неможется?

— Нет...

— Пришло письмо?

— Да... от мамы.

— Оно пришло в полдень?

— Да, а ты откуда знаешь?

Он сжал ее плечи, зарыл лицо в ее волосы. Они пахли влажной землей и едва уловимым дыханием трав — видно, она долго бродила по холодным вечерним полям.

— Знаю. Оно пришло, и тебе стало худо. Так?

Кира не ответила, только упрямо и ласково склонилась в грудь.

— Она не хочет ехать в Россию, так ведь?

Кира и в этот раз не разомкнула губ, только беспомощно замотала головой и вновь припала к груди, точно умоляя спрятать ее как можно надежнее.

— Не хочет, Кира... да?

Она притихла и вздохнула.

Они повернули и пошли через поле, пошли без дороги. Поле было молочно-зеленым от росы, и там, где они ступали, оставался темный след. Ноги стали влажными, и туман обнял их, но они не чувствовали ни холода, ни влаги. Где-то вдали невысокой и призрачной черточкой темнел лес. «Вот дойдем до этого леса, — думал Петр, — и я спрошу ее, обязательно спрошу». Но лес поднимался над холмистым полем и исчезал, а расстояние до него не уменьшалось. Петр отчаялся и решил.

— Погоди, — сжал он ее плечи. — Но если она не приедет сюда, как тогда ты?

Она высвободила руку и сбросила с плеч пиджак.

— Не знаю...

Где-то в сосновом лесочке, сухом и неожиданно теплом, они остановились. Он припал спиной к стволу. Что-то тревожное, непоправимо смятение промелькнуло в этот вечер, все грозившее опрокинуть, все разметать. Это чувствовал он, и это безошибочно ощутила она. Быть может, поэтому с такой силой они потянулись друг к другу. Она старалась приникнуть к нему, и ей все казалось, что он далеко, что ей не дотянуться до его дыхания и тепла.

Они вошли в березовую рощу, здесь заметно посветлело. Он даже подумал: до того как осветить землю, зоревое солнце пришло сюда.

— Но если она не приедет, как ты все-таки?

Она долго не отвечала.

— Ты не видишь разве, как мне трудно?

— А... Клавдиев?

Она поднесла кончики пальцев ко рту.

— У меня с ним разладилось.

— Что так?

— Не знаю.

Она никогда так не говорила о нем. Если и был кто-то дружен в их семье, то это Клавдиев и Кира.

Они добрались до решетчатой ограды дачи Столетовых.

— Мы зайдем, да?  
Он помедлил.

— Сейчас уже поздно. В следующий раз я приеду раньше.

— Ну зайди ненадолго, — сказала она, слабо противясь; он уловил это.

— Нет, — сказал Петр и протянул руку.

Он слышал, как она идет через сад и отводит ветви. Нет, она не отшатнулась от Петра, но что-то встало между ними сегодня. Мать? Может, и мать, но если бы не было ее, тогда как? И он вспомнил недавнюю встречу в Москве. Она только что вернулась с дачи, и первые этюды лежали перед ней, среди них большой этюд — ели, освещенные солнцем. Петру он показался необыкновенным. Солнце и ели в солнечной типи. И каждый ствол, каждая ветвь, не потревоженные ветром, точно застыли в неслышной музыке света. Да, именно музыка елей и солнца. Наверно, это настроение в природе бывает не часто. Оно было и тогда один миг. Кира его подсмотрела.

— По-моему, вот это... стоящее, — не мог он скрыть.

— Стоящее? Верно, или тебе так показалось?

Уже потом он все старался додуматься: почему она, вместо того чтобы обрадоваться этим его словам, неожиданно опечалилась? Не верила в искренность этих слов и старалась понять их подлинное значение? Или, наоборот, очень верила в то, что они были произнесены от сердца, и поэтому затужила? В конце концов она верила, что способна воспринять и глазом и сердцем только свечение меловых холмов и росную мягкость луговой Англии, только их. И, может, этим объясняла то, что неласковую чужбину предпочла родным полям и долам. А тут вдруг... эти ели и солнце!

Петр решил быть у Киры завтра же, вернее, сегодня (день уже наступал, солнце было еще за линией горизонта, и поля лежали, освещенные рассветным сумраком, без теней), но сегодня открывался съезд Советов. Долгожданный съезд, а следовательно, и очередная крепкая стычка с летучей армией Марии Спиридоновой. О чем спор? Разумеется, о мужике, хлебе и, конечно же, Бресте — через четыре месяца после подписания мира спор вокруг Бреста не утратил остроты.

Белодед вспомнил Воровского. Накануне Петр встретил его в Наркоминделе. Встретил и почувствовал: тревожным ветром потянуло, предгрозовым. Воровский знает, когда ему быть в Москве. «Как вы думаете, Белодед, левые эсеры покажут нам... кузькину мать?!» Петр рассмеялся: «Могут и показать, Вацлав Вацлавыч». Воровский закашлялся. «Я знаю, вы сторонник крайних мер». — «Похоже ли это на меня, Вацлав Вацлавыч?» — спросил

Петр, однако подумал: «Он говорит сейчас о Королеве. Надо разрубить этот узел. Улучить момент и разрубить — все выяснить, все договорить до конца».

Петр подходил к станции. Он оглядел небо. Оно было незамутненно-чистым и безветренным, видно, день предстоял знойный — с одного берега не видно другого. Как-то удастся переплыть эту воду, не замутит ли ее сегодня, не вздышит?

## 81

Петр вышел из Наркоминдела, когда до открытия съезда оставалось минут пятнадцать (Чичерин осуществил свое намерение — Наркоминдел покинул особняк и переехал в «Метрополь»). Белодед пересек Лубянский проезд и впереди, у Малого театра, увидел Воровского. Тот стоял у кромки тротуара, развернув перед собой широкий лист «Известий». Вацлав Вацлавович был хмур. Нервно поблескивали стекла пенсне.

— Происходит нечто странное, — произнес Воровский, увидев Петра. — Только что прошла здесь Мария Спиридонова, окруженная своей гвардией, при этом все были вооружены. — Он поправил пенсне. — Все решительно.

Петр улыбнулся.

— Старая привычка, Вацлав Вацлавыч, читать улицу?

— Да, читать и прочитывать. — Он указал взглядом на тротуар, лежащий вдоль широкой стены Большого театра.

Воровский сложил газету, и они перешли дорогу.

По тротуару к входу в театр шел Ленин и его младшая сестра Мария. Ленин шел быстро, сильным, вразмах, шагом, делавшим фигуру больше обычного коренастой, и Марии Ильиничне стоило немалого труда идти вровень. На Владимире Ильиче был темный костюм и светлая кепка с широким козырьком — видно, кепка была новой. На Марии Ильиничне — длинная, чуть расклешенная юбка и белая, совсем летняя блузка.

— Вы обратили внимание, они сегодня очень молоды, — произнес Воровский, когда Ленин с сестрой скрылись из виду.

— И праздничны, — сказал Петр, улыбаясь. — Особенно Мария Ильинична.

— Не только она, — бросил Воровский, повеселев. — У Ильича кепка хороша... ох, хороша кепка!

Ленин решительно исправил Воровскому настроение.

К главному входу в театр медленно подкатил лимузин, большой, траурно-черный. Из автомобиля выскоцил шофер, точно его вытолкнули тутой пружинкой. Ему было нелегко

обогнать лимузин и приблизиться к задней дверце — народ валил валом. Пока шофер пребывался к дверце, человек, сидящий за нею, являл завидное терпение. Шофер дотянулся до полированной ручки, и посол медленно выбрался наружу. Он шел по лестнице, и толпа расступалась перед ним. Он близоруко смотрел вокруг и пробовал улыбаться, но толпа оставалась враждебно-сурой.

— Доброе здоровье! — вдруг произнес посол, но толпа была нема. — Доброе здоровье! — повторил посол и ускорил шаг. — Доброе!.. — воскликнул он и почти вбежал в театр.

Петр взглянул на Воровского.

— Вы что-то сказали, Вацлав Вацлавович?

— Нет, я ничего не сказал, — заметил Воровский, — но, если хотите, скажу...

— Говорите. — Но Воровский молчал. — Говорите же! — повторил Белодед.

— По-моему, немец не понимает своего положения.

Он ничего больше не сказал, но Петру показалось, что его мысли шли дальше, много дальше.

Белодед поднял глаза. «Колонны, как братья», — подумал он и устремился по ступеням к входу в театр.

— День добрый, Петро!

Петр напряг зрение, здесь было уже сумеречно, — Вакула.

— Здравствуй.

Между ними пять ступеней, Вакула — на верхней, Петр — на нижней. Если бы дело дошло до кулаков, то, пожалуй, Вакуле сподручней обрушить их на Петра.

Петр не остановился.

Сейчас между ними уже не пять ступеней — три, две, одна... Вакула отступил.

— Мы еще встретимся, брат. — Вакула ткнул большим пальцем через плечо — вход в театр был там.

Петр прошел в дипломатическую ложу, отведенную для Мирбаха. В зыбких сумерках возникла неестественно длинная фигура посла.

— А-а-а... господин Белодед! — произнес Мирбах и угрожающе протянул дрожащую ладонь. Непросто ему было сегодня войти в Большой театр. — Доброе здоровье!

Петр подумал, что сейчас начнется дежурный разговор о пасхальной службе в храме Христа Спасителя и достоинствах буйволиного молока, к которому Мирбах пристрастился в Греции («Ах, какое масло из этого молока, господин Белодед, белое-белое, как русский снег!»), но посол заговорил об ином.

— Как вы полагаете, сухая погода еще удержится? На Рейне горят леса...

— Леса горят на Рейне? — переспросил Петр и внимательно посмотрел на Мирбаха; какой смысл он вкладывал в эти слова?

— Горят, горят... — повторил посол.

Мирбах стоял сейчас в глубине ложи, и обильное золото парадного мундира точно дремало.

— Непобедимость Германии в союзе с Россией, — вдруг произнес германский посол и пристально взглянул на Белодеда, точно дожидаясь, какое впечатление эта фраза произведет на собеседника.

— Вы сказали: в союзе? — спросил Белодед, будто он ослышался.

Мирбах передернул плечами, и золотое шитье его мундира ожило.

— Когда глубокие тылы России будут тылами Германии, удар с Запада нам не страшен. Любой удар.

Так вот о каком союзе говорил Мирбах: когда тылы России будут тылами Германии!

Они молчали, только горело золотое шитье на обшлагах парадного мундира Мирбаха.

Все-таки в этом есть что-то фатально-зловещее, подумал Петр, глядя на сполохи мирбаховского золота. К чему вырядился человек, какой праздник справляют, по какому случаю торжествует?

Когда глаза пообвыкли, Петр рассмотрел в ложе белые ресницы Рицлер.

— Положение сложнее, чем нам кажется, — произнес Рицлер меланхолически.

— Это подсказывает вам знание русской истории?

— И философии, — ответил Рицлер, — у русских своя философия.

Заседание еще не началось, и Петру кажется, что Мирбах чутко прислушивается к гулу в зале, выжидая минуту, чтобы выйти в поле света — для него и это имеет смысл. Сейчас зазвонит председательский колокольчик, зал обратит взгляд на ложу, и Мирбах предстанет перед залом, опершись белой рукой о красный бархат.

А в зале председательский колокольчик уже единоборствовал с гулом голосов. Точно весенний ручей, подтачивал он и рушил снежный вал голосов. Шум стих, Мирбах встал у бархатного борта, оглядел зал.

— Вы полагаете, сухая погода еще удержится? — спросил он Петра и искоса посмотрел на Ленина, который вышел к самой рампе, чтобы обратиться к залу.

— Да, пожалуй... — сказал Петр.

— Сейчас повсюду в Европе сухая погода, очень сухая, — произнес Мирбах и медленно опустился в кресло. — На Рейне горят леса...

— Долой брестский позор! — крикнул кто-то у самой ложи исступленно лихим голосом.

Передвинулось кресло Рицлера. Немец привстал и подался вперед, будто желая защитить посла самим телом своим. И вновь Петр подумал: как долго еще придется советнику стоять рядом с Мирбахом, изображая верность и подобострастие? Кстати, чем вызван приезд Рицлера в Россию: знанием страны и языка или предчувствием того, что быстротекущее русское время сулит неожиданности?..

## 82

Петр шел по коридору и через раскрытые двери слышал, как в зале неистовствовали все те же голоса:

— Просите хлеба у Мирбаха!..

В вестибюле было полутемно и прохладно. Тишина казалась прочной настолько, что ее не в состоянии потревожить шаги идущих. Из-за поворота вышли Соловьев-Леонов и человек в зеленом френче.

— Эсерам никогда не кончить начального училища, — сказал человек во френче. — Их невежество и провинциальность непобедимы.

— Но согласитесь, — возразил Соловьев, — царь боялся их так, как даже большевиков не боялся.

— И это привело его к катастрофе! — мгновенно отозвался человек во френче и, поклонившись, прибавил шагу, оставив Соловьева с Белодедом.

Очевидно, эта встреча не отвечала намерениям ни Соловьева, ни Белодеда — если и заканчивать спор, то не сегодня: зноен нынче июль в Москве.

Но тропка опасно узка и непросто разминуться.

— Помнишь наш разговор?

— Помню.

— Ты все думаешь о нынешнем, Роман, а я хочу заглянуть в корень — часто корни могут рассказать больше, чем стебель.

— Ты имеешь в виду Троцкого? — вдруг спросил Соловьев.

Петр глянул в окно, увидел Китайгородскую стену, освещенную солнцем, — это солнце пододвинуло ее, прежде стена была дальше.

— В Бресте мы говорили о нем, — сказал Белодед. — Ты когда-нибудь интересовался ранним Троцким, самым ранним? — спросил Петр.

— Когда мы жили в Одессе, — сказал Роман, — мне кто-то говорил, что его отец был мелкий буржуа, то ли хозяином аптеки, то ли портняжкой.

— Ты помнишь приход Троцкого в «Искру» и обращение его в новоискровца? — спросил Петр. — Помнишь его столкновение с Лениным и восторг Струве по этому поводу? Пом-

нишь крылатую фразу Ленина о Горе и Жиронде? Потревожь свою память и вспомни еще раз. Корень там.

— Но коли ты увидел корень, скажи, что в нем, — сказал Соловьев.

Петр молчал, не глядя на собеседника.

Китайгородскую стену точно объяло пламя, она была багрово-дымной.

— Дело разве в аптеке? — произнес он. — К черту аптеку! Однако речь идет все-таки о буржуазности Троцкого.

— Но какое это имеет отношение к Бресту? — спросил Соловьев.

— Жиронда жива... по крайней мере, в Троцком, — ответил Петр. — Ты знаешь меня, Роман, чтобы сказать это, я должен пуд соли съесть.

— И ты съел его?

— Съел... после десятого февраля. — Петр помолчал, слова, точно камни-валуны, лежали на пути. Сказать — сдвинуть валун. — Знаешь, когда лет через пятьдесят люди заглянут в преисподнюю Бреста и еще раз внимательно одну за другой одолеют пудовые книги, которые родил Брест, они увидят: отношение Троцкого к союзникам было много предпочтительнее, чем к немцам, и это отразил его взгляд на Брест.

— Значит, он считал, что надо договориться с союзниками, а не с немцами?

— Я так думаю, — сказал Петр.

— И по этой причине отверг Брест?

— Мне кажется, по этой, — ответил Петр. — Но мы построены с тобой надолго, Роман, и у нас есть время ждать... Посмотрим, что скажет провидица-история... Сегодня летопись ведется более совершенными средствами, чем при Пимене: каждый шаг протоколируют тысячи перьев. Все, что не увидело свет, свет увидит, скажут свое слово современники, дипломаты выстрелят свои бело-сине-голубые книги!.. Ложь сожжет самое себя, правду никто не возьмет — она останется. Короче, история определит точно, чья сторона оказалась правой и чья линия генеральной.

— Ты жди, а я ждать не буду, — возразил Соловьев. — Для меня нет линии генеральной, чем русская граница!..

— Это что... рецидив левого коммунизма? — спросил Белодед.

— Ну, что ж, может, и левого, если ты его увидел у меня...

Время между тем действует, думал Белодед, оппозиция Романа прогрессировала. А что, если бы Роман встретился с Вакуловым, они нашли бы общий язык? Нет, встреча эта невозможна, но представить такую встречу и тем более увидеть, чем она закончится, любопытно. Роман человек способный. Что греха таить, так, как знает немецкий Роман, немногие знают его. За боль-

шим столом переговоров, где единоборство нередко превращается в искусство вести спор и преимущество накапливается по крупицам, такой человек очень полезен. В Наркоминделе это понимают и широко используют Романа в переговорах с немецкими купцами, которые с некоторого времени ведутся во все больших масштабах.

Петр вернулся в зал, из полутишины дипломатической ложи сверкали глаза германского посла. И вновь Петру пришли на ум слова Мирбаха: «На Рейне горят леса...»

Под сводами театра снова загудело:

— Долой Мирбаха!

На трибуну поднялся Ленин, и зал встал: одни, охваченные воодушевлением, другие — заманчивой возможностью прямо, с лету, с ма-ху кинуть, как камнем, поднятым с земли злым словом.

— Россия не простит брестского позора!

— Неверно! Россия все поймет — мы дали ей мир.

— Мир миру розы! Не убережетесь — на вас идет вал ненависти. Он поглотит вас вместе с вашим Мирбахом.

— Возьмите его и Камкова в придачу! Пугали пуганых!

— Долой Брест!..

Петр смотрел на Ленина. Казалось, за всю его жизнь, страдную и диковинно грозовую, не было поры более трудной, чем эта. Вот он вышел навстречу врагу, чтобы глазами, грудью, лицом, всем тем, что было его именем и его сутью, защитить веру и правду свою.

— Долой Брест! — устремила тонкие руки к небу Мария Спиридовна и зашлась в беззвучном кашле. — Долой... позор России! — продолжала она кричать, охватив грудь, сизая от наступившего удушья. — Долой!..

А Ленин продолжал говорить. Он говорил, что Брест в нынешнюю суровую пору отвечает интересам революционной России и отказаться от брестских обязательств — значит пойти на открытый конфликт с Германией. Это выгодно всем, кроме России. Очевидно, задача заключается в том, чтобы набраться терпения и ждать.

— К какому терпению вы призываете? — поднялась со своего места Мария Спиридовна. — Сохранить терпение — значит умереть с голода.

— С голodu умереть...

— С голоду!..

Ления наклонился, произнес:

— Да поймите же...

Петру казалось, что радостная ясность, которую он увидел на лице Ленина сегодня утром, исчезла и выступила усталость, все беды нынешнего нелегкого дня.

Петру позвонили от Клавдиевых и сообщили, что Федор Павлович почувствовал себя лучше и хотел бы завтра нанести визит старому дубу на Сретенке. Клавдьев просил Петра быть с ним. Петр подумал, что поездка на Сретенку даст возможность видеть Клавдия и Киру и многое объяснит. Он сказал, что будет поутру.

На другой день Петр взял извозчика и поехал на Воздвиженку. Было десять утра, но солнце уже палило немилосердно, и извозчик по просьбе Петра поднял верх.

Петр поместил Клавдия под верхом, а сам с Кирой сел на узкое и не очень удобное сиденье напротив. Под верхом было полутемно и, наверное, прохладно. Петр видел, с какой жаждой пристально Клавдьев смотрит вокруг — будто любопытство к тому, как выглядит город, разбудило прежнюю силу в глазах и они сейчас видели так, как давно уже не видели.

Притихла и Кира.

Вот чудо, в сравнение с которым не идут никакие чудеса земли и неба: кажется, легче перенестись на другую планету, чем раскрыть тайну человека, тепло и дыхание которого чуть ли не слились с твоим.

Извозчик остановился у подъезда дома с колоннами. Дом, как показалось Петру, был меньше и неказистее, чем тогда на дагерротипе.

— Дуб жив... жив дуб! — закричала Кира и не обращая внимания на спутников, понеслась во двор.

Петр подал руку Клавдии. Тот все еще был молчалив.

— Не думал, что доживу до этой минуты, Петр Дорофеевич, — тихо проговорил он.

«Перед этой встречей даже Клавдьев безоружен», — сказал себе Белодед. Не он, Петр, а вот этот дуб, стоящий посреди двора, заставил Клавдия произнести то, что не произнес бы он ни при каких обстоятельствах прежде...

А Клавдьев стоял перед дубом, не в силах обнять взглядом и крону, и черную колонну ствола.

— Он, как зачинатель рода, праотец, чудом выживший...

Клавдьев положил ладонь на ствол дуба, а Петру представилось, что рука, темная, в бугристых и вздувшихся венах, вросла в кору старого дерева.

Клавдьев был взволнован, а Кира... в ее взгляде, обращенном на деда, Петр увидел и недоумение и укор. Здесь между ними лег ров.

В доме где-то наверху, чуть ли не на уровне маковки дуба, раздался удар топора. Потом

еще и еще. Казалось, рубят не дрова, а старое клавдиевское гнездо.

Клавдиев поднялся на крыльце, сделал усилие открыть дверь — она поддалась. Кира и Петр следовали за ним. Наверно, человек, орудующим топором, услышал шаги на лестнице, удары топора утратили силу.

— Кто там? — вдруг раздался голос, неожиданно тихий, и Петр увидел над собой великана с повязанным горлом, в руках у него был колун. — Я спрашиваю: кто? — повторил великан.

Сейчас человек с колуном стоял над Клавдиевым.

— Этот дом принадлежал... моему отцу, — сказал Федор Павлович. — Я приехал из Англии.

— Вы Клавдиев?

— Да.

Великан с повязанным горлом опешил, он смотрел на Клавдиева и точно соизмерял с тем, каким он представлял его себе прежде.

— Гусаров Глеб Глебыч, — отрекомендовался великан и взглянул на колун — сейчас колун лежал у его ног. — Ну, и как вы нашли Москву? — спросил Гусаров.

— Я еще многое не видел, — произнес Клавдиев.

Гусаров засмеялся — смех, отраженный в просторных окнах веранды, казался стеклянным.

— Разве это смешно?

— Смешно.

— Простите, почему?

— Смотри не смотри — все ясно.

— Что именно?

— Я готов голодать, — заметил Гусаров и вздохнул, да так шумно, что дверь за спиной скрипнула и отворилась. — Я готов жить без хлеба... но оставьте мне хотя бы свободу! Нельзя у человека отнять и хлеб и свободу — он распадется, превратится в пыль.

— А разве вы менее свободны, чем прежде? — спросил Клавдиев.

— Менее! Конечно, менее, хотя внешне я свободен. — Он взял с пола колун, повертел его и положил обратно. — Я солдат армии труда. В пределах этой армии я свободен абсолютно. Я брошен в поток, и меня несет вместе со всеми к великой цели, но до нее, как до дальней планеты, триста тысяч лет свободного падения!

— Простите, а... ваш идеал?

— Мой идеал? Хоть на четвереньках, но выкарабкаться из потока и остаться человеком, чтобы тебя не истерло до блеска, чтобы на лице остались рот, нос и глаза... чтобы лицо не стало похожим на коленку в конце концов! Хочу делать то, что делают все люди: гневаться, ненавидеть, сомневаться... хочу сомневаться, черт

возьми! Хочу обнаружить то, что мне дано от бога! Хочу дать волю страсти, которые, наверно, есть у меня, как есть у вас. Хочу быть богатым!

— Но богатство — не свобода, угнетение, — сказал Клавдиев.

Гусаров покраснел.

— Тогда не хочу быть богатым, — нашелся он мгновенно и, взглянув на Петра, помрачнел. — Я заметил, вы все время скептически улыбаетесь. Вы хотите что-то сказать?

Петр рассмеялся.

— А мне все-таки кажется, что вы хотите быть богатым.

— Я хочу быть свободным, а нет богатства больше.

— Верно, — сказал Клавдиев. — Нет богатства больше. Верно, — подтвердил он и пошел к выходу.

Уже очутившись во дворе, они вдруг услышали, как распахнулось над ними окно — там стоял Гусаров.

— Все великие революции были в июле! — крикнул он и исчез.

— Что он сказал? — спросил Клавдиев.

— Он сказал, что все великие революции были в июле — ответил Петр, смеясь.

— Так и сказал?

— Так.

Клавдиев взглянул на окно, прислушался, надеясь, что великан с топором произнесет нечто подобное еще раз, но лишь неистово и зло застучал топор — Гусаров колол дрова.

## 84

. Воровский остановил Петра и не столько кивком головы, сколько движением глаз дал понять, что намерен сообщить нечто чрезвычайное.

— Товарищ Белодед, — Воровский коснулся руки Петра ладонью — она была холодна, — только что убит Мирбах... Да, разумеется, эсерами, Ленин просил разыскать вас.

Как обычно в эти дни, Кремль люден, тем чутче тишина в приемной председателя Совнаркома.

Ленин сидел у края стола и быстро нумеровал записи, которые Петр увидел в руках Владимира Ильича сегодня утром, когда тот был на трибуне. Ленин оглянулся на голос Петра, и Белодед только сейчас понял, насколько серьезно все, что произошло.

— Белодед? — произнес он быстро, видимо удерживая в памяти номер помеченной, но уже перевернутой страницы. — Свердлов и я едем в германское посольство, да, с соболезнованием. — Он пометил лежащую перед собой страницу. — Вы будете с нами. — Его рука

обрела прежнюю стремительность — одна за другой нумеровались страницы. — Что же вы молчите? — Он закончил нумерацию, собрал листы в стопку и, поставив вертикально, дважды ударил ими о стол. — И вы считаете, что этого делать не стоит?

— Я ничего не сказал, Владимир Ильич, — ответил Петр.

— То-то же. — Ленин пошел к выходу. Навстречу Ленину шагнул человек в вельветовой блузе.

— Простите, — обратился он к Владимиру Ильичу, — мог бы я задержать вас на минутку?

Ленин внимательно посмотрел на него: окно — рядом, и человек виден весь. Длинные, хорошо промытые волосы рассыпались и закрыли уши.

— Да, пожалуйста, но... с кем имею честь?

Человек отвел ото лба волосы.

— Я Феофан Строганов, делегат Пятого Всероссийского съезда Советов, член партии социалистов-революционеров.

Ленин поклонился.

— Слушаю вас, товарищ.

Строганов поднял голову — так удобнее было удержать рассыпающиеся волосы.

— Мне сказали, что убит Мирбах.

Ленин нетерпеливо сксал лацкан пиджака.

— Да, убит... час назад.

— Мне еще сказали, что вы решили направиться в германское посольство, чтобы выразить соболезнование.

— Да, сию минуту, если разрешите, — произнес Владимир Ильич.

Собеседник Ленина протянул руку — жест выражал нетерпение.

— Я заклинаю вас не делать этого.

— Почему?

— Есть такое абстрактное понятие: достоинство! Да, да, достоинство государства, народа, правительства, наконец собственное достоинство. Для гражданина и человека нет понятия более святого, чем это.

Ленин молча смотрел на собеседника; рука Ильича, зажавшая лацкан, казалась белой.

— Что вы хотите этим сказать?

— Если вам не дорого собственное достоинство, поберегите достоинство России, от имени которой... волею судеб... — Он шумно вздохнул. — Волею судеб... вы говорите сегодня с миром. Я заклинаю вас, — произнес он мягко и поправил волосы.

Ленин взглянул на небо — неожиданно смерклось.

Где-то высоко над Москвой грозовая туча затенила солнце и ударила гром. Он был легким и быстроногим, этот гром, как первый гонец приближающейся грозы.

— Достоинство, — произнес Ленин. — Лич-

ное достоинство, — повторил он. — Мое личное достоинство ничего не значит, если речь идет о благе России. — Он задумался, быть может, он впервые представил, как сейчас явится в германское посольство в Денежном с соболезнованием — нелегкая это миссия. — О благе России...

— Но этот акт... соболезнования, — встряхнул волосами Строганов, — отнюдь не ваше личное дело и даже не дело вашего правительства.

— Нет, это дело мое... и правительства, — сказал Ленин.

Он посмотрел на небо. Оно было сплошь сизо-фиолетовым, но посреди него, точно кружочек чистой воды в проруби, прорывался кусок синевы — тучи не заволакивали этот кусок синевы, наоборот, оберегая, они отодвигали его на край неба все дальше, все стремительнее. Ленин смотрел на это озерцо чистого неба, убегающего на север, и свет этой сини лежал на его лице.

— Вы не имеете права, — почти выкрикнул Строганов; лицо его стало влажным.

— Имею. Его дал мне съезд. — Ленин направился к выходу.

Машина шла, взрывая воду. За каких-нибудь четверть часа потоки заполнили город. Небо точно отвердело, и молния колола его на острые и ломкие глыбы, как колют уголь и лед. Еще удар — и небо осыпается и завалит город. На Пречистенском бульваре ливень начал стихать. Когда молния вспыхивала, листва, промытая дождем, казалась ярко-зеленою, молодой.

Всю дорогу Ленин молчал. Петр сидел рядом с шофером и не видел лица Владимира Ильича, но слышал его дыхание. В какой раз за этот час Петр возвращался к одной и той же мысли: съезд Советов и убийство германского посла. Со времен Бреста никогда Россия не была так близка к войне с Германией, как сейчас. Издревле убийство посла было поводом к войне. История не знает случая, чтобы сторона, заинтересованная в войне, пренебрегла этой возможностью. Все, что делал Ленин после Бреста, в сущности, преследовало одну цель: охранить новую Россию от конфликта с Германией, лишить Германию возможности развязать конфликт. До сегодняшнего дня это удавалось! Сейчас немцы обрели такую возможность, какой они никогда не имели прежде: в Москве убит немецкий посол. Разумеется, приезд главы правительства в иностранное посольство по столь необычному поводу с соболезнованием акт чрезвычайный. Но, может быть, в этой напряженной ситуации это единственно уместный акт. Конечно, личное достоинство дело великое,

но разве в нем суть, когда речь идет о судьбе революции. Да, если говорить по-человечески, небольшое удовольствие входить в этот дом и стоять перед белобровым молодцом, который скептическим покашливанием и молчанием демонстрирует свое пренебрежение.

Автомобиль поднялся по Пречистенке, однако в Денежный было проникнуть нелегко — толпа заполнила мостовую. Стоял автомобиль, кажется, «роллс-ройс» или «пежо», слишком новый и нарядный для Москвы восемнадцатого года — очевидно, на место происшествия пожаловал кто-то из иностранных корреспондентов.

— Посольство оцеплено? — наклонился Ленин, глядываясь в стекло. Машина медленно въезжала в Денежный переулок.

— Да, мне сказали, — заметил Свердлов. Небо посветлело, и в глубине машины блеснули стекла пансион.

— Дзержинский уже там?

— Дзержинский и Бонч-Бруевич.

В пролете переулка, слева, глянула решетчатая ограда и за ней посольский особняк, высокую крышу которого точно венчал чугунный кубок с ясно различимым шпилем громоотвода. Вряд ли русский немец Берг, построивший этот особняк, полагал, что под его крышей разыграется одно из трагических событий века. Единственно, о чем он мечтал, — чтобы особняк белизной мрамора и добротностью дерева не уступил, а превзошел особняк брата на Арбате. Но как ни тверд был громоотвод на железном кубке над парадным входом в особняк, оказалось, что не все громы и молнии следуют ждать почтенному заводчику с неба — огонь, свирепствующий на земле, не менее грозен.

Автомобиль остановился у парадного входа. Посольская дверь полуоткрылась, и Ленин увидел на фоне деревянных панелей, ярко-желтых и лоснящихся, посольского чиновника, желтое лицо которого было неотличимо от панелей. Страх еще свирепствовал в бледно-карих глазах чиновника, а плечи, что крылья птицы, вздрагивали и приподнимались, казалось, он вот-вот сорвется и устремится прочь. Но он не бежал. Даже напротив, защитив грудь дрожащей рукой, он преградил собой вход в особняк, пытаясь установить, что, собственно, господин Ленин еще хочет от посольства, после того как главное сделано и посол убит.

Он был худ, этот человек, длинноног и длиннорукий. Видно, самой большой бедой для него были диковинно длинные руки и ноги. Они тряслись. Тряслись катастрофически, и не было сил сдержать дрожь, как не было сил куда-то упрятать эти руки и ноги. Петру показалось: именно этот нелепо длиннорукий человек, а не кто иной, два с половиной часа тому назад вышел навстречу убийцам Мирбаха, быть

может, даже попытался проверить мандаты, а потом ввел в покой посла. Ввел и удалился, однако, едва переступив порог приемной, а возможно, даже дойдя до середины следующей комнаты, почувствовал, как что-то толкнуло его в спину. И вдруг сами по себе распахнулись окна на улицу, распахнулись разом, как они распахивались только перед грозой. А потом комната наполнилась дымом и в покоях посла точно обломилась колонна, обломилась и рухнула, хотя человек и помнит, что там колонны не было. С той самой минуты у человека заходили руки, как два маятника. Казалось, их так раскачало в этот день, что уже ничто и никто не остановит. Сколько им ходить вот так, туда-сюда, отбивая такт бедам?

Человек унес раскачивающиеся руки и вернулся тотчас вместе с Рицлером. Очевидно, посольский скипетр был принят из холодных рук Мирбаха именно им. (Дипломатия, при всей любви к церемониям, вручает посольский жезл, как, впрочем, и отбирает его, без церемоний — шальная пуля вышибла посла, и следующий в шеренге, по крайней мере на время, занял его место.) Ленин говорил, а Рицлер стоял, закрыв глаза и выпятив губы. Желтые панели особняка больше были одухотворены и мыслью и чувством, чем лицо советника: стучи в него кулаком — не отзовется. Впрочем, губа выпячивалась и даже нежно розовела, обнаруживая и молодость и здоровье, и вопреки закрытым глазам и дежурной печали — хорошее настроение. Да, настроение тоже. А почему не быть хорошему настроению, когда добре десятилетие человек мечтал сделать заветный шаг от советника до посла и вдруг стал или почти стал им. В конце концов не каждый день в посольских особняках рвутся бомбы и послы падают замертво. Нет, нежно-розовая губа выдавала Рицлера с головой, хотя и призвана была выражать другое: и гнев, и обиду, и, конечно, ущемленный престиж, который требовал удовлетворения.

— Прошу вас, — сказал Рицлер и двинулся в глубь дома. Русские последовали за ним.

Эта комната могла быть названа парадной. На больших приемах посольства здесь, очевидно, собирались гости до того, как ихглаши в банкетный зал. В этом случае стол посреди комнаты убирался и комната становилась просторной и действительно парадной. Однако сейчас все надежды именно на этот стол. Испокон веков он выполнял в дипломатии благодарную функцию: был зыбким, но нередко единственным мостом, соединяющим разные умы и души. Быть может, и теперь в его силах как-то объединить людей, вошедших в зал: антагонисты по всему строю взглядов на жизнь, на первоприроду и бытие человека, они отброшены друг от друга так далеко, как только

могут быть отброшены люди. Есть ли в природе мост, который мог бы соединить этих людей, и может ли им стать стол, разделивший зал надвое, большой, нарочито тяжелый и темный, с виду скорее железный, чем деревянный, точно специально выкованный для сегодняшней встречи русских и немцев.

Рицлер переводит взгляд на стол и легким кивком головы, торжественным (казалось, торжественность не покидает дипломата и в минуту скорби) и печальным, приглашает вошедших сесть.

Гости рассаживаются.

Русские садятся лицом к окну. Немцы — спинами.

Вот и пришла минута лаконичных и точных слов, которые медленно отлились в сознании, пока автомобиль двигался к Денежному переулку.

Говорят Ленин. Он говорит по-немецки. Его взгляд обращен на Рицлера, чьи глаза скорбно смыжены, а подбородок вздернут, да так высоко, что мышцы на шее напряглись и вздулись.

Ленин приносит извинения правительства по поводу случившегося, как он сказал, внутри здания посольства, что лишило советскую сторону возможности оказать необходимое содействие германскому посольству. Он выражает глубокое соболезнование правительства по поводу трагической смерти посла. «Дело будет немедленно расследовано, и виновные понесут законную кару», — заключает он.

Ленин встает, а вслед за ним и все, кто его сопровождает.

Рицлер медленно размыкает веки, смотрит на Ленина.

— Германское императорское посольство в России передаст все сказанное вами своему правительству.

Гости и хозяева обменялись рукопожатиями.

Русские пошли через здание, направляясь во внутренний дворик.

Комната, где произошло печальное событие, лежала на пути. Видимо, взрыв был достаточно сильным: паркет разворочен, стекла, а кое-где и оконные рамы вышиблены. Железными брызгами разлетелась бомба — стены в зазубринах и ссадинах.

Дом хранил следы травмы, посольский дворик — не воспринял ее.

Стояли, как по ранжиру, большие и малые метлы, лопаты, ведра, весь арсенал больших и малых средств, с помощью которых маленький двор посольства мыли и драили. Дворник в фартуке лилейной белизны мел каменный пол, сметая в кучу осыпавшиеся стекла с той легкой неторопливостью и почти заученным ритмом, как если бы стекла эти выдавила из рам не

взрывная волна, а неосторожный порыв ветра. В этом мире привередливой чистоты и порядка, где все предусмотрено, вплоть до случайно сломанной ветром ветви и преждевременно опавшего листа, казалось неправдоподобным, все, что случилось сегодня.

— Пока заговорщики говорили с Мирбахом, на улице стоял автомобиль с работающим мотором, — сказал Дзержинский, шагая через двор, он продолжал восстанавливать картину покушения. — Если учесть, что на руках у них был мандат...

— Вы полагаете, что в заговоре участвовала организация? — пробасил Свердлов.

— Да, несомненно, и весьма основательная, — ответил Дзержинский.

Во двор шагнул человек в кожаной куртке, крашенной ядовитым кармином. Решительно не зная, к кому обратиться, он поднес руку к окольышу фуражки; рука дрожала, и крупные ногти бились о клеенчатый козырек.

Дзержинский стоял рядом с Петром, и Белодед увидел, как едва заметные капельки пота выступили у него на виске; видно, человек в кожаной куртке привез сообщение чрезвычайное.

— Да говорите же! — сказал Дзержинский, обращаясь к подошедшему.

— Восстал конный полк Попова! — наконец произнес человек.

Ленин оглянулся: поодаль дворник продолжал сметать в кучу рассыпанные стекла — его ничто не смущало, он нес службу исправно.

— Попов эсер? — спросил Ленин.

— Да, Владимир Ильич.

— Вот вам и организация, Феликс Эдмундович!

— Я должен быть там, Владимир Ильич, — произнес Дзержинский настойчиво. На улице взревел мотор автомобиля. Дзержинский умчался в отряд Попова.

— Убийство германского посла как сигнальная ракета, как призыв к восстанию, — сказал Ленин и пошел к воротам, в которые только что вышел Дзержинский.

«Все великие революции были в июле!» — вспомнил Петр фразу, произнесенную утром тем человеком с топором в старом клавдиевском доме.

— Вот это... денек!

Петр оглянулся.

Позади него, след в след, шагал Вакула. Вечернее заседание начиналось в пять — он шел на съезд.

— Ну как тебе нравятся новости? — буркнул Вакула, поравнявшись, вид у него был сияющий.

— Что именно? — спросил Петр и искоса посмотрел на брата. Необычно он выглядел сегодня. Куда только делись и шерстяная шведская шапочка с козырьком, и легкий джемпер, которым Вакула очень гордился, — несложные доспехи русского делового человека западного толка, да-да, не воронежца и не самарца, а питерца. На смену пришли френч и краги. Никогда прежде Петр не видел брата в таком наряде.

— Ты думаешь, я говорю о Мирбахе? — Вакула пошел быстрее: ему хотелось взглянуть на брата. — Какой там! Есть новости и поважнее.

— Какие именно? — спросил Петр, продолжая рассматривать брата. Три большие пуговицы на френче едва удерживали могучий живот Вакулы. Казалось, нитки треснут и пуговицы покатятся по асфальту. — Новости? Какие? — спросил Петр.

— Наши, — Вакула произнес это слово не без гордости, — взяли в плен Дзержинского. — Вакула теперь шел впереди Петра, не оборачиваясь и не заглядывая ему в глаза, точно откровенно пренебрегая тем, какое впечатление эта новость произведет на Петра. — Сегодня в Покровских казармах... Но это еще не все...

Он сказал: «Это еще не все», надеясь распалить любопытство Петра, но Петр молчал, не спуская с него глаз.

— Да не в поход ли ты собрался, брат? — спросил Петр и подивился тому, что, как ни старался, не мог скрыть в голосе неприязнь.

— Утро вечера мудренее. Я сказал: утро...

Они дошли до театра, и Вакула взбежал по лестнице, явив такую легкость, какая до сих пор в нем и не предполагалась. Быть может, и этим он хотел показать Петру, как хорошо у него на душе.

А Петр глядел брату вслед и еще долго видел широкую спину Вакулы, обтянутую тонким сукном френча, красный затылок, насеченный двумя поперечными складками, короткими и глубокими. Однако не из любви же к брату Вакула пренебрег размолвкой и первым заговорил с Петром.

Он сказал: утро вечера...

Очевидно, все надежды возлагались на ночь.

Красный бархат и золото Большого театра, как показалось Петру, и в этот раз горели пламенеющим огнем — и в радости и в печали театр был одинаково праздничным. Петр был немало удивлен, когда увидел Марию Спиридонову, которая, глядя куда-то ввысь очами страдалицы, внимательно слушала Прошляна, а подальше, расстелив на кресле газету, как карту, и наклонившись над ней, стоял Борис Камков. Однако гвардия Марии Спиридоновой неспро-

ста предпочла Большой театр Покровским казармам.

И вновь, как некогда, прозвучал председательский колокольчик. Прозвучал и умолк. Спиридонова пошла на сцену.

Из-за стола президиума встал Свердлов. Он стоял, опершись о кулаки, дожидалась, когда умолкнут последние голоса. Но гул стихал медленно, как гул товарного поезда, пересекающего степь, казалось, он уже стих, но потом возник вновь, видно, поезд вышел из-за рощи или взгорья. Мария Спиридонова сейчас находилась в конце стола, у боковой грани, Свердлов — у самой середины стола, на месте председателя. Они смотрели друг на друга в упор и будто ничего не видели.

Свердлов готовился открыть заседание. Спиридонова намерена была взять слово, как только заседание откроется. Однако случилось непредвиденное. Те несколько слов, которые произнес Свердлов, как только установилась тишина, никакого отношения к открытию заседания не имели. Он сообщил, что очередное заседание съезда состоится позже, а сейчас делегатам-большевикам необходимо собраться в здании Второго дома Советов.

Свердлов сказал и пошел со сцены.

Спиридонова продолжала стоять. Очевидно, все, что сейчас произошло, настолько не входило в ее расчеты, что ее охватило смятение. Когда она нашлась, зал уже встал.

— Я хочу говорить! — воскликнула она с намерением перекричать зал, но у нее явно не хватило голоса, да и зал уже наполовину опустел.

Петр был в ложе второго яруса. Он видел, как Спиридонова сошла со сцены. К ней устремились ее сподвижники. Спиридонова говорила, и толпа смыкалась. Потом толпа точно раздалась, пропустив Спиридонову вперед. Сейчас она шла меж рядами, вскинув голову, и прядь волос срезала наискось половину лба. Петру казалось, что ее лицо выражало сейчас не суровое раздумье или злую сосредоточенность, каким оно было до этого, а решимость. Всем своим видом она точно говорила: «Пришел мой час! Мой час пришел!»

Петр вышел из зала и тотчас глубоко внизу, очевидно на первом этаже, может быть у самого выхода, возник шум, и вновь Петру показалось, что он слышит вечевой колокол:

— Произвол... Узурпаторы...

Петр подошел к окну, взглянул на площадь перед театром. Шли шеренги моряков с винтовками. «Да не оцеплен ли театр? — мелькнуло у Петра. — А если оцеплен, то кем? В конце концов среди сторонников Спиридоновой тоже были матросы». Петр спустился в первый этаж.

— Не думал, что конец будет таким нелепым...

В кресле, обитом красным бархатом, сидел юноша.

— О каком конце вы говорите, молодой человек? — Рядом с юношей сел старик с распластанной бородой (монах-расстрига или капельмейстер). — Слышил выстрелы? То братья вызывают свободу.

— Господи, какие братья? Какую свободу?

Петр увидел Вакулу. Отступив от толпы, он стоял в стороне, держа погасшую папиросу. Быть может, даже заметил Петра, но не подал виду,

## 86

Петр выбрался из театра только через час. У подъезда Наркоминдела он встретил Чичерина.

— Погодите, с какого высока вы свалились, Петр Дорофеевич? Так ничего и не знаете? Ну, вы меня удивили! Покровка в руках мятежников. В Наркомате никого нет. Все на баррикадах. — Последние слова он произнес не без воодушевления. — На баррикадах!

Видно, Георгий Васильевич обрел единственную в своем роде возможность подышать пороховым дымом и не хотел лишать себя этого.

— Действует железный закон алфавита! — произнес Чичерин. — Погодите: А, Б, В... Верно: Б, В! Белодед, Воровский... Под начало Воровского! Ильинка! Там штаб. Марш, марш!

Петр подумал: «Под начало Вацлава Вацлавыча! И тут дороги скрестились... Вперед, вперед! Воровский где-то на Ильинке!»

То, что называлось штабом, помещалось в контуре большого винного магазина. Вино выпили почти год назад, и с тех пор запасы его не восполнялись, но этикетки сохранились — ими можно было восславить реки виноградных вин. Все вместили этикетки: и фирменный герб, и гроздь винограда, и созвездие почетных медалей, собранных со всего света, и имя хозяина, по этому случаю облагороженное и облагорожченное, и высокий титул винодела, не отказавшегося вынести его (о времена!) на винную бутылку: князь Феликс Юсупов, граф Воронцов-Дашков... Этикетки были рассыпаны по столам. Фольга пыталась донести до наших дней представление о былом достатке и благополучии. Впрочем, этикетки великолепно горели в голландской печи, шумно потрескивая. А на огне клокотал солдатский чайник, и большие руки доброй и емкой пригоршней высипали на стол ржаные сухари.

— Вкусен чай на зорьке утренней! — воскликнул Воровский, потирая руки. — И туман, и ветер крутой, и волна — гребешком, и росное солнце...

Посол был вызван правительством для консультации, а оказался на баррикадах. Не в этом ли весь Воровский: храбрая страсть и мысль. Эта ночь и на него упала внезапно. Он даже не успел переодеться. На нем был тот же темный костюм и крахмальный воротничок, стянутый пепельно-серым галстуком, в котором Петр видел Воровского в Наркоминделе.

Где-то рядом, срезав край города, прошел дождь, и холодное дыхание проникло в комнату; в большом, тонкого стекла фужере дымился чай. Воровский жадно пил, не боясь опалить губы.

— Через Охотный ряд, направо по Тверской, — приказывал Воровский парням с винтовками наперевес. — Через Охотный ряд налево — к Китайгородской стене и обратно к Ильинским, — обращается Воровский к человеку в форменной куртке почтового чиновника.

К двенадцати снаряжалась последние караиды — и была очередь Петра с напарником, стариком метранпажем из сытинской типографии.

— Нам, пожалуй, на Воззвиженку? — спросил старик. — Как, Вацлав Вацлавыч?

Воровский задумчив — вот и дождался баррикад, о которых говорил в Стокгольме, да только в облике его не столько воодушевление воина, сколько раздумье, раздумье человека, которому дано проникнуть в сущность происходящего, понять, как грозно все это и опасно.

— Да, сейчас пойдете, — проговорил Воровский. Что-то важное, что носил долгие годы Воровский в себе и не мог выговорить, он должен был сказать Белодеду в эту ночь. — Хотите постоять минуту под звездным небом? — спрашивает он Петра. — В июле небо необыкновенное и не только в Одессе...

Они вышли на веранду и по каменной лестнице спустились в сад. Над головой покачивались округлые кроны лип, каждая с полнеба.

— Вы отдаете себе отчет, Белодед, насколько серьезно положение? — спросил Воровский, опершись ладонью о ствол дерева.

— Да, Вацлав Вацлавыч, все решится этой ночью.

— Не столько ночью, сколько, пожалуй, утром, — сказал Воровский. Он поднял глаза, точно хотел взглянуть повыше, выше кроны дерева, выше облаков. — Может повернуться круто, круче, чем мы с вами думаем, и революция вынуждена будет обратиться к крайним мерам.

Воровский точно подвел Белодеда к пределу, который давал право сказать: «Ну, говори, говори, что лежит у тебя на душе!»

— Пусть на то будет воля партии, я и в Москве готов сделать то, что сделал в Одессе... — медленно произнес Белодед, будто короткой этой фразой хотел предупредить все, что может сказать Воровский.

Петру почудилось: взгляд Воровского свергся с высокого высока на землю.

— Что вы имеете в виду, Петр Дорофеевич?

Теперь молчал Петр. Точно молчание его обратилось в камень домов, врезанных в ночь, в стволы деревьев, в кирпичные ограды. Взорви дома и ограды, но взорвешь ли молчание? Петр молчал.

— Что вы имеете в виду?

— Королева казнил я, Вацлав Вацлавыч.

Воровский приблизился к дереву, глубже зарыл руки в карманы пальто. Теперь Петр видел: Воровский ничего не знал об этом прежде.

— Вы казнили его... волей партии? — спросил Воровский.

— Нет, я казнил его своей волей... за смерть арсенала.

— Казнили и считаете, что были правы? — спросил Воровский.

— Гнев мой был гневом правым, Вацлав Вацлавыч.

— Я не об этом, — нетерпеливо произнес Воровский.

Разумеется, у Воровского не было сомнений, что Петр решился на казнь Королева в справедливом гневе. Разговор об ином: имел ли он право действовать один и не худший ли это вид анархизма, грозивший бедами товарищам?

И вновь молчание обратилось в безмолвие полуночного города — так оно было прочно.

— Представьте, что все это было не в Одессе, а в Москве, — произнес Воровский; худой и высокий, он точно врос в ствол. — Больше того, в июльской Москве восемнадцатого года... Представьте себе, что сегодня ночью вы встали лицом к лицу с Королевым, вы поступили бы так же?

— Я и прежде не умел отвечать на трудные вопросы, Вацлав Вацлавыч...

Петр шагал по Никольской. Их двое, Петр и тот старик метранпаж из гвардии Воровского, каждый ушел в свои думы. Что-то произошло этой ночью такое, что, наверно, заставит Воровского взглянуть на Петра по-новому. В способности Петра убить такую тварь, как Королев, Воровский не сомневался и прежде. Но то, что Белодед, действуя анархически, до сих пор этого не понял, должно было заставить Воровского серьезно встревожиться и, может быть, даже спросить себя: да тот ли это Белодед, которого столько лет знал Воровский?

Уже за полночь они подошли к Воззванию. Дом под цинковым козырьком был освещен от земли до неба — в каждом окне свет. Однако Москва надолго потеряла сон. Свет и в трех окнах над парадной дверью — Столетовы бодрствовали.

— Здесь у меня друзья, — сказал Петр.

— Ну что ж, валай, а пока суть да дело, сложу-ка я цигарку. — Старик полез за кисетом.

В подъезде темно. Дверца лифта заперта.

Петр вытянул руку с зажигалкой — тени заколебались на стенах. Идти нелегко, ноги нетверды, лестница точно рассыпалась. На третьем этаже Петр долго водил зажигалкой по двери, разыскивая номер и звонок.

— Кто там?

Столетов. Голос свеж. Конечно, еще не ложился.

— Я, Белодед!

— Милости прошу, Петр Дорофеевич! Нет гостя желаннее, чем тот, что после полуночи!

Смех, точно блики от зажигалки, поскакал по изразцам.

Клавдиев стоял посреди комнаты. Волосы вокруг лысины вздыбились, будто брызги воды, в которую бросили камень.

— Не революция ли это, Петр Дорофеевич, одна из тех, которые происходят в июле?

Что-то огненно-дымное скопилось за этот день и в сердце Клавдиева. Еще секунда, к черту полетит дом с изразцами и волосы Клавдиева действительно изобразят брызги воды, в которую бухнули камень.

— Не я ли говорил вам: если правда монополизирована, нет правды, — произнес Клавдиев неожиданно спокойно.

— Вы это к чему, Федор Павлович? — спросил Петр в тон Клавдиеву.

— Вы прихлопнули Учредительное собрание, прихлопнули грубо, силой, а оно прорвалось в июле и так пальнуло по Кремлю, что у нас стекла повыскакивали! — Клавдиев ткнул кривым пальцем в окно, заткнутое подушкой. — Вы не так единодушны, как вам кажется, вы не так сильны, как вообразили.

— Но мы правы, Федор Павлович.

Клавдиев вдруг затих, на цыпочках подошел к окну, будто подбирался к птице, которую боялся вспугнуть, быстро обернулся.

— Почему ваша правда лучше моей? И почему вы должны править Россией, а не другие?

Петр вздрогнул, точно его остановили на полном скаку: «Ну вот... Клавдиев махнул хвостом!»

— Правда не у вас и не у меня, — сказал Петр, — она у народа.

— Иначе говоря, народ это вы? — спросил Клавдиев и полез за платком.

— В какой-то мере и я, Федор Павлович.

— Почему вы, а не Учредительное собрание, например?

— Октябрь дал народу мир и землю. Учредителька не дала ни того, ни другого, да и не может дать, — возразил Петр.

— Вы обратились к этим средствам, чтобы удержаться у власти! — закричал Клавдиев. — Завтра вы отнимете у народа и мир и землю! Это всего лишь тактика.

— Нет, это стратегия, Федор Павлович.

— Неправда! Для вас тактика важнее стратегии! Вся ваша политика сплошные тактические изломы! Только то правительство прочно, которое не боится своей интеллигенции! — выкрикнул Клавдиев неожиданно, он берег эту фразу.

Интеллигент не графский титул, доставшийся от предков, — сказал Петр, сохранив самообладание. — Российский интеллигент — это еще и сельский лекарь, и учитель. У них не меньшее право говорить от имени интеллигенции — они добыли его холодом и голодом, Федор Павлович.

— Вы меня боитесь, а их нет, поэтому хотите отобрать у меня это право! — выговорил Клавдиев и отступил к окну.

Петр обернулся: Столетов жег его из темноты красными углами — таких глаз Белодед не видел у Столетова.

— До четырнадцатого июля осталась целая неделя, Петр Дорофеевич. — Красные угли вздрогнули. — У каждой революции есть свое четырнадцатое июля...

Петр вновь очутился на улице — старики ждали его. Они свернули на Пречистенский бульвар, зашагали в гору. Белодед продолжал спорить. Философия Клавдиева — сомнение. Все подвергать сомнению, все прощупывать нервными пальцами скептика. «Только то правительство прочно, которое не боится своей интеллигенции», — для него это почти кредо. «Вы меня боитесь, а их нет, поэтому хотите отобрать у меня это право». В Столетове Клавдиев нашел единомышленника или Столетов пошел еще дальше? «У каждой революции есть свое четырнадцатое июля».

Московский июль — нелегкий перевал. Кто-то одолеет этот перевал, а кто-то повернет обратно. Нет, не только для Клавдиева и Столетова перевал, для Киры тоже. Перевал.

Вечером Петр вышел из наркомата. В городе было мало огней, и глыба Большого театра казалась необычно темной.

Петр свернул направо и зашагал по Неглинному проезду. Навстречу Белодеду прерывистой и неровной цепью шли арестованные — картина восемнадцатого года! Время от времени они входили в поле уличного фонаря, и Петр видел нечесаную бороду, седую голову, по-мальчишески наголо остриженную, посеребренные виски... Шли конвойные, много конвойных, едва ли не столько же, сколько конвоируемых. Что-то защемило, застучало в сердце.

«Может, и Вакула здесь?» Петр пробился к кромке тротуара, сошел на бульвар. Сейчас арестованные шли почти рядом — между ними и Петром кожаная тужурка или шинель конвойного. Все пожилые: спины колесом да неподвижные руки. «Вакула... где-то здесь Вакула!» Все забылось вот здесь, у этой роковой меты... Остались лишь страх за брата да жалость к нему, которой никогда прежде не было. «Вакула...» Петр подобрался ближе к фонарю: еще седая голова и еще борода... Мать родная! Так это же Роман Соловьев! Уперся глазами в Петра, медленно отвел, только из ладони выпала на бульвар недокуренная пачка.

Конвой прошел, но Петр не сдвинулся с места. В нескольких шагах дымился окурок, выпавший из руки Романа...

## 87

В полдень следующего дня, когда Петр явился в Наркоминдел, позвонила Кира.

— Ты жив? Нет, скажи, жив? А я примчалась сюда еще утром. Я здесь, рядом с тобой, на площади.

Петр сбежал вниз — действительно, у фонтана посреди площади он увидел Киру.

— А я уж чего только не передумала... — призналась она.

Он протянул руку и коснулся плеча, потом охватил ее шею легкой ладонью и приник к виску, не устоял и тронул щеку... Как же она дорога ему! Каким же длинным и нелегким должен был показаться ей путь в Россию, когда она думала о поездке сюда, и как непросто ей было отважиться. Она приехала сюда ради него — как он этого до сих пор не понял. И от сознания, что в эти дни, да, в эти два-три дня все могло осложниться и оборваться, она показалась ему еще дороже, чем прежде... И хотелось отыскать такие слова, которые единственно могли бы объяснить ей, как он ей благодарен. Его осенила мысль, которой он до сих пор страшился: явиться с нею домой, показать ей мать и Лельку, а заодно и сказать: оставайся.

— Я хочу, чтобы ты пошла со мной к нам.  
— Вот теперь?

Он кивнул.

— Пойдешь?

Она остановилась, неторопливо и бережно отвела прядь волос за ухо. Глянула ее родинка, та самая, бледная, чуть размытая, похожая на звезду.

— Пойду.

Они пошли, пошли быстро, почти бегом — вдоль Александровского сада, по Воздвиженке, потом по Арбату.

— Как Клавдиев? — спросил он, не останавливаясь. — Помнишь его девиз: «Только то правительство прочно, которое не боится своей интеллигенции!»

Она рассмеялась.

— Ты хочешь сказать, он имел счастливую возможность проверить эту истину, он же был в Москве в июле? — спросила она.

— Проверить... он? — Петр посмотрел ей прямо в глаза. — И для тебя это так же важно, как для него?

Она заулыбалась.

— Пойдем... Пойдем, — как показалось ему, она избегала ответа.

Он смотрел, как она шагает рядом, стремясь за ним поспеть, и думал: «Не должна она себя вести так, если решилась уезжать».

Им открыла мать. Видно, собиралась к вечерне — платье из черной тафты она надевала только в церковь. Открыла, сдержанно поклонилась, пропустила гостью, не без умысла поостановила, чтобы оглянуться ревнивым взглядом ее.

Они шли по дому, и Кира повторяла:

— А мне нравится у вас. Мне нравится!

Она непривычно высоко держала голову, пытаясь пошире обнять взглядом комнаты, в которые входила, точно от пола до потолка было как от земли до облаков.

— Лелька дома?

Петр оставил Киру с матерью, пошел к сестре.

Мать усадила Киру в кресло, а сама села на жесткий стул.

Они сидели и молчали, наверно, от неожиданности, оттого, что вот так вдруг очутились друг перед другом.

— Петр сказывал давеча, — наконец подала голос мать, — покойный родитель ваш был мастак по литью...

— По литью, — быстро ответила Кира, казалось, спасительное это слово освобождало Киру от разговора на деликатную тему.

— Лил стволы? — нетерпеливо передвинулась мать на своем стуле. Жена кузнеца, сама не раз стоявшая у горна и наковальни, она не рисовалась, когда говорила так. — Стволы лили? — повторила она.

— Да, пожалуй, стволы лили и отлаживали, — ответила Кира. Она не сильна была в деле столь специальном, как литье артиллерийских стволов, но, видно, отец произносил эти слова когда-то и они остались в семье.

— А отец был один, когда подался на чужбину? — вдруг спросила мать.

— Нет, с матерью.

— Мать... после отца одна?

— Да...

Вновь передвинулся стул.

— Вот то-то мы, вдовы... досытна населила нами землю война. Чего это он там разво-

вался? — Она подняла палец, и Кира увидела, как большая лампа, висящая посреди, вздрогивает и раскачивается, точно мансарду, куда прошел пятнадцать минут назад Петр, дыбило волной.

Петр сбежал вниз, шумно вошел.

— Небось звал, а она не хочет идти? — подняла жесткие глаза мать.

Петр смущался — незачем было сейчас обнаруживать скорость с сестрой.

— Что-то неможется ей, — строго взглянул он на мать. — Видно, солнцем голову напекло.

Мать иронически хмыкнула:

— Напекло! Где напечь-то, когда она носу из дома не кашет! Не хочет, вот и все!

— Напекло!

Мать погладила твердыми, задубевшими в работе пальцами подбородок, нежный и рыхлый.

— Может, и напекло.

Лелька не вышла и к чаю. Они пили втроем.

— Значит, отец лил стволы? — спросила мать Киру, спросила, чтобы о чем-то спросить — молчания и прежде было много.

— Да, мама мне говорила.

— Так-то...

А потом Петр провожал Киру на дачу. В вагоне было сумеречно и душно; за окном проплывали луга, прикрытые туманом, бледно-зеленым, едва просвечивающимся, неотличимым от лунной мглы.

— Ты не кляни себя, — говорила Кира. — Не было бы сегодняшнего вечера, я все одно уехала бы... Я решила...

— Решила?

Она расстегнула ворот его сорочки, теплая ладонь припала к груди.

— Да, еще в тот вечер. Даже успела написать тете в Питер. В субботу утром она встретит меня.

Он нащупал ее руку у себя на груди.

— Теперь я вижу, ты решила.

Через полчаса они простились, условившись встретиться в четверг.

## 88

Солнце еще удерживалось над темной полоской леса, когда Петр сошел с пригородного поезда. С тех пор как он последний раз видел Киру, он не мог найти себе места. В какой раз он возвращался в своих мыслях к встрече с ней, клял себя, миловал и еще раз клял. Ему казалось, что в его силах было отвратить отъезд. Она огляделась и насторожилась: Москва голодная, вся во власти больших и малых бед, Москва мятаенная, казалось, безнадежно расколотая надвое. Одно это могло заставить воспротивиться. Почему же он не восстал против

этого, почему до сих пор не сказал ей, что она для него значит? Почему не дал понять, что не отпустит из Москвы? Именно не отпустит! В конце концов пусть везет сюда и мать и брата. Неужели для них Россия уже отрезанный ломоть? Почему не сказал всего этого? А может, есть еще возможность сказать? Надо сказать, сейчас же все сказать. Какое счастье, что есть еще этот вечер, бесценный вечер.

Он вышел к роще, прибавил шагу. Накануне в роще были лоси. Они вели себя бурно. На тропках лежали клочки лосиной шерсти, необычной по цвету, пепельно-синей. Там, где лежала шерсть, земля была жестоко истоптана.

Мезонин столетовской дачи поднимался над купами деревьев. Когда Кира была дома, освещенное окно ее комнаты виднелось еще с опушки. Сейчас, как ни всматривался Петр, света в окне не рассмотрел. Петр с ходу толкнул калитку.

— Кира! — Он продолжал идти, идти быстро, за шумом деревьев не было слышно шага. — Кира!

Он вышел к дому; в раскрытом окне стояла она.

— Ты?.. А я думала...

Загудели деревянные ступени — вот-вот обрушатся. Одним духом он взлетел на площадку, распахнул дверь. Ее волосы сейчас лежали у него на лице, на руках, на шее. Они точно обвили его, напоив теплом и дыханием.

И ей было худо в эти дни, и она небось пыталась разобрать по стеблю и веточке каждую из их последних встреч, и она корила себя за опрометчивость, и она, так думал он, была рада, что есть еще этот вечер, этот последний вечер, чтобы все переосмыслить, все перерешить...

— Я весь день работала, — вдруг произнесла она. — Весь день. И ждала тебя, чтобы уйти на пруды, в лес... Пойдем?

Они шагали по большому лугу, стараясь короткой тропкой выйти к прудам, а он думал: «Надо сказать ей. Остается все меньше времени — надо сказать...» А потом они дошли до пруда, и он оставил ее на круче, а сам послешел к дальнему дереву, стоящему у самой воды. Он разделся и поплыл, поплыл быстро, сильно работая руками.

— Вода холодная? — крикнула она.

— Нет, совсем теплая!.. Теплая! — отозвался он.

Она сбросила с себя платье, сбросила лепко, как это делала еще там, в Шотландии, у моря, и шумно вошла в воду.

— Нет, не теплая! — сказала она. — Не теплая, но хорошая...

Он вынырнул рядом с Кирой и коснулся ладонью ее спины.

— Ну говори: останешься или нет? Говори! Она засмеялась и устремилась к берегу.

А он вновь настиг ее и, взяв на руки, погрузил в воду, а потом бережно приподнял над водой, потом вновь погрузил.

— Кира... Кира...

Они выбрались на берег, когда туман забелил леса и поля. Только вода сберегла дневное тепло, не хотелось из нее выходить. Она натянула на мокрео тело платье и побежала, не дожидаясь его.

— В рощу, там тепло! — засмеялась она.

— Там лоси!

Она не рассыпала.

— Лоси там! — крикнул он громче. — Лоси!

— Если там львы, я все равно пойду.

Он нагнал ее, когда она скрылась в рощице. Здесь было сухо и тепло. Где-то далеко-далеко в тишине леса чутко хрюстнула сухая ветвь.

— Лось? — засмеялась она и, протянув руку, нащупала горячую ладонь Петра. — Будь рядом, я боюсь... Иди ко мне ближе...

Он обнял ее. Платье все еще было влажным.

Они ушли в глубь рощи, туда, где уцелели старые ели, здесь было еще теплее, чем на опушке, а под деревьями было много сухой хвои, рыхлой и мягкой.

— Здесь сядем, — сказал он и, бросив пиджак, сел, привалившись спиной к стволу. Она села рядом. — Теперь понятно, почему сюда прибегают лоси. Как тепло!

— Да, тепло, — сказала она и зябко повела плечами. — Дай мне руку.

Она пододвинулась к нему, приникнув щекой к его груди.

— Кира?..

Он вздохнул.

— Могу я тебе сказать все то, что хочу сказать... должен...

Она сделала такое движение, словно хотела разметать лицом горячую тьму на его груди и зарыться поглубже.

— Говори... ну, говори!..

— Слушай. — Его большая ладонь, твердая и горячая, сейчас лежала у нее на спине. — Я прошу тебя: останься. — Он вдруг почувствовал, как холодно, как трудно ему говорить — губы точно отвердели, свело скулы. Ему вдруг показалось, что он так и не сможет сказать главного. — Все, что тебя пугает, ничто в сравнении с тем, что у нас есть... пойми это. — Нет, он говорил не так, как хотел.

Она приподнялась и охватила его шею. И вновь, как прежде, ее волосы упали ему на лицо. Напитанные хвойной свежестью, они стекали по лицу, застилали глаза. Все тепло, что еще осталось в лесу, собралось в ее ладонях, в губах ее... И поток ее волос будто ворвался в его грудь и растекся по телу. Где-то рядом

ломались сучья и шумно рушились, но он ничего не слышал, не хотел слышать... пламя обволокло их, пламя, пламя... Когда оно опало, роща была тиха. Они вдруг почувствовали, как им холодно. Они пошли, приникнув друг к другу. Идти было неловко, но их руки оставались сомкнутыми. Утро уже высветлило тропу. Кустарник был изломан и истоптан больше прежнего. Повсюду валялись клочья лосиной шерсти, синие в свете утра.

— Так ты останешься? — спросил он.

Она не подняла глаз, пошла быстрее.

— Нет, — ответила она и уже шагнула прочь, шагнула резко, но потом остановилась. — Послезавтра папин день. Мы хотим, чтобы ты был. На Воздвиженке. Придешь?

— Приду...

Он подумал: «Папин день — предлог. Просить это будет прощальный вечер. Она уезжает. Июльская революция не оставила никаких сомнений ни для Клавдия, ни для Киры. Данные все ответы, и их дисциплинированный ум принял решение, единственное».

Он сумел выбраться к Клавдиевым только в десятом часу. Его встретила Кира.

— А наши уже встали из-за стола. Ты что так поздно?

Они прошли в кабинет. Горела лампа под зеленым абажуром, и комнату наполнял полу-мрак. Три кресла, высоких, темного дерева, с узкими спинками, чем-то напоминающими силуэты готических замков в ночи, стояли, образуя треугольник.

— Вам известна эта новость? — спросил Клавдий, когда Петр и Кира вошли в кабинет.

— Какая, Федор Павлович?

— Чрезвычайная комиссия... расстреляла Александровича.

— Известна.

— Вы и этот шаг одобряете?

Петр взглянул на Клавдия; он сидел в своем кресле, собравшись в комок. Поодаль стоял молчаливый Столетов.

— Моего одобрения никто не спрашивал, — заметил Белодед, — но... если хотите знать мое мнение?

— Да, Петр Дорофеевич, — сказал Клавдий.

— Мне кажется эта мера... верной.

— Сказать «верной» еще ничего не сказать, — вставил Клавдий.

Петр взглянул на Киру: она смотрела в окно на ночную Москву — всем своим видом она хотела показать, как безразлична к тому, что происходит рядом.

— Он лично ответствен за убийство Мирбаха, — ответил Белодед. — Лично, — добавил он, — если учесть, что это грозило и все еще

грозит великими бедами России, одного этого достаточно.

Столетов вышел из-за стола, встал перед Петром.

— Быть может, для вас Александрович лицо неизвестное, а я знал его — он убежденный революционер, человек, ненавидевший царизм.

— Это не меняет положения, — ответил Петр.

— Вы не смеете так говорить, — бросил Столетов. — В моем доме... не смеете!.. — воскликнул он, накаляясь.

Белодед медленно пошел к двери.

— Петр Дорофеевич, погодите! — услышал Белодед голос Клавдия и тотчас подумал: «Это кричит Клавдий — не Кира. Надо остановиться. Надо, надо остановиться», не дать себя увлечь волнению, найти какое-то слово, самое обычное, и ответить Клавдии, но он продолжал идти, продолжал упорно, сознавая, что нет силы в природе, которая могла бы его теперь удержать, хотя завтра он пожалеет о том, что сделал так, завтра обязательно пожалеет, и все же продолжал идти.

— Погодите, Петр Дорофеевич! — кричал ему вслед Клавдий, а Белодед думал о своем: «Это кричит Клавдий, а не Кира. Кира заодно со Столетовым, она своим молчанием будто толкает его в спину и гонит, гонит: иди!»

## 89

Репнин позвонил домой.

— Настенька, ты? — Он был явно чем-то взволнован. — Вот что, собери чемоданы, мы с тобой уезжаем на месяц.

— Это тот самый месяц, который ты мне обещал?

— Тот, разумеется.

Она рассмеялась легко, от всего сердца — у нее было хорошо на душе.

— А какое место мы избрали для нашего месяца? Вологду? Нет, почему же, рада! Ведь это же север, русский север... деревянные дома и дороги, церкви с сизыми куполами, и озера, как купола, и сизые и синие... Я очень хочу в Вологду! Когда мы едем?

— Поезд уходит на рассвете.

Она положила трубку. В самом деле, она была почти счастлива: они проведут целый месяц в Вологде, их месяц. Нет, куда Кавказским горам и Черному морю до красавицы Вологды!

— Лена! Алешушка! Мы едем в Вологду!

Елена вышла из своей комнаты. Настенька схватила ее за плечи, неловко поцеловала в щеку.

— Понимаешь, в Вологду... на целый месяц. Понимаешь?

Скрипнул дверью Илья.

— Значит, в Вологду? — Он был в чесучковом костюме с дежурным платочком в кармане и при этом выбрит тщательно — с тех пор как Настенька поселилась в доме, он бдительно следил за своей внешностью. — Было время, когда дипломаты ехали за правительством, а нынче... эх! — Он тронул платком губы и вернулся в кармашек. — Поздравляю, с легкой руки Грозного Ивана... кстати, он любил Вологду. — Илья пошел к лестнице и уже поднялся на три ступени, однако, остановившись, внимательно и как-то откровенно грустно взглянул на Настеньку.

А Настенька пошла к себе, пошла неторопливо, ей все виделись глаза Ильи. В часы долгого летнего дня, когда Николай Алексеевич был на работе, Настенька было невыносимо слушать, как где-то наверху в маленькой, плохо проветренной комнате сухо и нелегко кашляет Илья, как тянется дрожащей рукой к графину и гремит стаканом, как крупно и гулко булькает вода и как потом вместе с тишиной растекается запах табака, сухой, пыльный, горьковато-терпкий. Наверно, так уныло и безнадежно горько пахнет одиночество.

Настенька подошла к окну и принялась смотреть на улицу. Ничто: ни река с вечным движением, ни огонь с быстротекущей изменчивостью красок и очертаний, ни облачное небо, такое бесконечно разное, ни картина рассветной зари, всегда неповторимая, — ничто для Настеньки не представляло такого разнообразного и увлекательного зрелища, как вид обычной улицы. Она была убеждена, что в мире нет иного зрелища, которое бы в такой мере обнаруживало разноликий образ человека, как улица. Она любила смотреть улицу и могла смотреть ее бесконечно.

Но в этот раз она должна была отойти от окна тотчас: напротив остановился извозчик на новых, еще не успевших опасть рессорах. Из него вышли Рудкевич и старший Жилль. Извозчик тронул лошадей, очевидно желая поставить пролетку под тень старой липы, что росла в стороне, а настоятель и Бекас пошли через дорогу, направляясь к жилищу Репниных.

Настенька заметила: впереди шел Бекас, и его короткие ноги, обутые в русские полусапожки, нетвердо ступали по бульжнику. Эти русские полузаезжие были характерны для Бекаса, как и старомосковский его говор. В отличие от сводного брата, явившегося в Россию человеком взрослым, Бекас был привезен сюда юнцом, и дом дяди-мануфактуриста на замоскворецкой Ордынке на всю жизнь стал домом Бекаса, многое определив в его характере и облике.

Вот и звонок.

Она идет медленно — надо выгадать время. Пусть позвонят еще раз — тогда она откроет.

— Здравствуйте, Анастасия Сергеевна. — Рудкевич, как всегда, чуть-чуть застенчив. — Простите, что мы вот так... незвано!

— Пожалуйста, пожалуйста, — произносит Настенька, хотя надо, наверно, сказать иначе, например: «Кто же вас вынуждает ходить незвано?»

— Благодарю вас. — Настоятель почтительно склоняет голову, почтительно и чуть-чуть кокетливо; как ни естественна его застенчивость, в ней видно кокетство. — Благодарю, — склоняет еще ниже голову Рудкевич и краем глаза смотрит на своего спутника, точно приглашая его извлечь из своей груди какой-то звук, но Бекас нем, как камень.

Они входят в гостиную. Настенька указывает взглядом на кресла, сама садится поодаль.

Наступает пауза — старший Жилль все еще не поднял глаз, в такой позиции он видит туфли носки своих башмаков, ножку кресла, стоящего напротив, быть может, кусок ковра.

Рудкевич, наоборот, воздел глаза к небу.

Настоятель понимает: неудобно вот так сразу начинать с сути дела, тем более такого деликатного, наверно, беседе надо предпослать фразу-другую, которая должна явиться своеобразной прокладкой. Но где добить эту фразу? Спрашивать о доме глупо, спрашивать о том, как удалось переезд в Москву, еще глупее. Очевидно, надо начинать беседу — не может быть, чтобы Рудкевич не чувствовал этого. Вот он значительно откашлялся, и взгляд перекочевал с потолка на ломберный стол.

— Анастасия Сергеевна, — наконец сказал он. — Мы понимаем, насколько столь неожиданный визит может нарушить ваш покой... Мы понимаем... — Он взглянул на своего спутника, словно приглашая его если не словом, то хотя бы кивком головы присоединиться к нему, но тот продолжал упрямо смотреть в пол. — Если мы решились явиться, очевидно, иного выхода у нас не было.

Бекас оторвал взгляд от ботинок и неловко качнул головой.

— Вот письмо, которое третьего дня мы получили из Стокгольма. — Он положил письмо на стол; темно-зеленый плюш оттенял белизну конверта, хотя, если присмотреться, конверт скорее кремовый, чем белый. — Оно адресовано мне, но я не делаю секрета... — Уперев большой палец в край конверта, указательным и средним пальцами он извлек письмо и разгладил его. — Теперь я скажу, о чем идет речь, а вы можете проверить все по тексту. — Он взял со стола письмо и, приблизившись к Настеньке, по-

ложил перед ней на подоконник. — Могу я говорить? — Он огляделся вокруг, точно спрашивая ее, не может ли кто-то другой быть участником их разговора. — Могу?

— Да, — произнесла она, однако этим «да» не выразила воодушевления.

— Из письма следует, что ваш супруг (он сказал это осознанно: «ваш супруг») узнал обо всем, и это... это... Вы представляете, Анастасия Сергеевна, какое горе он пережил? — Рудкевич умолк и взглянул на Настеньку, ему было любопытно, как она примет весть, которую он, словно камень, переложил со своих плеч на ее. — Но он добрый человек, и он...

Настенька подняла глаза и увидела губы Рудкевича, некогда полные и яркие, а сейчас увядшие и бледные, но, странное дело, такие благородные, выражавшие такую неуступчивость, правоту и верность долгу, какую трудно было предполагать в нем.

— И он простил меня? — спросила Настенька.

— Да, он простил вас, — произнес Рудкевич тихо. — И не только простил. — Он поднял руки, они были так непорочно чисты и честны, эти руки, руки апостола, правдолюбца, устами которого глаголет совесть, будто Рудкевич взял эти руки взаймы у кого-то другого. — Он просит вас вернуться... — Он умолк и как-то сник, погас. — Только, господа ради, не говорите «нет». — Он сжал руки.

— А я уже сказала, — произнесла Анастасия Сергеевна и поднялась, точно давая понять гостям, что все слова произнесены и остается лишь проститься. — Это же так понятно: нельзя войти в этот дом, не решившись...

Настенька стояла, Рудкевич и Бекас продолжали сидеть.

Прошла минута, потом еще и еще. Настенька молча стояла над гостями, словно говорила: «Это же в конце концов неприлично...» Ее молчаливому укору первым внял Рудкевич. Он встал и тихо пошел к окну, где лежало письмо, однако письма не тронул.

— Анастасия Сергеевна, я ведь ваш пастырь и не могу желать вам худа. Вы идете по грани. Один неосторожный шаг, и вы...

Настенька побелела.

— Как вы можете так говорить со мной? — Она решительно шагнула к входной двери, будто предлагая гостям не мешкать и тотчас покинуть дом. — В конце концов я требую... — Ее глаза расширились. — Если вы не внемлете, я призову на помощь мужа.

Старший Жиль подошел к подоконнику, взял письмо.

— Значит... призову мужа! Ну, гляди, агнец милый! Крепостную стену прошибу, а тебя достану.

Но Рудкевич уже поднял ладонь, кроткую и храбрую.

— Андрей Андреевич, это еще что такое? — воскликнул Рудкевич, его грозно воздетая рука была сейчас над лысиной Бекаса. — По праву пастыря я запрещаю...

Бекас бросился вон из дома; за первой дверью, хлопнула вторая, потом третья и будто пресекла все звуки, оборвала на полуслове — пауза была долгой.

— У меня один выход: поговорить с Николаем Алексеевичем, — произнес наконец Рудкевич, прислушиваясь к затихающему скрипу рессор — Бекас покидал Остоженку. — Он человек разумный, поймет меня. Не может не понять, — заключил он почти горячо.

«Он и в самом деле отважится поговорить с Николаем, — подумала Анастасия Сергеевна. — Отважится и, чёго доброго, найдет общий язык. У него есть нечто такое, что может понравиться Николаю», — допустила она на миг и вдруг увидела Рудкевича сидящим в их доме за ломберным столиком и играющим с Репниковым в карты. Увидела и поймала себя на мысли, что ей приятно об этом думать. — Его покладистость, его юмор в конце концов, такой щедрый и такой домашний, весь он, простой и уютный, очень пришелся бы... — думала она. — Вот этой простоты и душевности как раз и недостает рациональным Репниковым».

— Завтра я буду в Наркоминделе и, пожалуй, не миную Николая Алексеевича, — сказал Рудкевич все так же простосердечно, целуя руку Настеньке, а она подумала, что слишком далеко залетела в мыслях своих: все многократнее сложнее у Рудкевича и, наверно, не так бескорыстно.

Настенька стояла у окна и смотрела на улицу. Рудкевич перебрался через дорогу и вошел в тень. Анастасия Сергеевна могла его видеть, он шел медленно, чуть склонив голову. Настеньке очень хотелось верить, что весь его вид, выражавший сейчас и печаль, и трудную мысль, не наигран. А если это так, то какое отношение эта печаль и раздумье это имеют к желанию Рудкевича видеть Репнина, желанию, которое у настоятеля храма святой Екатерины было так определенно, что он не остановился даже перед тем, чтобы осечь Бекаса?

ский мяч, ярко-алый, блестящий. Настенька смотрела на Репнина. Смотрела и думала, как бесконечно дороги ей и эта вмятина на подбородке, и шероховатость под нижней губой, и мочки ушей, сейчас нежно-розовые, и седины на висках, самые первые... они появились уже этой весной, а может, даже летом. И вновь она поймала себя на мысли: она не должна ничего скрывать. До сих пор казалось, что это его ранит, быть может, больно ранит, и лучше все удары принять на себя. С другой стороны, в неравном единоборстве она была стороной слабой, и кто знает, как обернется все, если она будет продолжать оставаться одна... Прежде огонь бушевал где-то в стороне, сейчас перенесся к ней в дом. Если они отважились переступить порог дома, очевидно, не остановятся и перед большим. Фраза старшего Жилля о крепостной стене предвещала это.

— Ты что так посупровела? — Он наклонился к ней и щекой тронул плечо.

— Нет... ничего.

Она подумала: сказать или не сказать сейчас? Как ни быстра она была во всем, она не любила опрометчивых решений. Сказать или все-таки не говорить? Если сказать, то не сейчас, а там, в деревянной Вологде, в тени берез, на пологих берегах равнинной речки или в сухих и светлых комнатах их деревянного особняка, из верхних окон которого будет виден кремль и его звонница. У нее будет время сказать об этом.

— Николай... — По тому, как было произнесено это слово, он понял, что за ним, за этим словом, последует нечто значительное. — У тебя был Рудкевич?

Он посмотрел на нее так, будто стоял далеко и должен был напрячь зрение, чтобы рассмотреть.

— Был.

— Ты недоволен? — Она заметила, как помрачнел Репнин.

— Тем, что ты меня об этом спрашиваешь... недоволен?

— Нет, тем, что он у тебя был.

Он улыбнулся, он не хотел огорчать ее.

— По-моему, ты дала ему повод к этому посещению.

— Лучше, если бы этого повода не было?

— Лучше.

— Почему? — Она засмеялась, смех был сейчас спасительным, без него ей трудно было бы спросить об этом.

— Ты же знаешь, что Рудкевич дипломат и все, что он делает, надо рассматривать через это стеклышико.

Ей стоило усилий не спросить мужа: «А коли он дипломат, что ему нужно в конце концов от Репниных?» Но она остановила себя. Остановила, а сама подумала: «Да так ли это

страшно, как думает Николай? И какая беда, что Рудкевич увидел лишний раз Николая — они и у Губиных беседовали славно».

А Репнин в это время думал о Рудкевиче: «Он дипломат поистине божьей милостью, кладезь ума и знаний. Маска, которую он обрел, действенна. И у Рудкевича маска? Несомненно. Локкарт надел маску дипломата, Рудкевич иную маску, чтобы за нею скрыть дипломата. Но вот что интересно: оказывается, нет маски, которая годилась бы на все времена. И маски устаревают: октябрьской волной выбросило питерских католиков на камни вместе с их наследием. Рудкевичу неуютно на этих камнях окаянных с иностранцами и аристократами — паства католического собора сплошь из них, — русского мужика, надо отдать должное его упорству, католичество не увлекло. Хочешь не хочешь, а подумаешь, как раздвинуть нещедрые пределы камней и узнать, что делается в мире...»

Опять поплыли поля. Солнце катилось теперь по их неровной глади, точно ядро,пущенное по поверхности реки — там, где оно задевало воду, возникала белая черточка.

— Ты полагаешь, Николай, что Рудкевич знал о поездке в Вологду?

— Я так думаю.

— Но, может быть, то, что ты сказал ему, скажешь мне? — слукавила она. — У твоей миссии есть цель... какая?

— Убедить дипломатов переехать в Москву. Она была осведомлена о том, что он делал, и любила говорить об этом.

— Ты рассчитывашь на успех?  
Это его развеселило.

— Если бы обо всех поражениях знали заранее, не было бы батальи.

Она рассмеялась.

— Кстати, кто нас в Вологде встретит? Ты говорил, Кедров.

В Москве он действительно как-то рассказывал о Кедрове. Накануне Чичерин разговаривал с Кедровым по прямому проводу, и тот обещал всяческое содействие. «Послушай, Николай, ты знаком с Михаилом Сергеевичем? — спросил Чичерин Репнина. — Интеллигент, которого к революции призвала... совместность. Да, не улыбайся. Это не так мало». Вернувшись домой, Репнин рассказал Анастасии Сергеевне о разговоре с Чичериным. «Так и сказал, совместность?» — «Представь, так и сказал!»

Она свела брови в раздумье.

— Кто едет в Вологду, кроме тебя? — Она решила задать ему все вопросы.

— Радек... впрочем, он приедет позже, — ответил Репнин, выдержав паузу.

С тех пор как Радек был назначен заместителем Чичерина, Репнин видел его в Наркомин-

деле часто и не однажды разговаривал с ним. Маленький, с крупной и круглой головой, он был ершист, как показалось Репину, в слове, во взгляде, в манере держаться — достоинство, и, наверно, немалое для подемического бойца, но отнюдь не для дипломата. Отдавая должное данным Радека, дипломаты заметно сторонились его. Этому в известной мере способствовала слава, упрочившаяся за Радеком. Утверждали, что дипломат, беседующий с Радеком, подвергался двойной атаке: вначале с глазу на глаз, затем анонимно со страниц большой столичной газеты. Внешне, как полагал Репин, двойной удар, быть может, выглядит и эффектно, но только внешне — реальная польза была много меньше потерь. Искусство инспирации, на взгляд Репнина, предмет более сложный и тонкий. Наверно, есть обстоятельства и в дипломатии, когда риск возможен, но меньше всего именем своим. Из опыта Николай Алексеевич знает, что как ни одарен дипломат, его качество может оказаться недостаточно, если он позволил небрежно обойтись со своим именем. Разумеется, имя твое — ты сам. Но оно существует еще и независимо от тебя и требует внимания, какого сам ты, быть может, и не требуешь.

## 91

Поезд пришел в Вологду, когда на бледно-зеленом северном небе зажглись белые звезды.

Репин видел, как по перрону, стараясь не отстать от вагона, шагает человек в кожаном картузе. Ему нетрудно было «идти в ногу» с поездом — человек был высок и шаги его широки. И весь он казался неторопливо-сосредоточенным. Только темные глаза и бородка выражали нетерпение.

— Не Кедров ли? — спросила Настенька.

— По-моему, он.

Они покинули вагон, и человек в кожаном картузе решительно шагнул к ним.

— Рад приветствовать вас в древней Вологде. — Он улыбнулся, и Репин увидел, что борода человека, густо-каштановая, с едва заметной бороздкой выцветших волос, и черная кожа, которую он был затянут с ног до головы, предназначались единственно для того, чтобы сделать человека старше его лет. — По долгу хозяина, признаюсь, очень приятному, хочу пригласить вас к себе. Кстати, дом мой в двух шагах отсюда. — Кедров указал взглядом на рельсы.

Дом Кедрова действительно был в двух шагах — он жил в вагоне. Они миновали бронепоезд, темно-зеленый корпус которого нечетко обозначался в полумгле, потом платформу с походной кухней, над которой вился веселый

дымяк, и в тени пристанических складов увидели пассажирский вагон.

— Кто... на путях? — послышался крепкий басок, и из тьмы шагнул, широко переступив через рельсы, матрос с винтовкой.

В вагоне, куда привел Кедров Репинных, было полутемно, неярко, вполнакала горела лампочка, где-то в глубине вагона, за перегородками, оклеенными дерматином, гудел голос:

— Котлас... Котлас... Вологда на проводе...

Кедров провел гостей в большую комнату, которую называл кают-компанией. Посреди комнаты у стола, застланного картой, склонился человек в офицерском френче. Заслышав шаги, он поднялся и бросил на вошедших взгляд, выражавший и пристальное внимание, и радушие. С быстротой и четкостью профессионального военного он вытянулся, отчего полноватая фигура стала почти стройной, и склонил голову — впрочем, как нетрудно было заметить, человек встревожился, увидев среди вошедших в вагон женщину.

— Северцев, — назвался он, едва слышно пристукнув каблуками.

— Вы как-то мне говорили, Петр Николаевич, — заметил Кедров, обращаясь к девушке в офицерском френче, — что истинный военный не воспринимает приказание как волю другого лица — для него это всегда приказ сердца.

— Да, говорил, — согласился человек, заметно смущившись.

— Тем большее право я имею на следующее приказание: пока мы с Николаем Алексеевичем будем уточнять диспозицию, все заботы об Анастасии Сергеевне на вас. Повторите приказание!

Человек во френче улыбнулся.

Настенька пересела в кресло, стоящее у стола, за которым работал Северцев, будто поощряя к выполнению приказания. Но Северцев, казалось, бездействовал. Настенька видела, как в этой тишине медленно багровеет и покрывается испариной его лицо.

— Хотите чаю, — вдруг предложил он с видом человека, которого осенило. — Держу пари, такого вы не пили.

Через десять минут спасительный чай уже дымился перед ними, но и он был не всесилен — Настенька явно повергла Северцева в смущение, каждое новое слово давалось ему с трудом.

— Расскажите мне о Питере, — попросил ее Северцев. — Я не был там с начала войны.

Настенька начала говорить: «Питер хорош, особенно под снегом, тогда он молодеет и точно сбрасывает с себя унылое платье войны...» — и внимательно наблюдала за Северцевым. Сколько ему могло быть лет? Сорок, быть может, сорок два, лицо хранит следы пережитого. Эта привычка нервно-иронически смыкат губы так, что обостряется подбородок и кожа стягивается в углах рта. Наверно, прошел войну по

ее самой огневой тропе и не однажды видел смерть. Настенька продолжала говорить: «Невский пуст, и гофрированное железо бережет его витрины, как в престольные праздники...» — а сама все чутче прислушивалась к разговору, который шел сейчас за перегородкой.

— Они держатся одной шеренгой и поместились на одной улице, — заметил Кедров. — Только подумать, посольский квартал в Вологде! Там есть и свой замыкающий и свой головной.

— Френсис? — спросил Репнин.

— Да, на правах дуайена, но действовать через него — значит положить все яйца в одну корзину.

— Нулянс и Карлотти? — спросил Репнин.

— Именно, — ответил Кедров. — И не только: весь посольский квартал, всю Дворянскую...

Наступила пауза, Настенька слышала, как стучат вагоны на соседних путях.

— Через всех действовать? — спросил Репнин.

— Да, так кажется мне, — ответил Кедров. — Кстати, завтра все они будут в «Золотом якоре».

Настенька обратила взгляд на своего собеседника и точно столкнулась с его глазами, строго-внимательными.

— У вас чай остыл, — сказал он. — Хотите горячего?

Они ехали по городу втроем. Кедров сидел с шофером, Настенька с Репнином — позади.

— Когда мы уходили, Северцев не смотрел на меня, — шепнул он ей. — Ты дала ему повод... надеяться?

Она рассмеялась.

— Интересно жить, даже когда тебе говорят одно и то же.

Солнце прощалось с Вологдой на куполах собора — они тускло пламенили. Настенька вспомнила слова Ильи: «Грозный любил Вологду». Кажется, собор построил он. Прогремели сухие доски моста, и автомобиль вошел на Дворянскую, миновав монастырь. Пошли особы — деревянный проспект. Окна итальянского посольства распахнуты, но за окнами темно, французский особняк освещен, античные колонны дома, в котором расположились американцы, в свете закатного солнца казались мраморными. Где-то в глубине двора гремело сухое дерево — американцы играли в городки.

— Однако дипломаты достаточно обжили Вологду, — заметил Репнин. — Они могут и не предпочесть ей Москву.

— За спиной Москвы нет двери, — возразил Кедров.

— А Вологды?

— Есть, — ответил Кедров после некоторого раздумья. — Даже две, что в данном случае важно: Мурманск и Архангельск.

Солнце уже село, когда автомобиль остановился у красного крыльца дома на берегу Вологды.

Окна были распахнуты, по комнатам гулял ветер — холодноватый, пахнущий речным песком («Река рядом», — подумала Настенька) — и сушил только что вымытые полы. Появилась девушка, неожиданно черноволосая (аказалось, в Вологде все женщины с льняными волосами); с полными ведрами она шла от Вологды.

— Как тебя величают, красавица? — спросила Настенька и взяла из ее рук ведра, нелегко было нести их в гору.

— Мелентьева я, дочка Осипа Поликарпова, а зовут Ольгой. — Говорок девушки был особым — приятно грудным и окающим.

Дом выглядел новым. Как тут же рассказала Ольга, его выстроил местный мукомол для дочери, но та предпочла особняку над рекой жилище свекра. Мукомол и теперь жил в Вологде и время от времени являлся сюда, чтобы взглянуть на свой дом.

— Он и завтра приедет, — сказала Ольга, смеясь. — Но вы не бойтесь его. Походит, походит и уйдет.

Пока Репнин продолжал разговор с Кедровым, Настенька осмотрела новое жилище. В доме было все, что полагается для особняка, построенного безбедно: гостиная с тремя окнами на улицу, столовая с окнами на реку, кабинет, спальня и даже детская, они смотрели в старый и разросшийся сад — дом пристранвался к саду.

— Ну что ж, — сказал Кедров задумчиво, прощаясь с Репнинами. — «Золотой якорь» не поле боя, но, может быть, первую диспозицию надо сделать там...

...Они долго сидели на веранде, выходящей на Вологду. Это ощущение светлого ночного неба, деревянного города и особой студености, свойственной северорусскому лету, было необыкновенно радостным, хотя Настенька и казалась печальной — разговор мужа с Кедровым не шел у нее из головы.

— Ты что? — спросил Репнин.

Она точно очнулась.

— Я все думаю, — сказала она, не опуская глаз. — Не очень-то приятно сидеть на якоре, даже если он золотой.

Он приблизился к ней. Сразу ушло ощущение студеной первозданности и неожитости нового жилья. Казалось, простыни, что так долго берегли и холод и свежесть, разом стали горячими, и зноным стало небо, белое, не ночное, и хотелось закрыть все окна и погрузиться во тьму, но уже не было сил дотянуться до них.

Много позже, когда они затихли в легкой и радостной полудреме, он вдруг шепнул:

— Мне кажется, кто-то ходит под окном.  
— Кто?  
— По-моему... Северцев, — улыбнулся он.  
Она ткнулась лицом в его грудь и уснула, добрая.

## 92

За полчаса до отъезда в «Золотой якорь» Репнин сказал:

— Кстати, ты заметила, это будет первый дипломатический прием, на котором мы появимся вместе.

Она рассмеялась:

— Думаешь, это меня повергнет в страх? Ничуть!

— По крайней мере, будь рядом со мной.

Она стояла неодетая, и между ней и садом была лишь тонкая, вздуваемая ветром пленка тюля. Свет обтекал ее. То ли от сознания силы, то ли из презрения к предрассудкам она не стеснялась своего тела. Ей доставляло удовольствие вот так обнажаться перед мужем. Он любил наблюдать ее в такую минуту: чтобы озорно стучали босые ноги по полу, золотились плечи и чтобы она, как это бывало в последнюю минуту сборов, отчаянно клацкала, хлопала, скрипела бесчисленными застежками, пряжками и поясами. В этих звуках было ощущение твердой прелести бытия и, может быть, молодости, которая вопреки прибывающим годам решительно отказывалась убывать.

Репнинны приехали в «Золотой якорь» много позже того, как собрались гости. Николай Алексеевич полагал, что имеет право на такую вольность — психологически опоздание иногда ставит тебя в более выгодное положение перед тем, кто пришел вовремя. Он не думал, что сегодня сумеет существенно выяснить позицию дипломатов, но установить контакт, условиться о встрече и как-то подготовить ее он определенно сумеет. Опыт подсказывал, что в данном случае постепенное наращивание сил всегда предпочтительнее внезапной атаки.

Гости еще были у стола (накрывать стол «а-ля фуршет» было так же модно, как носить брюки галифе — прекрасная Франция и здесь собирала своеобразную дань), но где-то в боковых залах уже начались танцы.

Духовой оркестр гремел так, что вздрагивали и рассыпались завидным звоном листры.

Репнин видел, как наполнились горячим светом глаза жены: как бы она была благодарна ему, если бы, презрев все условности, он пригласил ее на вальс.

— Не вздумай уходить. По-моему, дипломаты с женами.

Лицо ее не выразило воодушевления.

И вновь, как в тот раз, в салтыковском доме с Бьюкененом, тревожный ветер проник в его сердце: а все-таки он для них отступник. И впервые Репнин подумал, что ставит под удар не только себя, но и ее, быть может, ее больше, чем себя; кто знает, как поведут себя с нею жены дипломатов. Опыт подсказывал Николаю Алексеевичу: они могут пойти дальше мужей и в приязни и в неприязни. Может быть, поэтому соблюдение всех условностей было бы сегодня излишним: пусть она ведет себя как хочет.

Репнинных встретил Кедров.

— Ну что ж, не будем медлить, — сказал он, поздоровавшись. — Я вас представлю Нулансу, как только он расстанется с японцем. — Кедров указал на дальний угол, где француз беседовал с японским послом.

— Он знает обо мне?

— Да, конечно.

— Разрешите... падеспань.

Репнин едва не вздрогнул: Северцев.

Настенька оглянулась на мужа.

— Сочту за честь, — молвил Репнин, не поднимая глаз.

Когда позже он увидел ярко-бордовое платье жены, развеваемое танцем, ему показалось, что ей очень хорошо в эту минуту.

Она вернулась, как только кончился танец, и даже попробовала коснуться щекой его руки, а потом вдруг произнесла:

— Северцев сказал, у него мать в Кинешме.

— Он был сегодня словоохотлив, если решил на такое признание, — улыбнулся Репнин.

— Разрешите... на краковяк.

Репнин увидел только саноги Северцева, они были сегодня надраены так, как не драились, наверно, от сотворения мира.

— Да, да, пожалуйста, — произнес Репнин по инерции и, увидев Кедрова, который шел к нему (очевидно, Кедров хотел представить Репнина Нулансу сейчас), добавил: — И последующие два танца... Я буду занят с полчаса.

— Да, разумеется, Николай Алексеевич, — подхватил Северцев, осмелев, и даже улыбнулся.

И Настенька улыбнулась: ее словно устраивал такой оборот дела.

И вновь Репнин увидел, как потекло платье Настеньки, и стало худо от сознания того, что ей может быть хорошо и без него.

А Нуланс уже быстро шел к нему, и, казалось, брюшко француза способно было все смыть на своем пути.

— Репнин? — произнес он и задумался, скрестив свои смуглые руки на животе. — По-моему, я вас видел на Французской набережной.

Нуланс, как хорошо помнит Николай Алексеевич, не мог видеть Репнина на набережной (Французская набережная была синонимом французского посольства), однако в словах Нуланса был свой смысл.

— Я был на набережной в день приезда президента Пуанкаре, — сказал Репнин.

— А позже? — спросил Нуланс.

— Позже — никогда.

— Разве?

Они медленно шли вдоль окон, и платье Настеньки стояло у Репнина в глазах, будто бы никто и не танцевал в этом зале, кроме нее и Северцева.

— Значит... если гора не идет к Магомету, то Магомет пойдет к горе, — взглянул вдруг своими круглыми глазами Нуланс.

Репнин не ожидал, что французский посол так безбоязненно приблизится к огню, который бушевал между ними. Близость огня Репнину показалась опасной, и он предпочел отступить.

— Собственно, кто Магомет и кто гора? — спросил он, улыбаясь, и, подняв глаза, увидел прямо перед собою жену.

— Магомет, Магомет, — вдруг задумчиво произнес Нуланс и почти сокровенным шепотом добавил: — В наше время и горы не стоят на месте.

— Нет, мне решительно необходимо установить: кто гора и кто Магомет? — рассмеялся Репнин.

— У нас еще будет время решить эту задачу, — заметил Нуланс и, обратившись к жене, которая сейчас медленно шла к нему, поддерживая ладонью обильные желто-серые волосы, добавил: — Я хочу тебе представить господина Репнина... — Нуланс запнулся, не без умысла: посол хотел дать понять Репнину, что испытывает затруднение в попытке как-то охарактеризовать его. — Он был на Французской набережной во время визита президента Пуанкаре, — добавил посол тоном, в котором иронический подтекст был едва ли не обнажен.

Блеклые уста мадам Нуланс на какой-то миг оставались сомкнутыми — ей явно надо было больше времени на раздумье, чем мужу. Все-таки они были очень похожи, мосье и мадам Нуланс. Если верно, что со временем супруги становятся похожи друг на друга — чем больше лет, тем больше сходства, — то в данном случае счастливое супружество четы Нуланс длилось века — за десятилетия такой степени сходства достичь невозможно.

— О, мы не теряем надежды принять вас вновь на Французской набережной в Петербурге, — наконец произнесла супруга посла бойко, не очень сообразив, с кем имеет дело.

Круглые глаза Нуланса мученически расширились. Фраза жены явно не входила в его расчеты.

— Но прежде чем мы примем вас на набережной, мы рады будем видеть вас в Вологде, — сказал он, не уточнив, где и когда хочет видеть Репнина.

Нет, они были очень похожи, мосье и мадам Нуланс, настолько похожи, что казалось недоразумением, что один все еще носит брюки, а другая — юбку.

— Как ваша первая акция? — спросил Кедров, когда Репнин расстался с четой Нуланс.

— Разговор едва ли не протокольный, — заметил Репнин уклончиво, ему не хотелось огорчать Кедрова.

— Без надежды на успех? — спросил Кедров; этот вопрос слишком напрашивался, чтобы не задать его.

Репнин молчал.

— Мы увидим сегодня и Френсиса? — спросил Николай Алексеевич после некоторой паузы.

— Да, разумеется. Кстати, он, кажется, повернулся сюда.

Подошел человек выше среднего роста, седоусый, с бледным высоким лбом и рассеянно-пристальными глазами, какие бывают у людей весьма почтенных лет. Впрочем, надо отдать должное Френсису, его глаза умели незаметно обнять весь зал и все видели.

— Репнин? Как же, слыхал, и неоднократно. — Он на миг умолк, и лицо изобразило озабоченность. — В одно время с вами в Лондоне работал Арчибалд Хэлл, мой школьный друг.

«Если Френсис придумал историю с этим Хэллом, то придумал хорошо», — сказал себе Репнин. — Но к истории этой можно прибегнуть, будь она даже и мифической, только если есть необходимость, а главное, желание найти с собеседником общий язык. Тогда позиция Френсиса отлична от позиции Нуланса».

— Вот что, господин Репнин. — Френсис тронул руку Репнина как будто случайно, но в этом жесте было расположение. — Завтра вечером мы с женой будем в Осанове. — Он оглянулся, будто усадьбу, которую он назвал, можно было рассмотреть, не сходя с места. — Я приглашаю вас. Вы с женой?

Репнин внимательно оглядел зал, выслушивая Настеньку, и едва сдерживал вздох удивления: Анастасия Сергеевна быстро шла к нему.

— Я хочу тебе представить, душа моя, американского посла господина Френсиса, — сказал Репнин и протянул жене руку, точно желая помочь преодолеть неожиданно возникший на пути мостик. — Господин посол просит быть у него завтра за городом. — Он продолжал удерживать ее руку, путь через мостик был нелегким. — Мы будем, не правда ли?

— Да, разумеется, — сказала Настенька, не очень понимая мужа: она была взволнована не на шутку. — А господин посол один в Вологде?

— Нет, почему же? С женой, — сказал Репнин и раскланялся,

— Северцев сказал, что знаком с Маркиным, — произнесла она, как только они остались одни.

Репнин был удивлен: это имя прозвучало для него неожиданно.

— Да, Северцев и Маркин друзья. Северцев знал его по Кронштадту.

— И знает, где он теперь? — Репнин так и сказал: «он».

— На Волге, в военной флотилии, сражается, и... отчаянно.

Репнин быстро взглянул на нее и уловил в глазах нечто похожее на восхищение. «Что-то она ищет в Маркине такое, чего недостает ей в новой жизни», — не мог не подумать Николай Алексеевич.

### 93

Сизые купола вологодских церквей еще затягивал предутренний туман, когда Настенька проснулась. Сад был полон холодной влаги. По мосту катил тарантас, и крепкие копыта отсчитывали сухие доски. Пахло березовой листвой, сухой и пыльной, вчера было и в Вологде знойно. Настенька заглянула во флигелек — Ольга спала.

Настенька взяла ведра и пошла к реке. На ней было ситцевое платье, в котором она любила работать по дому, и туфли на босу ногу. Тропка едва прорезала высокую траву. Трава была росной, холодные струи стекали по ногам и копились в туфлях. Не выпуская из рук ведер, Настенька сбросила туфли и вошла в воду. Она уже наполнила оба ведра, но продолжала стоять в воде — не хотелось выходить. Вода обтекала ноги, в ней была и студеность и мягкость северного лета.

Настенька поднялась с полными ведрами в дом, принесла из флигелька половую тряпку и, подоткнув юбку, как делала это, когда жила с отцом на юге, принялась мыть пол. Она мыла его в охоту, не скучаясь расходуя воду, смывая вновь и вновь, круто отжимая тряпку, вытирая пол досуха. Она мыла широкими взмахами, от-

ступая назад, не думая о том, как много вымыла и сколько еще осталось. Перевела дух, лишь когда дошла до комнаты, где спал муж. Она уже внесла в комнату воду, плеснула на пол, бросила рядом тряпку, намереваясь все теми же широкими взмахами сильных рук освежить пол, но неожиданно взглянула на Репнина.

Он лежал, разбросав руки, и легкая ткань простыни укрывала его по пояс. Настенька и прежде любила смотреть, как он спит. Ей всегда казалось, что в нем жило что-то непобедимо молодое — сколько ни вслушивайся, не уловишь дыхания, так человек спит только в молодости. И Настеньке почудилось, что все люди, сколько их есть на белом свете, разделены на тех, кто сберег на всю жизнь молодость, и на тех, кого она покинула еще в детстве, а может, и никогда к ним не приходила. С Николаем молодость еще не рассталась, а к Шарлю, быть может, никогда не приходила. К Шарлю? Господи, как давно это было!

Настеньке показалось почти чудом, что когда-то (когда-то? Нет, это не то слово! Совсем недавно) у нее был муж со странным нерусским именем Шарль и она радовалась его радостям, госковала его тоской, была с ним близка и (это совсем кажется дивом) испытывала радость от встречи с ним. Встречи? Господи, да были ли они, встречи с этим мужчиной, теперь чужим и призрачным, или привиделись ей? Нет, она помнит Шарля, помнит рыжие усы, которые он так холил, белые руки, округлые, как у женщины, плечи, мускулистый живот, но это была не она, нет, ее там не было, все, что когда-то случилось, случилось не с ней, да и, откровенно говоря, она не очень помнит, было ли в их отношениях нечто такое, что связывает мужчину и женщину.

И Настенька взглянула на Репнина. Солнце еще лежало за вологодскими лесами и увалами, и купола вологодских храмов были свинцовосиними, но над рекой уже вздымался туман, клубясь и растекаясь. И Настенька подумала, что человек, который лежит сейчас перед ней, друг ее жизни, с которым идти и идти до сокончания дней своих, самый дорогой для нее человек на свете.

Настенька подошла к окну и сдвинула шторы; солнце, так и не поднявшись над Вологдой, впервые с тех пор как стоит земля... уходило на восток, на восток... Настенька сбросила с себя платье, подошла к кровати.

— Какая ты холодная, — шепнул он.

У нее горели лицо, шея, грудь, но руки еще хранили устойчивую прохладу реки. Она приблизилась к нему, и тепло его тела обволокло ее. Нет, солнце и в самом деле обратилось вспять — оно сейчас шло тропой, которой с сотворения мира не ходило.

Автомобиль выехал из города, и Репнин увидели впереди на холме Осаново.

— Наверно, верст пять, — сказал Репнин шоферу, рассматривая холм, который сделали выше старые липы и церковка.

— Около того, — ответил шофер сдержанно.

Дорога некруто шла в гору, и поля, по-летнему ярко-зеленые, ухоженные, с островками рощ и садов, высветлило солнце. В церкви на пологом холме звонили к вечерне, и округлые мягкие звуки колокольного звона катились по полям, взбираясь на невысокие холмы, скатываясь в дощины. Машина прошла Нижнее Осаново — двухэтажный дом, окруженный садами и купами уже отцветшей сирени, остался в стороне — и начала взбираться на холм: Верхнее Осаново было там.

— Как просто все вокруг, а глаз не оторвешь, — произнесла Настенька. — Вот оно, русское поле.

— Русское поле, — задумчиво сказал Репнин. — Поле... русское, — повторил он, а сам подумал: «Кто знает, что происходило на осановском холме все эти месяцы. Быть может, здесь именно и сооружался заговор против России».

И вновь холодная рука коснулась его сердца, и Репнин подумал: «Глупо, конечно, но кажется, будто эти березы, и пологий скат холма, и речка под холмом, что были невольными очевидцами событий, изменили сути своей».

У него было то же состояние, когда часом позже он шел с Френсисом боковой аллеей, огибающей верхнеосановскую усадьбу, к деревянному домику над речкой. «Уж этот дом видел все», — думал Репнин. Домик смахивал на лесную сторожку. Два окна смотрели на аллею, два на другую сторону, в поле: холмистое, убранное рощами и садами, оно было видно далеко отсюда.

По тому, как Френсис ткнул дверь, как наклонился, входя в комнату, и, протянув руку, подвинул стул, приглашая Репнина сесть, тот понял: уединенная осановская обитель была Френсису известна и прежде. Кстати, обитель была убрана умелой рукой: комнаты обставили резной мебелью простого, но приятного северо-русского рисунка. На самодельной полке разместилась деревянная посуда — разумеется, декоративная: плоские блюда со жбанами, чашки с ковшами, все емкое, громоздко-большое, добротное. Но Френсис не воспользовался ни ковшом, ни жбаном. Он открыл дверцу полированного шкафа-теремка и достал оттуда бутылку канадского виски «Вери бест», блюдо с сандвичами (копченая колбаса не старапеет), поднос с рюмками — посол непредусмот-

рительно задержал руку с подносом над столом, и близко поставленные друг к другу рюмки обнаружили, к неудовольствию Френсиса, как дрожит рука. Репнин знал: алкоголь был недугом американца. В Питере посол пил много, однако, в отличие от прочих подверженных влиянию зеленого змия, хмелел не сразу. Быть может, дрожащие руки единственный признак, выдававший посла.

— Мне сказали, что вы школьный друг министра Чичерина? — спросил посол по-английски, поспешно опустив поднос с рюмками на стол и загасив звон. — Школьный друг?

— Не в меньшей степени, чем Арчибалд Элл, которого вы изволили вспомнить вчера, — заметил Репнин в том полуслабом тоне, который делал колкую фразу не обидной для Френсиса.

Посол не смущился, лишь испытующе посмотрел на Репнина.

— Нет, я просто хочу сказать: не является ли эта ваша миссия проявлением привязанности министра. — Он помолчал, наблюдая, как примет его слова Репнин. — В нашем мире, как вы знаете... — Он кивнул на окно, из которого была видна темная туча над лесом — собирался дождь. — В нашем мире это не так предосудительно, как здесь. Там этим гордятся.

Репнин улыбнулся — он полагал: шутка иногда помогает овладеть беседой.

— Если это полезно делу, очевидно, проявлением личной привязанности...

— Не затем ли вы приехали в Вологду, чтобы выяснить, как долго дипломаты предполагают оставаться здесь и не намерены ли они... — Френсис умолк, глядя на Репнина, ему была интересна реакция собеседника.

— Да, — сказал Репнин.

— И не намерены ли они переехать в Москву, — закончил свою сложную фразу Френсис.

— Именно это меня и интересует, — сказал Репнин.

Посол встал.

— Я не хочу вас огорчать, но... хотите знать мое мнение?

— Разумеется.

— Это зависит не от нас и даже не от наших правительств, — поспешно закончил Френсис.

— Тогда от кого же?

Френсис помедлил.

— От правительства, которое вы имеете честь представлять. От Советов.

Репнин пересек комнату по диагонали — деревянные полы скрипели: три шага — один угол, три шага — другой.

— Я вас не понимаю, господин посол.

Френсис протянул руку к бутылке с канадским виски, налил Репнину и себе; он невысоко

поднял рюмку, выпил и быстро взял свободной рукой бутылку, точно торопя Репнина пригубить свою рюмку, но Николай Алексеевич не спешил.

— Ваше правительство должно недвусмысленно показать, что оно видит в Германии... общего врага, общего... — сказал Френсис.

Репнин все еще держал рюмку с виски, вино слабо плеснулось.

— Брест?

Френсис поставил бутылку на поднос, встал, рюмка с виски была зажата в его бледной руке, казалось, прежде чем выпить вино, он хотел согреть его, но рука не давала тепла.

— Если говорить откровенно...

— Да, господин посол.

Френсис неожиданно протянул руку, чокнулся и единственным духом выпил вторую рюмку.

— Я не верю, что ваше правительство расторгнет сейчас Брестский договор, да сегодня это уже и не имеет для союзников того значения... не имеет.

Репнин пригубил вино и поставил бокал на поднос.

— Тогда в чем дело?

— В простом доказательстве лояльности, господин Репнин.

— То есть?

Френсис указал Николаю Алексеевичу на стул — американскому послу не очень хотелось продолжать разговор, глядя на своего русского собеседника снизу вверх — он не хотел давать Репнину и этого преимущества. Репнин сел.

— Я элементарно осведомлен о том, из кого состоит нынешнее русское правительство. Простите меня, но оно только по официальному титулу рабоче-крестьянское, а по сути... Нет, честность этих людей для меня вне подозрений. Быть может, оно действительно защищает интересы рабочего и крестьянского большинства, но согласитесь...

— С чем мне надлежит согласиться, господин посол?

— Я сказал, оно только по титулу рабоче-крестьянское, а по сути... Кто такие господа Чичерин, Коллонтай, господин Ульянов, наконец, кто они такие? Изгон, разуверившиеся в способности своего класса творить историю и решившиеся его взорвать...

Посол взял поднос с рюмками, чтобы переставить на другое место, рюмки неистово зазвенели, и посол поспешно возвратил поднос на прежнее место.

— Всевышний ведет строгий учет их заслуг и великодушно воздаст им за это. Я не о том.

— Тогда о чем же, господин посол?

— Все они интеллигентные люди, больше того, все они прожили половину жизни на...

Западе. — Он хотел сказать «в Европе» и раздумал. — Неужели они не понимают, что нормой современной жизни, нормой прогресса является терпимость к мнению другого человека, если хотите, парламентаризм, каким он показал себя. Согласитесь, от царя к Учредительному собранию шаг вперед, и немалый, от царя к диктатуре Советов... вперед ли?

Репнину стоило усилия, чтобы не встать.

— Значит, в обмен на признание реставрация Учредительного собрания, так?

Теперь встал Френсис.

— Вы огрубили мою мысль, но суть ее вы поняли правильно.

— В обмен на признание?

Френсис неслышно приблизился к окну, открыл его, пахнуло свежестью.

— Нет, больше. В ответ на лояльность западного мира.

Репнин встал с Френсисом рядом. Солнце зашло, туча, стоявшая над полем, прошла, не окропив поля влагой, где-то далеко-далеко за лесом, за перекатами холмистого поля куковала кукушка. Казалось, Френсис давно заметил ее голос и, затаив дыхание, отсчитывал, сколько лет она ему послужит. Иногда ветер, гуляющий над равниной, чуть-чуть задувал ее голос, но потом он возникал с новой силой — кукушка была неутомима.

— Сто двадцать? — спросил Репнин, смеясь.

Френсис улыбнулся:

— Да, около этого.

Репнину не хотелось сообщать этим словам иронического оттенка.

— Ну что ж, это помогает жить.

— Помогает, — сказал Френсис, вздохнув.

В церкви рядом ударил колокол — служба кончилась.

Они покинули дом над рекой.

— Вы полагаете, что новое Учредительное собрание, если оно будет созвано, утвердит Декрет о земле? — спросил вдруг Репнин.

Френсис остановился — в аллее было сумеречно.

— Вы русский, вам лучше знать, — ответил Френсис, не глядя на Репнина.

Они пошли дальше.

— Но вопрос о возвращении дипломатов в Москву — это же не признание...

— Да, разумеется, — ответил Френсис.

— Русское правительство полагает, что пребывание дипломатов в Вологде небезопасно, и настаивает... — проговорил Репнин.

Френсис остановился; голос кукушки еще слышался, и, казалось, посол намерен продолжать отсчитывать годы — сто двадцать его не устранивало.

— Вы сказали, небезопасно, — заметил наконец Френсис. — Ну что ж, мы еще найдем возможность вернуться к этому разговору.

Когда машина покинула Осаново, Репнин нащупал в полуутяме руку жены.

— Как тебе... мадам Френсис?

Настенька усмехнулась.

— Все слушала кукушку и отсчитывала годы.

Репнин погасил усмешку.

— Суеверие — признак возраста, душа моя.

— И слабости, — ответила она.

Репнин, умолк: разговор в уединенной осеновской обители вызывал нелегкие раздумья. Конечно, Френсис недвусмысленно дал понять Репнину, что исключено не только признание, но исключен или почти исключен даже жест, который мог бы быть истолкован как выражение лояльности к новой России. Впрочем, на этот счет Репнин не питал иллюзий. У Репнина была более скромная цель: склонить дипломатов переехать из Вологды в Москву. Репнин уловил, что и Френсису эта перспектива казалась небесмысленной, по крайней мере американец хотел продолжения разговора на эту тему. Репнин решил этой же ночью вызвать к прямому проводу Чичерина — у Кедрова была такая возможность. Кстати, кто не знал, что лучшим временем для разговора с наркомом была ночь.

## 95

Репнин не застал в вагоне Кедрова. Зато там был Северцев. У него оказались дела в городе, он уже совсем собрался уходить и встретил Репнина в шинели.

— Нет, нет, Николай Алексеевич, ради бога, — произнес он, увидев Репнина, и быстро снял шинель. — Я, разумеется, никуда не поеду. — Как показалось Репнину, он даже был рад проявить таким образом свое расположение.

— Я вижу, вам необходимо ехать, — заметил Репнин. — Я как-нибудь сам.

— Нет, остаюсь, — возразил он. — Все остальные дела менее важны. Кстати, хотите чаю?

Он определенно желал выказать расположение к Репнину.

Николай Алексеевич неотрывно наблюдал, как Северцев тут же вызвал дежурного и заставил Москву, как позвонил в город и просил сообщить Кедрову, что приехал Репнин, как зажег спиртовку и подогрел чай. «Да неужели он делает все это ради Анастасии? — подумал Репнин. — Не было бы Настеньки, не удостоился бы я такого внимания».

— Прошлый раз вы как-то неожиданно уехали из «Золотого якоря», — сказал Реп-

нин. — Очевидно, все важное, что скапливается за день, приходит вечером? — добавил он не без умысла.

Казалось, Северцев был рад этому вопросу — очевидно, он догадывался об истинной причине репнинского великодушия, столь неожиданного и явного.

— Вслед за событием идет донесение, независимо от того, когда событие происходит, — Северцев улыбнулся горько. — А иногда опережая его, — добавил он, подумав.

— Опережая? Каким образом? — Репнин хотел растормошить собеседника, вызвать на более активный разговор.

Северцев достал трубку — она и прежде помогала овладеть собой.

— Вот хотя бы сегодняшнее сообщение из Ярославля, — заметил он и кротко посмотрел на Репнина. — Там распространялся слух о восстании. — Он продолжал смотреть на Репнина, точно дожидаясь, какое впечатление это произведет на него. — Удар по нашим войскам из Ярославля грозил бы нам большими бедами.

— Потерей Вологды? — спросил Репнин осторожно, он не переоценивал своих военных позиций.

— Не только Вологды, — очень живо отозвался Северцев, его уже увлек этот разговор. — Всего русского Севера! — Он зажег трубку и неторопливо выдохнул первое облачко дыма. — Представьте себе такую перспективу: отсекается Север и создается в своем роде белая республика под эгидой союзников. Нет задачи проще: ворота за рубеж рядом — до Архангельска и Мурманска рукой подать. — Он шумно выдохнул следующее облачко, трубка раскурилась. — Даже дипломатов присыпать не надо, они здесь.

Репнин придвинул стакан с чаем, отхлебнул — чай был крепким, очевидно, Северцев заваривал его по своему вкусу, для ночной работы только такой и годился.

— Не мог бы я задать вам еще один вопрос? — вдруг спросил Репнин, не поднимая глаз. — Примите его как вопрос частный, мне просто хочется знать ваше мнение.

Северцев остановил трубку у самых губ — о чем еще хотел спросить Репнин?

— Да, пожалуйста.

Репнин отпил добрых полстакана чаю — он был действительно крепок, этот чай, его приятно было пить.

— Вы верите в то, что нам удастся склонить дипломатов переехать в Москву?

Северцев припал к своей трубке, и клубы дыма один за другим поднялись над его головой и застлали все вокруг.

— Вот вам мое мнение, частное: все будет зависеть от того, как закончится эта авантюра

в Ярославле. В какой мере им удастся организовать силы, на которые можно было бы опереться. — Он на миг умолк, словно раздумывая, говорить ему то, что он хотел сказать, или повременить. — Учредительное собрание было бы для них находкой, просто находкой, — заключил он значительно.

Репнин привстал от неожиданности — все, что сейчас произнес Северцев, перекликалось с тем, что говорил Репнину сегодня Френсис.

— Вы сказали, Учредительное собрание?

Коротким жестом Северцев разгреб облако дыма, как разграбают ветви дерева.

— Я сказал, находкой...

Репнин подумал: однако этот фронтовой офицер был провидцем. Но тут же прогнал эту мысль: не превозносит ли он Северцева? Но сейчас же остерег себя: а почему все-таки Репнин не признает это качество за Северцевым? Не потому ли, что?.. Нет. Настенька тут ни при чем.

— Я полагаю, что здесь не те причины... — произнес Репнин в ответ на реплику Северцева. — Не те... — повторил он, а сам подумал: не от недостатка ли мужества он отказывался признать правоту Северцева?

Вошел красноармеец-телеграфист: нарком Чичерин был на проводе.

Репнин перешел в соседнюю комнату. Аппарат точно ждал его прихода и отозвался торопливым стуком. В этом стуке, как в говоре, была своя интонация, неторопливая, разумная.

— У аппарата наркоминдел Чичерин.

— У аппарата уполномоченный Наркоминдела Репнин.

Аппарат умолк на минуту, Репнин словно увидел, как Георгий Васильевич пододвинул блокнот и быстро обозначил вопросы к Репнину: первый, второй, третий... Ничего не забыть, все выяснить, хотя времени в обрез — на столе лежит неоконченное письмо Воровскому в Берлин (Вацлав Вацлавович выехал туда третьего дня по оперативным делам Наркоминдела), дипломатическая почта уходит утром.

Чичерин. Как вас встретила Вологда? Как встретил Кедров? Кого видели из дипломатов?

Репнин. Вологда и Кедров были гости-приимны. Сегодня вечером говорил с Френсисом.

Ну конечно, Георгий Васильевич отодвинул неоконченное письмо Воровскому и, быть может, перевернул страницу — она отвлекает.

Чичерин. Не находите ли вы, что позиции Френсиса и Нулянса тождественны?

Репнин. В основном — да. В деталях — нет.

Георгий Васильевич выдернул страничку с вопросами и положил перед собой, блокнот

передвинул ближе — все существенное надо записать.

Чичерин. В деталях? Каких именно? Распространяется ли это на вопрос о переезде в Москву?

Репнин. Несомненно. Как мне кажется, Нулянс отвергает эту перспективу категоричнее и решительнее, чем Френсис.

Чичерин. Тогда какова позиция Френсиса? Что в ней для нас привлекательно? Как нам надо себя вести? Коротко.

Какова же все-таки позиция Френсиса? Да есть ли разница во мнениях Нулянса и Френсиса? Очевидно, есть. Но какая? Быстро и коротко... Коротко, коротко!

Репнин. Френсис не отвергает перспективу переезда дипломатов в Москву. Возможно, из тактических соображений. В какой мере это искренне, покажут события этих дней.

Чичерин. Вы сказали, события? Что вы имеете в виду?

Ах, эта жесткая интонация разговора по прямому проводу. Аппарат выморозил все, что копилось в отношениях между людьми годы и годы. Начисто выморозил и обратил в железо, от прикосновения к которому кожа сползает с рук. Будь это даже просто разговор по телефону, появились бы и тепло, и темп, и интонация, и объемность живой речи. Нет, это только так казалось, что железный стук аппарата имеет разумную интонацию.

Репнин. Очевидно, события в Ярославле.

Аппарат сокинул уста. Он удерживает молчание человека, который задумался в эту минуту.

Чичерин. А не полагаете ли вы, что Френсис наводит вас на ложный след, внушиает неоправданные иллюзии, чтобы сковать энергию и выиграть время?

Николай Алексеевич задумался.

Репнин. Не исключен и такой вариант.

Чичерин. Как думаете вести себя? Ждать или действовать?

Репнин. Действовать.

Чичерин. Тогда как?

Непросто ответить Репнину на этот вопрос. Если бы можно было встать и пройти из одного конца аппаратной в другой. Где-то в конце вагона настенные часы бьют одиннадцать. Наверно, и в кабинете Чичерина бьют сейчас часы, те, большие, с золотым циферблатом.

Репнин. Если события не примут неожиданного оборота, склонить вернуться в Москву всех остальных.

Чичерин. Если не примут неожиданного оборота? Ну что ж, я, пожалуй, согласен.

В заключение разговора Репнин спросил, следует ли ему ждать представителя Наркоминдела, как это предполагалось вначале.

Из ответа Чичерина Николай Алексеевич понял, что такая перспектива не исключена.

Репнин вернулся. Северцева не было. Он не дождался окончания разговора и выехал в город. Видимо, выехал спешно. В пепельнице лежала трубка. Она продолжала дымиться.

Был первый час ночи, когда Репнин направился домой. В окнах давно погас свет. Поблескивала река. В белом июльском небе купола кремлевского собора выглядели призрачными. Далеко за городом шальные выстрелы рвали тишину.

Репнин вспомнил разговор о Маркине и вновь, как тогда в Питере, ощущил при упоминании этого имени тревогу. Он не мог до конца понять теперь, как не понял тогда, чем ей был интересен этот человек и каковы были истинные причины их добрых отношений, а может, даже дружбы. Репнин был убежден: то, что делала Настенька теперь, в сущности, было определено желанием порвать со всем тем, чем был для нее мир ее первого мужа, и вернуться к добрым берегам юности, ко всему тому, что неизменно отождествлялось с обликом и именем отца. Как ни сильно было ее чувство к Репнину, она должна была признать, что он чужд идеалам ее юности. А Маркин? В нем были и симпатичная простота, и добрая лукавинка, то есть как раз то, что она привыкла видеть в отце и что она так ценила в людях.

Автомобиль пересек площадь. Дома были погружены в темноту — город видел уже третий сон. Только «Золотой якорь» бодрствовал — желтое пламя дымилось в окнах.

## 96

В полдень к Репнину явился Кокорев, он робко вступил в гостиную.

— Прошу вас. — Репнин указал на кресло.

В тот раз Кокорев за минуту их встречи в ночи открыл Репнину много. Сколько же минут потребуется ему сейчас, чтобы поставить все с ног на голову?

— Курите? Прошу. — Все протокольные слова, пока не было сказано ни единого человеческого.

— Благодарю вас, Николай Алексеевич. — В который раз уже Кокорев робко-почтительно повторил «Николай Алексеевич» и получил в ответ «вы», «vas», «vam». Да надо ли с ним так говорить?

— Я осведомлен о целях вашего приезда в Вологду, — начал Кокорев и неистово загремел коробком со спичками, пытаясь зажечь папиросу — столь несложная операция стала вдруг ему не под силу. — Быть может, то, что я сообщу, будет вам полезно, — добавил он почти скороговоркой.

Репнин поднялся, пошел по комнате. Когда он обернулся, увидел Кокорева со спины — сутулая спина, седины; такое впечатление, что место Кокорева занял старик. Вскоре после того как Кокорев принес томик Уитмена, Елена спрашивала отца: «Дано ли человеку право убивать другого?» Кроткая Елена, и вдруг такое. Не иначе, как на мысль эту навел «Комиссар» — этим именем уже окрестили у Репниных Кокорева.

— Я вас слушаю, — произнес Репнин все тем же тоном и вновь подумал: «В самом деле, надо ли с ним так говорить? Ведь он оробел не потому, что робок, — слава богу, на фронте, наверно, бывал в переплетах. И не потому, что он, Репнин, важная птица. Просто Николай Алексеевич — отец Елены». — Положение продолжает оставаться тревожным?

— Да, очень, — произнес Кокорев и придвигнул стул. — Помните наш разговор о заговоре послов?

Репнин встревожился — беседа обещала вторгнуться в самую опасную сферу.

— Помню, разумеется. Но я часто вспоминаю и вашу реплику о Локкарте и Робинсе, — произнес Репнин. — Да, по дороге в Смольный, второй раз... — уточнил Николай Алексеевич. Среди явлений, которые вызвал к жизни дипломатический Петроград, история Локкарта — Робинса была во многом примечательна и неизменно вызывала интерес Репнина.

— Робинс и Локкарт — это проблема любопытная! — оживленно заговорил Кокорев, чувствуя, что Репнин как бы поощрял его к разговору. — Как вы помните, они явились в Смольный в разное время: Робинс — в ноябре, по горячим следам, Локкарт — в феврале, вскоре после приезда. Да и не похожи они друг на друга. Робинс — очень широкий, земной, первозданный, хотя прикоснувшийся и к культуре и к политике, он политик отменный! Локкарт... да что говорить? Вы знаете Локкарта! Разные характеры, да и политические полюса у них разные, хотя задача одна — разведка. Я думал об этом, Николай Алексеевич, и утверждаю категорически: и у Робинса была эта задача, когда он явился в Смольный, — разведка против Советской власти, против Ленина, если хотите! Я не дипломат и не знаю, так ли себя вела дипломатия в подобных обстоятельствах прежде, но тут она нашла ход очень эффективный: в момент, когда отношения прерваны, сделать своими представителями и связными с новым правительством таких людей, как Робинс и Локкарт. Я сказал, разведка...

— Но знал ли об этом Ленин? — осторожно спросил Репнин.

Кокорев взглянул на красные руки и снял их со стола. Только сейчас Репнин заметил, что фуражка с поломанным козырьком и звездоч-

кой, лежащая на стуле рядом, обильно покрыта рыжей здешней пылью. Очевидно, Кокорев примчался сюда, не заезжая на квартиру, которая должна быть у Кокорева, — он в Вологде недели три. Все эти дни зной, не по-северному сухой и жесткий, сменялся под Вологдой ливнями, тоже не по-северному обильными, с потоками белого огня, низвергающегося с неба.

— Знал ли об этом Ленин? По-моему, знал. Но поставьте себя в положение Ленина. Как вести себя с людьми, явившимися со столь своеобразной миссией? Велико искушение принять позицию лица официального. Я знаю: так бы сделали многие и были бы правы. Ленин повел себя иначе, надо очень доверять правде своей, чтобы повести себя иначе! Нельзя сказать, чтобы Ленин обратил Робинса в свою веру, да в этом, пожалуй, не было необходимости, но он противопоставил его Френсису и, пожалуй, Локкарту.

— Но вот вопрос. — Система доказательств Кокорева, а пожалуй, и энтузиазм увлекли Репнина. — Насколько монолитен был этот союз — Робинс и Локкарт?

— По-моему, до поры, до времени очень... Как правило, после каждой своей поездки в Смольный Робинс бывал у Локкарта. Допускаю, что какие-то данные, которыми обладал Робинс, были интересны и для Локкарта. Таким образом, эти данные получал и Френсис и через Локкарта английский коллега Френсиса Линдлей.

— А как повел себя Робинс после того, как позиция его претерпела изменения и американский посол бойкотировал его?

— Робинс послал Френсиса туда, откуда и послам нелегко возвратиться! — произнес Кокорев и покраснел, он понял, что принял тон, недопустимый в разговоре с таким собеседником, как Репнин.

— И Локкарта послал туда, откуда... затруднено возвращение? — засмеялся Николай Алексеевич — фраза Кокорева пришла ему по душе, он воспринял ее как знак известного расположения Кокорева к нему, Репнину.

— Нет, только Френсиса. — Лицо Кокорева все еще было малиновым.

— Вы хотите сказать: вопреки разрыву Робинса с Френсисом Локкарт сохранил отношения с американцем?

— Да, у меня есть основание утверждать это, — произнес Кокорев, пытаясь овладеть собой. — Все, что Локкарт говорил о Робинсе, а говорил он о нем много и охотно, было проникнуто симпатией к этому человеку, даже после того, как Робинс порвал с Френсисом и выехал в Америку, имея на руках известный мандат Ленина, после того, как он прибыл на родину и был атакован прессой, да только ли прессой!

Говорят, его отказался принять Вильсон! Даже после этого Локкарт продолжал говорить о Робинсе с симпатией.

Репнин не мог не заметить: его вопросы не застали собеседника врасплох. Задолго до Репнина эти вопросы наверняка задал себе Кокорев. Видно, молодой сподвижник Дзержинского шел за Локкартом след в след, шел давно, пренебрегая опасностью, переселившись в душу Локкарта, торжествуя и сокрушаясь, радуясь и удерживая себя от разочарования. И Репнин представил вдруг глаза Дзержинского, застланные синеватой дымкой усталости, матово-темные глаза, какие были у него и в тот раз на Спиридовьевке. «Как Тверь? — спросил тогда Дзержинский у Кокорева и повторил свой вопрос: — Как Тверь?» И Репнин подумал: в Кокореве была частица Дзержинского — его воинственность и верность тому дерзкому и большому, что звалось новой Россией.

— Вы сказали, Локкарт продолжал говорить о Робинсе с симпатией. Но как объяснить это?

— Если бы Локкарт вел себя иначе, его отношения с Робинсом могли бы прерваться, а вряд ли он был заинтересован в этом, — нашелся Кокорев.

— С этим можно было бы согласиться, если бы Робинс оставил в России, — возразил Репнин. — Но вот уже три месяца, как американец выехал, а Локкарт все так же щедр и доброжелателен, когда речь заходит о Робинсе. Почему?

— Я ждал этого вопроса! — воскликнул Кокорев. — Вы можете со мной не согласиться, но мне кажется, что англичанин повел себя так, чтобы отмежеваться от всех тех, кто подготовил высылку Робинса из Москвы.

Репнин знал, что Робинс выехал из Москвы вынужденно, и был элементарно осведомлен об обстоятельствах отъезда. Робинс находился в постоянной оппозиции не только к Френсису, но и к Саммерсу, американскому генеральному консулу в Москве, кстати, женатому на знатной русской и отчасти поэтому воинственному антибольшевику. Весной этого года Саммерс внезапно скончался. Этим не преминули воспользоваться враги, распространив слух, что в смерти Саммерса повинен и Робинс... Этот слух странным образом совпал с мольбой, что Робинс продолжает противопоставлять себя послу и последнее время все труднее установить, кто представляет президента Северо-Американских Штатов в России. Однажды этот вопрос был даже задан Френсису публично. Робинс узнал об этом и избрал решение, в его нелегком положении единственное: он покинул Россию. Но по тому, как один слух совпал с другим, было очевидно: распространение их исходит из одного источника. Трудно сказать, имел ли Локкарт

отношение к этому источнику, но несомненно: англичанин смертельно опасался, что подозрение падет и на него, опасался и не уставал говорить, как ему дорог Робинс.

— Хорошо, я готов принять вашу точку зрения, — заметил Николай Алексеевич спокойно, он не хотел своим согласием слишком ободрять молодого собеседника. — Готов принять... однако в какой мере Робинс противостоял тому, что делали и делают Френсис и Локкарт? Согласитесь, что угроза, которую нес с собой Робинс, вряд ли была для них серьезна.

— Нет никакой угрозы, — произнес Кокорев. — Но то, что прежде было тайной, сейчас ею уже не может быть — погода стала другой, Николай Алексеевич. — Кокорев взглянул на руки, все еще красные; странное дело, он уже не стеснялся их. — Вторжение.

«Вторжение...» Это слово вызревало в разговоре с Кокоревым постепенно и не было неожиданным для Николая Алексеевича, но когда Кокорев его произнес, оно будто упало с неба. Но было ли вторжение акцией дипломатов, это еще требовало доказательств, по крайней мере для Репнина.

— Простите, но утверждение столь категорическое, как это... должно сопровождаться доказательством, чтобы не быть голословным.

Кокорев залился румянцем настолько густым, что волосы, казалось, стали снежно-белыми.

— Есть истины настолько очевидные, Николай Алексеевич, что нет необходимости их доказывать, — произнес Кокорев голосом, готовым сорваться, его обозлило замечание Репнина.

— Истина становится очевидной лишь после того, как она доказана, — произнес Репнин спокойно и не без укоризны взглянулся на Кокорева. Что-то было в Кокореве для Репнина от фанатика, которого ведет не столько разум, сколько сердце: как истинный фанатик, он был нетерпим к тем, кто не хотел принимать его правду на веру.

— Пока гром не грянет... — заметил Кокорев и взял фуражку со стола: когда он ее держал, он лучше себя чувствовал. — Все истины будут доказаны, когда копье будет на пути к цели.

— Вы говорите о копье Локкарта? — спросил Репнин.

— Да, Николай Алексеевич, об этом копье, — сказал Кокорев и, осторожно скав фуражку, поднялся. Там, где ступал Кокорев, оставались следы — видно, действительно он явился сюда, не заезжая домой. Репнин взглянул в окно: у крыльца стоял кокоревский автомобиль с комьями спекшейся глины на смотровом стекле — видно, проехал версты и вер-

сты по полям, затопленным водой, каменистым проселкам и разрушенной гати. Где он был на кануне: в Иваново-Вознесенске или Рыбинске?

— Вы сказали, что у копья есть цель? — спросил Репнин, когда они вошли в сумерки коридора.

Кокорев обернулся, и Репнину показалось, что он уловил запах разогретого солнцем лица Кокорева — запах припалиенного живища и потревоженной дождем пыли.

— Я вам давно хотел сказать, Николай Алексеевич, — произнес Кокорев, и Репнин услышал, что голос его собеседника, исполненный до сих пор спокойного раздумья и даже воодушевления, непонятно дрогнул. — Наверно, это тот случай, когда я могу обратиться к оружию.

Кокорев ушел, а Репнину казалось, что он все еще слышит запах июльского поля. Не продолжал ли Кокорев спор, начатый с ним? «...тот случай, когда я могу обратиться к оружию...» Какой смысл несли эти слова? И еще: что было целью визита Кокорева — рассказ о Локкарте и Робинсе или нечто иное?

## 97

Репнин спросил жену, не изменила ли она своему намерению ехать с ним на пикник дипломатов в Осаново. Настенька сказала, что дипломаты будут с женами и ему неудобно появиться там одному — он и без этого был для них белой вороной. Гостей принимала чета Френсисов: пикник давал редкую возможность Френсису обнаружить себя дуайеном.

Очевидно, это был не первый пикник и какие-то условности были гостям понятны. Полянка стала буфетным залом — столы накрыли здесь. Высокая круча над рекой — верандой, где при желании удавалось уединиться. Березка перед полянкой — и парадным входом, и большой люстрой посольского зала. Чета Френсисов встречала своих гостей здесь. Хозяйка взяла Настеньку под руку и повела представлять женам дипломатов. Хозяин сделал то же самое с Репниным. Момент был весьма удачен — гостей еще не приглашали к столу.

Представляя Репнина дипломатам, Френсис был не щедр на радушные, но церемония представления давала какую-то возможность и ему постоять под большой люстрой, американский посол не пренебрегал этой возможностью. Кстати, от внимания Николая Алексеевича не ускользнула такая деталь: когда они оставались один на один, Френсис был весьма предупредителен, но стоило к ним присоединиться кому-то из дипломатов, радущие немедленно иссыкало. Это было настолько явно, что Репнину было непонятно, как этого не замечает сам Френсис.

— Посланник его величества короля Швеции генерал Свеаборг Виборг. — Генерал, разумеется, в штатском, но, казалось, его штиблеты издают звон.

Значит, резиденцией нейтралов только формально остается Питер — на самом деле и они в Вологде.

Репнин смотрел на генерала.

— Если лавр ложится на генеральский меч, таким мечом можно сокрушить горы! — сказал Репнин, смеясь, он не терял надежды встретиться с генералом еще раз.

— Генерал от церкви тоже генерал!.. — подхватил шведский посланник воодушевленно, очевидно имея в виду великого дипломата Франции.

— Был бы Талейран, а Вена будет! — заметил Репнин и, отойдя, оглянулся — шведский посланник улыбался ему заговорщики. Значит, первый шаг к беседе с ним сделан.

Однако круча над рекой действительно была похожа на веранду. Сейчас здесь собрался весь дипломатический корпус, а заодно корпус корреспондентский. Репнин оглядел веранду и вдруг увидел всю картину приема в том иронически-злом и беспощадном свете, в каком она виделась только ему. И французского посла, который на два часа прилепился к своему советнику, будто бы с собственным советником не было иной возможности встретиться, если бы американский президент не назначил Френсиса послом, а посол не устроил этот прием на осановском холме под Вологдой. И жену бельгийского посланника, чей гвардейский смех был слышен в дальнем конце Осанова, точно только ей и никому больше не был доступен скабрезный подтекст анекдота, который рассказывал английский консул. И трогательную швейцарскую пару — месье консльер Ив Фуррер и мадам консльер Ив Фуррер, которая появлялась с дежурной улыбкой на устах: «Мы все знаем, и не пытайтесь от нас скрывать что-либо». И итальянского советника, троглодита, который шел от стола к столу и оставлял после себя зону пустыни; гости пятились от него, предсматрительно прихватив с собой тарелки с едой. И молодого попа, высокого, великолепно сложенного, с черно-маслянистыми глазами и такой же черно-маслянистой бородой, а рядом нестареющую супругу датского консула, глядящую на попа глазами голодной волчицы. И многоопытную корреспондентку манчестерской газеты, которая в свои двадцать семь лет успела побывать и секретарем у первого лорда адмиралтейства, и телефонисткой на ночном пункте противовоздушной обороны, и санитаркой в окопах, и сестрой милосердия в венерическом солдатском госпитале. «Ничего не могу с собой поделать, — говорила она, прихлебывая виски. — Профессиональная привычка:

гляджу на дипломатов и вижу их голыми, начисто голыми — какие у них животы, бедра и все прочее...» Репнин смотрел на дипломатов, думал: «Наверно, и я вижу их голыми, совсем голыми».

А навстречу Репнину уже шла Настенька и рядом с ней шведский генерал.

— Я не знал, что человек, который так щедро прочил мне меч Талейрана, ваш муж, — говорил швед, улыбаясь.

Гостей пригласили к столу, Репнини направились вместе со шведским посланником. Только сейчас Репнин заметил: генерал чуть-чуть прихрамывал, однако это как-то не делало его ни менее мужественным, ни менее величественным. Смуглое от природы, исеченное морщинами лицо было полно суровости, той самой, которой в избытке наделены настоящие военные и которой иногда так недостает дипломатам.

— За то, чтобы генералы были генералами, а дипломаты — дипломатами, — произнес посланник, наполняя бокалы.

— Очевидно, шведский генерал в своих устремлениях не менее бескровен, чем дипломат, — подхватил Репнин.

Женщины пошли есть мороженое к столу, где находилась сейчас мадам Френсис. Мужчины остались одни. Была та особенная минута, когда утолены и жажды и, пожалуй, голод и дипломаты торопливо разбирают гостей — у каждого свои виды на сегодняшний вечер.

— Здесь уже третий день упорно ходят слухи, — произнес шведский посланник, и его зобастая шея вздулась. — Ходят слухи, что Чичерин уступил германскому ультиматуму и дал согласие на ввод германских войск в Москву.

— А о том, что две германские колонны движутся на Москву, ничего не говорят? — спросил Репнин, внешне не показывая скрытой в этих словах иронии.

— Двойной удар со стороны Киева и Минска? — переспросил генерал, придя этой фразе не столько политический, сколько военно-стратегический смысл — слишком велико было у него искушение дать стратегической задаче свою оценку.

— К счастью, то, что так легко рассмотреть из Лондона, совершенно невозможно рассмотреть из Москвы, наши военные этого сообщения не подтверждают, — заметил Репнин все так же серьезно.

Реакция генерала была неожиданной:

— О-о... Значит, врут?

— Врут! — сказал Репнин.

Этот разговор еще больше взбодрил генерала. Они прошли на веранду, а оттуда проникли в аллею, ту самую аллею, дальний конец которой упирался в уединенную осановскую обитель.

— Но прессы нейтралов не опровергла этого сообщения, — сказал генерал, когда они погрузились в полуутмую аллею.

— К сожалению, нейтралитет и самостоятельность не всегда тождественны, генерал. — Репнин, кажется, подошел к самой сути того, что хотел сказать сегодня шведу.

— Простите, но как разрешите понимать ваши слова? — спросил посланник. — Как понимать?

Репнин медлил. Они были сейчас у самой обители, и Николай Алексеевич видел, как быстро Нулянс повлек туда итальянского посла.

— Я не очень понимаю вас, генерал, — сказал Репнин, когда они вновь вошли в сумерки аллеи. — Какая необходимость вам так безоговорочно и, простите меня, так слепо идти за великими державами? — Генерал остановился и внимательно и недоверчиво взглянул на Николая Алексеевича. Репнин медленно пошел дальше, однако, остановившись, увидел, что генерал не тронулся с места, его рослая, с квадратными плечами фигура была грозно насторожена. Репнин сделал еще шаг, но генерал продолжал стоять. Он словно говорил: «После всего сказанного вами нам говорить не о чем».

— Значит, вы полагаете, никакой необходимости? — вдруг произнес генерал, точно этому предшествовало неожиданное прозрение.

— Никакой!

Они продолжали свой путь.

— Поймите, генерал, у наших отношений другая природа. Будем откровенны. Великие державы заинтересованы в том, чтобы Россия продолжала воевать с Германией. Пошла Россия на Брест или нет — для них вопрос насущный именно по этой причине. А для вас? Очевидно, вам более важно другое: останется ли Россия вашей соседкой или льды полярного моря оттеснят ее на восток? Способна ли Россия покупать шведские генераторы и нет ли у нее тайных намерений против шведской короны?

— И в этой связи Швеция должна первой признать правительство Ленина?

Теперь остановился Репнин.

— Нет! — заметил он горячо. — Признание придет в свое время, и я бы считал неудобным для себя разговор на эту тему. Я об ином: к чему вам лишать себя суверенных прав настолько...

— Настолько, чтобы безотчетно следовать за великими державами и оставаться в Петрограде, когда надо быть в Москве? — с полууважительной интонацией закончил посланник мысль Репнина.

— Ну что ж... и такая формула меня бы устроила, — согласился Репнин. — Не думаю, чтобы это прибавляло достоинства суверенному шведскому государству.

Генерал вновь остановился. Он стоял и молчал. Солнце дотянулось оранжевыми лучами и до чистых седин генерала — они больше обычного горели. Репнин смущенно кашлянул и двинулся с места, но генерал продолжал стоять. «Да не взбунтовался ли генерал?» — подумал Репнин и внимательно взглянул на спутника, но вид его ничем не выдавал его состояния.

— Вы полагаете, такая политика не прибавляет ни авторитета, ни достоинства Швеции? — спросил генерал наконец.

— Ничуть!

— О-о..

Казалось, что только это «О-о!» способно было сдвинуть с места генерала.

— Я не могу сказать, чтобы доводы ваши были лишены резона, — сказал посланник, когда они вновь пришли к бревенчатому домику над рекой (Репнин отметил про себя, что бывший Нулянс еще удерживал там итальянского посла). — Но поймите и меня: то, что легкодается вначале, труднее осуществляется потом, тем более в дипломатии, здесь сила инерции иногда непреодолима.

— Вы полагаете, что и теперь нет средства, которое бы?.. — Репнин запнулся.

— Средство есть, — продолжил мысль Репнина генерал. — Да, оно есть: те самые турбины, на которые вы сослались достаточно убедительно.

У Репнина было такое состояние, как если бы он после многодневных и бесперспективных хождений по топким полям вдруг ощутил под ногами твердь, упругую и обнадеживающую прочную.

— Вы склонны думать, что декларация нового русского правительства о торговле с Швецией, как она видится нам сегодня, была бы уместна?

Репнин произнес «нового русского правительства» не без затруднения, и это не мог не заметить бдительный генерал. Увы, для правительства революционной России в сознании Репнина пока еще не было иного имени.

Генерал остановился, но в этот раз лишь на один миг.

— Декларация и... план?

— Да, так, чтобы было видно будущее.

— О-о!

Репнину показалось, что теперь это «О-о!» выражало одобрение.

Репнин пробыл в Вологде еще неделю; все эти дни здесь был и Радек.

Так непосредственно Николай Алексеевич впервые наблюдал Радека. В стремлении склонить дипломатов выехать в Москву Радек был динамичен, но это не дало результата — очевидно, решение было ими принято прочно и

вряд ли советская сторона могла изменить его. Но нечто другое все еще было возможно: сделать проблему предметом диалога — это всегда полезно. Однако сама фигура Радека и все, что сообщила, этой фигуре молва, затрудняли какой-либо обмен мнениями. Радек писал письма Френсису, послу и дуайену, а Френсис через голову Радека отвечал на них Чичерину. Впрочем, в этом случае письма Френсиса описывали соответствующий полукруг и над головой Репнина. Чтобы обрести ту степень единодушия, которую обрели сейчас дипломаты, надо было, чтобы Радек появился в Вологде. Это был тот самый пример, когда потеря личного престижа нанесла ущерб не столько дипломату, скольку делу, которое он представляет. Как был убежден Репнин, процесс, о котором он думал по дороге в Вологду, достиг своего логического завершения: оказывается, твоего умения и профессионального опыта недостаточно, если ты позволил небрежно обойтись с именем своим. Есть сфера деятельности, где этот процесс обратим. В дипломатии другие законы.

Репнини собирались в Москву.

Кедрова не было в Вологде, и их провожал Северцев.

Репнину показалось, что Северцев непонятно обеспокоен, и Николай Алексеевич спросил его об этом. Северцев встревожился еще больше, заметив, что ему худо из-за бессонницы — последние дни он спал считанные часы. Но когда впереди возник дымок паровоза, Северцев взял Репнина под руку и, отойдя с ним в сторону, сказал, что вчера на рассвете погиб Маркин.

Поезд отошел. Репнин с женой стояли у окна и смотрели, как тускнеют поля. Опять было светлое небо и поодаль в лесном море тонуло солнце. Маркин не шел у Репнина из головы. На память пришла Охта и разговор с Маркиным о возмездии. В том, с какой решимостью Маркин оставил дипломатию и ушел на фронт, было, как убежден Репнин, не различие к дипломатии, с которой Маркин связывал надежды жизни, а сознание, что он необходим России именно на линии огня. Наверно, в открытую атаку на тот мир были способны пойти только такие, как Маркин, — ключ к разговору о возмездии лежал где-то здесь. Репнин подумал: как он утаит печальную новость от жены и надо ли утаивать? Сейчас Анастасия Сергеевна была рядом. Состояние мужа передалось и ей. Она говорила, что дипломатическая Вологда была ей не по силам и, вернувшись в Москву, она примется за работу. Она будто подвела Репнина к разговору, которого

он так боялся. Надо было вспомнить питерских учеников Анастасии Сергеевны и сказать о Маркине. Но Репнин пощадил жену. Время умеряет боль — пусть пройдет время, решил он.

## 98

Если бы Петру сказали, что ему будет так худо после отъезда Киры, он бы, пожалуй, не поверил. Произошло что-то совершенно неведомое для него. Вначале его полонила жестокая обида — так хотелось, чтобы Кира осталась, он просил ее, как только можно просить, но она не вняла ему. На обиде этой он держался дня три. Потом она иссыкла, как высыхает на зноном солнце вода. Он пытался теперь припомнить, что говорил ей, и все слова казались ему тусклыми, лишенными живой крови. Он стал восстанавливать в памяти обстоятельства ее отъезда и неожиданно нашел деталь, которая все объясняла удивительным образом, все делала ясным, не оставляла места сомнениям. В самом деле, почему она вдруг с такой силой устремилась в Англию. В ее силах было не уехать, а она уехала — ведь Клавдиев остался в Москве!

Очевидно, там был кто-то такой, кто был дороже Петра и кого, это несомненно, нельзя было переселить в Россию. И как только Петр сделал это открытие, все стало ясным, и доводы, один убедительнее другого, стали возникать в сознании, и ни один из них не опровергал этого предположения. И Петр стал думать о том, что все освещенное их любовью: и ее родительский дом, и эти поля за городом, и взгорье, с которого они смотрели спектакль, и, наконец, море — осквернено прикосновением этого человека, все море, как бы далеко оно ни простидалось. Но проходили дни, недели, минул месяц. Боль была неутолимой. Он стал серьезно думать, что нужны другие сроки и другие расстояния, чтобы остыть это ощущение незатухающего огня.

Как-то он поймал себя на мысли, что ему легче. Даже стало как-то весело: он свободен от боли. Однако время побеждает все, сказал он себе. Он даже вспомнил, как однажды на кладбище увидел, у свежей могилы молодого мужчину и старуху, древнюю, очевидно, сына и мать. «Надо перебороть лето, только лето...» — сказала старуха, и Петр был удивлен, что сказала она это голосом, в котором не было участия, а была непонятная жестокость. Кто умер у человека? Наверно, жена. Ее он опустил в могилу. А старуха? У нее было сто лет за плечами, и она была мудра безбоязненной мудростью прожитого. Она так и сказала: «перебороть лето». Она-то знала, что надо дождаться осени. Только до осени. Он вспомнил библей-

скую истину: «Все проходит», — и улыбнулся очень горько. Кира? Он помнил всю ее, как только можно помнить женщину, которую очень любишь. Ему вдруг припомнились руки, которые она точно подставляла взгляду мужчины, когда хотела понравиться. «Ты заметил, как он посмотрел на мои руки? — могла сказать она. — Я почувствовала его взгляд кожей».

Все, что происходило с ним, было для него открытием. Ему было в диковинку, что он прожил столько лет и не знал, как слаб. Да, человек действия, неколебимый перед лицом смерти, он вдруг увидел, как велика в нем мера его слабости. Впервые в жизни он подумал, что не знает себя. Он стал думать, что навеки, сколько будет жить, будет любить эту женщину и только она может дать ему великое чувство удовлетворения жизнью, называемое счастьем человеческим.

Однажды за полночь, вернувшись домой, Петр вдруг увидел в полутиме глаза сестры. Наверно, весь этот месяц она вот так внимательно-пристально следила за ним, подумал он.

— Убьешь себя совсем, — сказала она.

Петр вспомнил Клавдиева. Захотелось увидеть его. Увидеть теперь же. Клавдиев не Кира, но от него до Кирьи ближе, чем от кого-либо иного. Петр решил идти на Воззвиженку. Знал, что это будет не просто.

Ему открыл Столетов. Едва опознал, шарахнулся во тьму — даже блика своего не оставил на изразцах. Петр шагнул в глубь квартиры. У самого окна, положив книгу на подоконник, залитый солнцем, сидел Клавдиев. Он взглянул на Петра. Смотрел, молчал, мрачно шевелил бровями; где-то на кухне гудел примус, гудел напряженно.

— Вы зачем пришли? — спросил Клавдиев наконец.

— Вас повидать, Федор Павлович, — улыбнулся Петр, но Клавдиев не отозвался на улыбку, он втянул нижнюю губу, отчего борода его приподнялась.

— Она давно доехала. — Он перевел взгляд на письменный стол. — Телеграмма пришла из Глазго.

Петр не нашелся, что ответить. Молчал и Клавдиев — они пытали друг друга молчанием. Только примус гудел — чем неодолимее было молчание, тем гудение ближе.

— Вы помните наш разговор о терпимости? — спросил Клавдиев, не глядя на Петра.

— Помню, Федор Павлович.

— Помните мою формулу: «Если правда монополизирована, нет правды»?

— Да, не забыл.

— Как же быть теперь, когда у вас исчезла последняя возможность критики?

— Как так... исчезла, Федор Павлович?

— Но ведь вторую партию прихлопнули? А если нет второй партии, нет и критики! А если нет критики, дорога столбовая в монархию!

Где-то открыли дверь, и гудящий примус будто возник рядом.

— Федор Павлович, а на кого должна опираться эта вторая партия в таком обществе, как наше? Какую политическую веру исповедовать? К какой цели стремиться?

Клавдиев встал, прямо пошел на Петра.

— Нет, тут я вам не помощник! Без меня заблудились, без меня и выбирайтесь из лесу. Революцию, если она революция, можно сбресть, если сбережешь возможность говорить друг другу правду, говорить прямо и честно, как бы тяжка эта правда ни была. Две партии эту возможность дают, одна исключает.

— Но ведь правду может сказать друг, а не недруг.

— Почему же? Чем отчаяннее правда, тем лучше.

— Но мне не нужна абстрактная правда, отчаянная и злая, Федор Павлович. Нужна правда, помогающая мне сохранить Октябрь и осуществить мой коммунистический идеал...

— А это уже от вас зависит, сбережете вы или нет свой идеал. Если вы сильны силой ваших идеалов, выдохните. Если хилы, туда вам и дорога!

— Значит, это риск?

— Ну что ж, пожалуй, риск!

— Но рисковать делом, за которое отдали жизнь миллионы, да и жизнь... вашего сына среди них, Федор Павлович, имею ли я право?

Клавдиев затих. Казалось, его воинственная энергия остановилась. На секунду остановилась. Потом он пришел в себя, взметнул ладонь.

— А вы думаете, что, отказавшись от возможности говорить друг другу правду, вы не рискуете делом, за которое отдали жизнь миллионы? И моего Колюшки жизнь...

Клавдиев умолк неожиданно, но Петр понимал, что где-то на оборванной его собеседником фразе сшиблась правда Клавдиева с его Белодеда, правдой.

— Мы молодая демократия, Федор Павлович, и нам еще торить и торить нелегкие наши дороги, но мы сбережем возможность говорить друг другу правду.

Дверь на кухню все еще была открыта. Слышно было, как кто-то накачивает примус короткими и быстрыми рывками.

— Поймите, если правда монополизирована... — убежденно начал Клавдиев.

— А вы не пугайте меня этой вашей формулой, Федор Павлович, — прервал его Петр. — Моя правда действительно монополизирована, и я считаю это справедливым.

Клавдиев онемел — только дрожала его бородка да грозная просинь выступила на желтых его щеках.

— Это какая же такая ваша правда? — спросил наконец Клавдиев.

— А та, что я добыл кровью, Федор Павлович, не было бы ее — смерть мне и революции моей.

Клавдиев молча закачался на каблуках.

— Я хочу вас просить об одолжении! — вдруг заговорил Клавдиев. — Не были бы вы любезны написать бумажку в министерский архив? Нет, не в питерский, а в московский?

Казалось, Петр воспрял: ну вот, разговор наконец пошел на лад. Да и дело доброе: Клавдиев решил вернуться к работе — это хороший признак.

— Разумеется, могу, Федор Павлович, да есть ли в этом необходимость? Приходите и работайте, я все сделаю сам.

Клавдиев встал — грохнувшись брови. «Ну вот, сейчас махнет всесильным своим хвостом, и все рухнет», — подумал Петр.

— Вы уже видите меня... государственным клерком? — Клавдиев принял раскачиваться, как там, в Глазго, с каблука на носок, с носка на каблук. — Совесть... на казенный замок, да?

Когда Петр вновь очутился в коридоре с изразцами, примус уже не гудел — он наверняка взорвался.

## 99

Наверно, нужна еще одна беда, которая все потрясет, все перевернет вверх дном и потом поставит на ноги, думал Петр. Беда, от которой померкнет небо. Да есть ли у него силы принять эту новую беду и совладать с нею? Ох, накличет он на себя горя горького!

Петр шагал и шагал: Смоленская, Зубовская, Хамовники... нет, он и не хотел в Хамовники... А куда он шел? И вновь Остоженка, особняки, ее каменные дворы, ее липы и каштаны, ее палисадники. Нет, здесь человек не поможет, да есть ли еще другой такой человек? Он остановился — где-то здесь дом Репиних. Не хочет ли он в Елене найти Киру? Петр постучал в окно — Елена, наверно, читала, да не один час просидела над книгой, и теперь, стараясь согреться, принялась растирать руки от запястья до локтя. Нечего сказать, молодость, в августе замерзла.

— Откуда вы в такое время? — заметила она, распахивая окно пошире.

Он просиял — как все-таки хорошо, что застал ее.

— Кто же сидит сейчас дома? — спросил он и подивился беспечно-радостному тону, с которым произнес эти слова. — Выходите, пошагаем!

Она передернула плечами — все еще было холодно.

— А не поздно ли? — вымолвила она и смешно наморщила нос; он видел, ей хотелось пойти, но не отпускали уютные сумерки дома, горящий ночничок под бумажным абажуром и, конечно, книга, ее тепло, ее воздух, такой обжитой, домовитый.

Они шли по Пречистенке, и он нет-нет краем глаза посматривал на нее: аккуратная головка с копной коротко остриженных мальчишеских волос и вообще она больше похожа на мальчишку. Нет, это не Кира. Но в глазах что-то жертвенное, жажда необыкновенного. Он не мог не подумать: и зачем он извлек ее из дома, оторвал от книги, с которой ей было так хорошо?

— Послушайте, Елена Николаевна, что такое женский характер? — Он все еще был со своими мыслями и не хотел с ними расставаться.

Она взглянула на него, чуть прищурив глаз, совсем по-мальчишески.

— Женщина в большом и малом неожиданна.

«Ей очень хочется быть старше, чем она на самом деле», — подумал Петр. Он слушал вполне серьезно — это воодушевило ее.

— Хотя она молится богу только мужского пола, казнит себя его казнью, но никогда не признает власти его над собой...

Белодед не удержал улыбки, она заметила это и тут же все обратила в шутку, — торопливость, с которой она это сделала, свидетельствовала, как ей не хотелось быть жертвой его иронии.

— Я ее возвеличила, эту женщину, которую вы знали? — спросила она и засмеялась, встряхнув мальчишескими кудрями. — Вы не хотите признать ее превосходство над собой? — Она продолжала смеяться.

Она пыталась выйти из положения с той же настойчивостью, с какой только что произносила свои аксиомы.

Сейчас они шли по Староконюшенному.

Ему показалось, что парадная дверь их дома распахнута, у самого крыльца стоит извозчик.

— По-моему, это у нас... — Они прибавили шагу.

Да, дверь распахнута настежь, впрочем, раскрыты и окна, в доме народ, слышны голоса, говорили где-то в глубине дома, быть может наверху.

— Войдемте вместе, — сказал он.

Он заметил, ее никогда ни в чем не надо упрашивать, если она это считает разумным, делает все легко и просто.

Они вошли. Послышался острый запах карболки, очень острый.

— Я так и знал — Лелька!..

Дверь вдруг распахнулась, и что-то круглое, закутанное с головы до ног вихрем выхватилось в коридор и чуть не сшибло Петра.

— Ты... Раиса? — вскрикнул Петр, он узнал соседскую девчонку.

— Ой, крест, крест!.. — закричала Раиса и помчалась дальше. — Лельке худо!

— Вот, сердце мне сказало!..

Он переступил порог. На кровати, той самой, никелированной, что мать привезла с Кубани, Лелька. Лицо пергаментное, и сама не толще пергамента, будто на белом чахоточном огне сушили сто лет и обратили в бумагу. Мать — в изголовье, скрестив руки, ненастна, словно небо перед степным бурелом, губы — клещами не разомкнуть. Увидела сына — глазом не повела, все железо собралось у нее в ту минуту в сердце, все железо, которое она в своей жизни калила, ковала и гнула.

Лишь сейчас Петр увидел человека, сидящего рядом. Белая рубаха была расстегнута, волосатые руки обнажены, лицо влажно, грудь, поросшая рыжими волосами, тяжело вздыхалась, человек шумно дышал. Видно, он только что ворочал пудовыми ящиками и, отчаявшись сдвинуть с места, присел отдохнуть, чтобы тут же вновь взяться за дело. И вообще у него было лицо не врача, а рабочего, много лет имевшего дело с металлом, с металлической стружкой; казалось, металлическая пыль намертво въелась в кожу, сделав лицо серо-стальным, неживым — ни солнце, ни мыло не возьмут металла.

— Жить будет? — спросил Петр.

— Дадим жизнь, будет, — ответил врач, не глядя на Петра. Встал и пошел вон из комнаты, словно приглашая идти за ним.

Петр пошел вслед, но в коридоре, который все еще был погружен во тьму, его остановил голос врача.

— Вы должны знать: ей очень плохо — брюшной тиф, где-то напилась плохой воды. Нет тифа злее, чем тиф... восемнадцатого года!.. Сердце... оно у нее и прежде было не богатырским, а тут!.. — Врач потряс кулаками и беспомощно опустил. — В общем, нужны ум и глаз день и ночь. И еще: отлучаться, даже как я сейчас, нельзя, отлучишься — убьешь!

Врач ушел. Петр продолжал стоять в темноте. Тишина мягко обтекала его, железная тишина белодедовского дома — неслышное дыхание Лельки, сомкнутые губы матери, тяжелые, точно вросшие в пол сундуки и комоды. Оказывается, можно накликать и беду. Вот и пришла она, вторая беда. Да, пожалуй, вторая... Попробуй прими ее на плечи, отрази сердцем: если и отражать, то сердцем, все остальное не выдиюпит, сдастся. Он подавил вздох и пошел за врачом; у окна, того самого, матового, стояла Елена.

— Я все слышала, — сказала она, и он вдруг почувствовал у себя на груди ее руку. — Что, если этим человеком буду я?

— Каким человеком? — Он еще не очень понимал.

— Тем, что на дни и ночи...

Елена точно приковала себя к никелированным прутьям Лелькиной кровати, к сумеркам комнаты, затененной остролистой ивой. Где-то на исходе первой ночи невидимо сомкнулись ночь и день. Сомкнулись и точно обрели один цвет, цвет желтого электричества, ярко-охристых стен, белесых простынь и изжелта-карих глаз Лельки, хотя в иное время они, наверно, были серыми...

## 100

В парадную дверь постучали. Стук был недолгий, но крепкий — стучали кулаком. Пошел открывать Петр. В дверях стоял красноармеец с винтовкой-трехлинейкой. А рядом чернобородый с проседью Вакула.

— Вот умолил человека доброго (кинулся он на часового) зайти в дом родимый — может, сухарей дадут на дорогу... Еду-то вон куда! — махнул он рукой и присвистнул.

— Ну что ж, заходи, сухарей, пожалуй, наберем, — молвил Петр и искоса посмотрел на брата — тот же полу военный френч цвета хаки и брюки галифе, однако все несвежее, обносившееся. — Только мать не пугай да еще вот... Лельку.

Видно, Вакула почуял, что при имени сестры брат запнулся.

— Лелька... или случилось что? — приободрился он и сразу стал хозяином положения.

— Сухарей мы тебе припасли, — ответил Петр и быстро вошел в дом.

Вакула оглянулся на часового, точно искал у него защиты от брата.

— Ты заходи, служивый, заходи, и тебе сухарей найдется.

Вакула не вошел, а вбежал в дом, устроился в Лелькину светелку и тут же возвратился обратно.

— Или нет Лельки дома?

— Нету, — сказала мать, вплывая в комнату и растирая ладонями щеки — она знала, что сон, как бы он ни был хороший, перекрашивает ее в желтый цвет.

Братья сели за стол, сели лоб в лоб, мать заняла место между ними. Взглянешь — не нарадуешься, нет семьи дружнее.

— Ну, чья взяла? — вдруг не сказал, а взвыл Вакула.

— Это ты о чём? — спросил Петр, он и в самом деле не очень понимал брата.

— Как будто и не понимаешь? — Он подмигнул матери. — Нет, серьезно не понимаешь?

— Не понимаю.

Он приподнялся, точно желая рассмотреть солдата, сказал:

— А все о том же. — Он вновь подмигнул матери. — Немец-то, немец-то ухватил за пальцы, потом хватил за локоть, а теперь, того гляди, голову откусит. Чья взяла? Нет, ты скажи при матери: чья взяла? — Он ткнул мать локтем. — Мать, не дашь ведь покривить душой?

Но мать хмуро смотрела на Вакулу.

— Будет, — произнесла она. — Скажи слово человечье.

Он расстегнул и застегнул ремень — щелкнула бляха, звонко хлопнула кожа.

— Я скажу, скажу... Вот послушай, мать, разве это слово не человечье? — Он опять приподнялся на цыпочки, будто хотел удостовериться, продолжает свою трапезу часовой или уже закончил. — Нет, ты послушай, мать, в марте они отдали Польшу и Лифляндию, а за одно и приняли контрибуцию. В мае положили под германский сапог половину Малороссии. В июне кинули к чертам собачьим Одессу и половину Крыма, а сейчас по доброй воле отдали, расписались и поставили печать под новым Брестом. Там встали перед немцем на колени, а тут распластались, уткнувшись рожей в землю, и немец гуляет по нашему хребту и мнет наши кости... мнет, мнет...

Мать зябко повела квадратными плечами.

— Будет, — произнесла она.

Но он, видно, долго копил все, что хотел сказать до конца.

— Добро бы немец был в соку и силе, а то хворый, совсем хворый, не сегодня-завтра ноги протянет, богу душу отдаст. Вместо того чтобы трахнуть его с ходу, с маху и пришибить, мы его на костили поставили, а того не понимаем, что костили не спасут. Не вы трахнете, другие найдутся, а будете мешать — ты чего глядишь на меня зверем? — и вас достанем! Не я — другой достанет! Ты понимаешь, что такое социалист-революционер? В нем и ярость и ум народа. Ты думаешь, миновал июль и все кончено? Нет, июль повторится в августе, а август в сентябре. — Он предусмотрительно отодвинулся от стола. — Ты мне ничего не сделаешь, не со мной будешь иметь дело, с охраной моей.

Но и того, что он уже сказал, наверно, было достаточно, чтобы гнев свел скулы и кулаки Петра — он кинул прочь стул.

— Тищенко! — окликнул Вакула красноармейца. — Наш час вышел, пора, пора. — Вшел часовой, увязывая на ходу мешок. — Бери свою пушку и веди меня, — сказал Вакула, оглядывая смеющимися глазами брата. — Только, чур, сторожи, а то разные чужие тут ходят,

мирных людей пугают. — Он остановился. — Ты думаешь, июль кончился? Ему и летом, и осенью конца не будет. Нынешний июль високосный, в нем сто дней!

Вакула ушел. Петр вспомнил тот июльский вечер, когда в Неглинном проезде увидел арестованных, идущих под конвоем, и пытался разыскать среди них Вакулу. Вспомнил, как тревожился и жалел брата, забыв про все обиды. Вспомнил и выругал себя, что готов был простить Вакуле то, что, наверно, прощать не надо.

## 101

Не прошло и полугода, как наркомат переехал в Москву, а в нем уже возникли свой ритм жизни, свой быт. С этажа на этаж шествует пышноусый старик с внешностью румынского короля Кароля. «Ковры пора убрать! — произносит он, похваляясь баритоном. — Пусть летом ходят по мрамору!» Трое парней в черных костюмах и в таких же черных негнущихся шляпах волокут вализы, сшитые из крепкого брезента. «Эх, тяжел ты, мешок дипломатического курьера!» У окна, выходящего на площадь, столпотворение: корреспонденты пытаются занять позицию с утра — по слухам, у Чичерина должен быть новый германский посол. Стайка юных женщин, совсем юных, носится по площади — то ли жены молодых дипломатов, то ли их невесты. Подобно корреспондентам, у них все смутно: ни точной позиции, ни точных часов встречи. По лестнице сбегает наркоматский портной. «Кто шлет сегодня фрак с шелковыми лацканами? — спрашивает он, выставив указательный палец и стремительно наматывая на него сантиметр. — Нет, вы скажите мне: кто?» — настаивает он и так же стремительно принимается сантиметр разматывать. «Какой там, к чертовой матери, фарфор, когда жрать нечего! — вопрошает человек в сапогах, медленно шагая по лестнице со стопкой тарелок из тончайшего фарфора, и каждый его шаг отдается грозным эхом: «гох!.. гох!» — Вчера дали полфунта, а нынче осьмушку! Вот грохнули всю эту батарею об пол, вот тебе и на двенадцать персон!» Дамы в пыльных бархатных шляпах почти шарахнулись в сторону: «Господи, кто сегодня в России знает латынь? Вымерли, как мамонты!»

Петр неожиданно встретил Чичерина у самого входа в наркомат. Георгий Васильевичшел от Александровского сада.

— Здравствуйте, Белодед, — приветствовал он Петра. И обратил глаза на книгу, которую держал. — Вы бывали когда-нибудь в Зальцбурге?

— Да, Георгий Васильевич, и не однажды. Какое пиво там у монахов!

— Пиво? Нет, я не об этом. — Чичерин продолжал смотреть на книгу, она была в синей коже с золотым, давно выцветшим тиснением.

— Георгий Васильевич, ваш секрет проник и за кордон: русский министр иностранных дел задумал книгу о Моцарте.

— Ну, ну, это уже легенда. — Чичерин раскрыл синий томик, который держал в руках, и тут же захлопнул. — Что же касается пива у зальцбургских монахов, то вечером мы обсудим и это. — Чичерин направился к двери.

Весь этот летний день, долгий и знаменитый, Петр нет-нет да вспоминал свою утреннюю встречу с Чичериным, вспоминал не без улыбки — все-таки Георгий Васильевич не мог отказать себе в удовольствии задать своему собеседнику задачу с Зальцбургом и Моцартом. И вначале по ассоциации с этой встречей, а позднее и вне связи с нею на память Петру то и дело приходил Зальцбург: его узкие средневековые улочки, ломаные, мощенные камнем, спускающиеся под гору или в гору поднимающиеся, с темными каменными арками, украшенными надписями, которые источали дожди и время. И хлопотливые станы монахов, и степенно-церемонные станы богатых иностранцев, и, конечно, проститутки на углах улиц, на геометрических углах, — угол дома упирается в позвоночник. И площадь посреди города, окруженная пятиэтажными домами, не площадь, а городской дворик — квартира Моцарта на третьем этаже одного из этих домов. Петр помнил низкие, точно сплющенные комнаты этой квартиры, окна, выходящие в городскую полумглу, каменную, безнадежно серую.

Позвонил Чичерин.

— Все оборачивается круче, чем можно было предположить. Немцы хотят вписать в дополнительный протокол новые требования. Хочу поговорить, хотя вряд ли это удастся сделать раньше вечера.

Действительно, второй звонок от Чичерина раздался около полуночи. Белодед направился к наркому.

В комнате секретариата было тихо. Мягко отсвечивал гофрированный панцирь, наглухо закрывший секретер, комната была пуста, ночную вахту Чичерин нередко нес сам. На паркете лежала полоса бледного света — дверь в кабинет была открыта.

— Это вы, Петр Дорофеевич? — послышался голос Чичерина.

Петр увидел просторный кабинет наркому, красноватый блеск ворсистого ковра, свечение полированной мебели, от свет настольной лампы в окне и, как всегда в полночный час, уже не

бледно-смуглое, а восковое с просиной лицо Чичерина.

— Вот прочел старинную монографию о Зальцбурге. — Перед ним лежала книжка в синей коже, которую он держал в руках, когда возвращался из Румянцевской библиотеки. — Историю города нельзя понять без знания монашеских орденов.

Чичерин сказал: «монашеских орденов». Перед глазами Петра встали стрельчатые окна большого зальцбургского собора, холодноватая полутьма внутри, икона божьей матери и на стекле, укрывшем икону, вместе с суматошным и радостным сиянием полуденного света блеск и движение автомобилей, идущих через площадь. Там, в туманной тьме собора, старое неожиданно встретилось с новым.

— Зальцбургские францисканцы народ более предприимчивый и светский, чем римские, — сказал Петр. — Дальше от Рима — больше светскости и даже светской воинственности.

Чичерин усмехнулся:

— Да, там вера держится не столько на вере, сколько на кулаках.

— Немцы драчливы не по силе своей, — сказал Петр уклончиво и вдруг заметил, что неожиданно приблизился к самому главному, что должно составить предмет разговора с Чичерином. — Все, что здесь стоит, — Петр кивнул на большой красного дерева книжный шкаф, в котором Чичерин берег литературу по германскому вопросу: германист, он считал этот вопрос для себя насущным, — свидетельствует об одном: истоками всех ошибок немцев была переоценка своих сил и недооценка сил противника.

— Вы хотите сказать, что в оценке своих сил мы не пошли дальше кайзера? Те, кто атаковал нас шестого июля... — Он не окончил фразу, но Петр продолжал в своем сознании: «думали так же».

Чичерин встал и пошел к вешалке, стоящей в дальнем затененном углу, там висело демисезонное пальто с аккуратным плюшевым воротником и шляпа — те самые пальто и шляпа, которые были на Чичерине, когда в ненастный лондонский вечер Литвинов и Петр везли его из тюрьмы.

— Нет, они думают о другом, — сказал Чичерин, снимая пиджак и водружая его на вешалку. — Непросто сохранить позиции и ответить на требование отказом, атаковать, вступить в войну, схватиться. Вы представляете себе последствия этой позиции для нас? — Чичерин возвращался к столу в жилете.

— Вы полагаете, достаточно нам схватиться, как союзники заключат перемирие? — спросил Петр.

— Не исключено и это, — заметил Чичерин. — Вы же знаете, как это бывает в жизни... не обязательно быть самым сильным, что

бы победить, иногда надо быть самым... предусмотрительным.

— Но Владимир Ильич полагает, надо ждать? — спросил Петр.

— Что полагает Владимир Ильич, он вам скажет сам — я иду звонка через семь минут.

Но в этот раз семи минут не прошло — раздался звонок, звонок резкий и, как показалось Петру, требовательный, и Белодед увидел, как мягко разгладились брови Чичерина.

— Да-да, Владимир Ильич. Нет, почему же... Все телеграммы из Берлина говорили о стремительном нарастании... не расслышал. Я сказал, нарастании, да, разумеется, революционной ситуации... Кайзер? Кто поддерживает? Даже не армия, а высшее офицерство! — Он умолк на минуту, выражение лица стало не просто суровым, а грозно-торжественным. — Нет, он здесь, рядом со мной. А мы его сейчас спросим. — Чичерин перевел взгляд на Белодеда: — Владимир Ильич хотел бы знать, что подсказывает вам знание германских дел?

Петр задумался. Неужели Ленину действительно в такой мере необходимо знать мнение Петра, или он делает это с другой целью? Петр и прежде убеждался: Ленин дипломат, хоть и не очень хочет в этом признаваться. Так с какой же целью он это делает? Иногда и для него вот такой радостный знак симпатии предшествует большему: он точно желает показать, как ценит человека.

— Владимир Ильич, я прошу Белодеда сказать вам свое мнение непосредственно, — произнес Чичерин не без вызова. — передаю ему телефон.

— Здравствуйте, Владимир Ильич...

Но ответа не последовало. Белодед лишь услышал, как загудела мембрана телефона и голос, глухой и растекающийся, совсем не похожий на голос Ленина, произнес: «Четверть фунта... Четверть!» Больше ничего не услышал Белодед, кроме этого «четверть фунта», но Петр вдруг почувствовал, как тоскливы холод подобрался к самому горлу: и в этот полуночный час у Ленина не было дела насущнее, чем добить эти четверть фунта.

— Здравствуйте, товарищ Белодед! — вдруг услышал Петр голос Ленина совсем рядом и едва не обернулся. — Не находите ли вы, что немцы раскололись в своем отношении к нам, раскололись невиданно? Вы понимаете меня? Мирбах ими не отомщен... Вы понимаете меня, товарищ Белодед?

— Владимир Ильич, вы говорите о диверсии, которая возможна? — спросил Петр.

— Так мне кажется, — ответил Ленин.

— Тогда что делать нам, Владимир Ильич? — был вопрос Петра.

— Вот об этом вам сейчас и скажет товарищ Чичерин,

Он положил трубку.

Петр взглянул на Чичерина: тот стремительно пересек комнату — он был взволнован не меньше Петра.

— Так поняли, о чём идет речь? — спросил Чичерин, остановившись в дальнем углу кабинета, вид у Георгия Васильевича был воинственно-храбрый, по всей вероятности, то, что он намерен был сказать, имело прямое отношение к этому виду Чичерина.

— Смутно догадываюсь, — ответил Петр.

— Вы едете в Германию со специальной миссией.

— В. Берлин? — мог только произнести Петр. Признаться, о такой перспективе он не мог и смутно догадываться, видно, в Берлине события действительно приняли неожиданный и обнадеживающе крутой оборот и в порядок дня ставилась... активная дипломатия.

Активная дипломатия? Какая же, к черту, здесь дипломатия, когда речь идет о революции в Германии? Бастует половина Берлина, по ночам поезда летят под откос и снаряды вдруг отказываются взрываться, неуклюже плохаясь в свежую землю прирейнских берегов, и лежат там в ложбинах и вмятинах, как годовалые свиньи в миргородских лужах. О какой дипломатии, даже активной, может быть речь, когда пришла революция?

— Значит, летучий голландец жив, Георгий Васильевич?

Чичерин взглянул на Петра, точно хотел сказать: «А я полагал, что столь несложная истина тебе доступна...»

— Придет время, и мы припишем вас, Петр Дорофеевич, к английскому, немецкому или турецкому столу, а стол этот... якорь. — Он засмеялся, отвел глаза. — А сегодня революция, и нам нужны дипломаты, которых не обременит ни наше доверие, ни трудность задачи... Короче, вы и советник и, если хотите, дипломатический курьер. Не ищите эту должность в табелях иностранных ведомств: ее придумала революция.

Петр заметил, что Чичерин обращался к этой мысли не впервые, при этом однажды и в разговоре с Репниковым. Георгий Васильевич, очевидно, полагал, что оперативность является знаком революционного времени и Комиссариату иностранных дел нужны дипломаты, у которых опыт и зрелость сочетаются со смелой настойчивостью.

Они сидят сейчас за журнальным столиком в дальнем конце кабинета, и Чичерин тянется к шкафчику, врезанному в стену.

— Простите, но проголодался я отчаянно. Не угодно ли кусок черного хлеба с сыром? Сознаю, этот бар знал лучшие времена, как сознаю и то, что он должен быть богаче у дипломата и теперь, но... кстати, была у меня здесь

бутылка старого рейнского, привез друг газетчик из Риги. Пусть вас не смущает: не марочное. — Он извлек из шкафчика бутылку, она была без обычных в этом случае ярлыков, черная и неприятно обнаженная. — Сказал: пролежала в земле пропасть годов, и на стекле спеклись комья глины, драгоценной глины, которая вдруг становится драгоценной, когда укрепляется на бутылке со старым вином. Но до меня бутылка уже дошла чистенькой, впрочем, на качестве вина это не отразилось, вот убедитесь. — Чичерин пододвинул Петру бокал, налил, потом нещедро плеснул себе — он был небольшим любителем вина и в эту августовскую ночь восемнадцатого года кусок черного хлеба с овечьим сыром был для него несравненно более насыщенным, чем бокал вина, даже вот такого экзотического. — Ну как... правда, букет отменный? — спросил он и, сознавая, что сказал нечто очень обычное, добавил: — Глоток хорошего вина да еще с таким великолепным бутербродом, как этот, дипломатии не противопоказан.

— Это миссия действительно дипломатическая, — заметил Чичерин. — Нам стало известно — против нас готовится диверсия. Повод — Мирбах. Точнее, Советы не наказали убийц Мирбаха. Цель — разрыв отношений. Поход ведет юнкерство. Это могущественная сила. Но еще внушительней сила, которая юнкерству противостоит. (События развиваются, и одни силы тают, другие призывают. Наши силы призывают — это хорошо.) Необходимо выехать в Берлин и сделать нашу позицию достоянием Германии. Вот наша программа, как видим ее мы: политика, экономика, культура... Вы понимаете, свободный разговор, нет, не только с прессой, но и с аудиторией, встречи с людьми, обладающими влиянием.

Они встали. Петр видел, как Чичерин расставляет бокалы в шкафу — он это делал с той тщательностью, которая выдавала человека, знающего цену горькому холостячеству.

## 102

Петр не видел Елену больше недели. Она поставила Лельку на ноги и ушла. Ушла и больше не приходила. А чего ради она должна была прийти? Она оставалась у Белодедов лишь для того, чтобы вернуть жизнь Лельке. Сделала это и ушла. Иного дела у нее там не было.

Где-то неподалеку от храма Христа Спасителя он купил у старика в куртке железнодорожника букет гладиолусов и пошел на Остоженку. Уже по дороге вспомнил, что на днях вернулся из Вологды Репнин с женой и они могут встретиться. При всех прочих обстоятельствах он был бы рад этой встрече, но сегодня?

Он постараётся сделать, как в прошлый раз: постучит в окно. Кстати, уже стемнело, и это сделать легко.

Еще издали он заметил, окна распахнуты. Он подошел к крайнему справа и приподнялся на цыпочки. За окном было тихо. Захотелось, как это делают мальчишки со своим первым букетом, бросить цветы в окно и убежать.

Он позвал Елену.

— Я хочу куда-нибудь далеко, — сказал он, когда она появилась в платьице из светлого шелка с красной гарусной кофтой в руках.

Он сказал «далеко» и увидел лесистые уступы Воробьевых гор, церквушку на скате, мягко поблескивающую воду, неожиданно просторные поляны на берегу и старые дубы, дремучие, задумчиво-мудрые.

Они поднялись на высокий берег Москвы-реки, вышли на дорогу и далеко за заставой очутились в рощице, мокрой и топкой, потом в таком же мокром лесу, березовом да осиновом, с остролистой и жесткой травой, с озерцами непросыпающей воды, сейчас лиловово-розовыми, под цвет предвечернего неба. Здесь повсюду было студено, осень шла в Москву по мокрым лесам. Лес дышал свежей смолой и сумеречностью.

— Сядем... вот здесь, — сказала Елена, указав на ствол старой березы, лежащей на сажевой опушке.

С поля тянуло ветром с каждой минутой все ощущимее. Всю дорогу, пока они искали вот этот холм и эту березу, они говорили о Лельке. Петр полагал, что Лелька дала себя увлечь черному воинству, увлечь и обмануть. Петр не банил сестру, но в словах звучала и боль и досада. Елена, наоборот, жалела Лельку, жалела и оправдывала, видела во всей ее истории беду, которая могла сгуститься и с ней, Еленой.

— Но если такая же история, — спросил он быстро, — приключилась бы с девушкой, живущей напротив вашего дома, вы пришли бы ей помочь точно так же?

Она не сводила глаз со взгорья, над которым передвигался дымок — где-то за взгорьем была железная дорога, там сейчас показался поезд.

— Пришла бы...

— И остались бы с нею на ночи и дни?

— Осталась бы!

Ее ответы, внешне бесстрастные, вызывали досаду. «Кривит душой?» — не мог не подумать он. Хотелось верить, что она осталась не просто из человеколюбия, а потому, что это был его дом, семья, сестра... он сам, наконец!

Она взглянула на него, и впервые в этот вечер он увидел ее глаза, непристальные, затянутые ненастаем, которое делало эти глаза непривычно большими и странно печальными, безбоязненно открытые и честные глаза, и подумал: «Ну конечно же, она осталась бы! И дело не в

Лелька — с кем бы ни приключилось несчастье, Елена вызвалась бы помочь. И как он мог подумать о ней иначе? В эти месяцы потому так часто и так упорно думал о ней, потому искал встречи, потому, наконец, и оказался здесь, в мокрых подмосковных лесах, что это была она.

— Человек должен понимать, что он не птица, — произнес Петр, не сводя остро испытующих глаз с Елены. — Он не может так просто вспорхнуть и улететь. — Он продолжал смотреть на Елену, пытаясь установить, насколько хорошо она понимает его. — Человек обременен сознанием, словом, наконец, которое он дал, если у него даже нет на руке обручального кольца, — взглянул он на золотой ободок, стянувший ее палец.

Он взял руку Елены и попытался снять кольцо — оно поддалось. Он вынес кольцо на свет. «Любовь — нет ее храбрее», — прочел он и, поймав себя на мысли, что прочел вслух, смущился.

— Это написала ваша мама?

— Нет, я.

— Ваш девиз? Что он значит?

— Жизнь, — сказала она. — Верность... — добавила она задумчиво.

Она медленно подняла на него глаза, с трудом оторвав от сизой полоски взгорья, на которую смотрела; в этом взгляде было сейчас немного храбрости, он это понимал.

— Если пойти прямо, мы дойдем до станции, — произнес он — его дыхание пресеклось.

Она встала, не успев отступить, и плечо ее коснулась его руки. Наверно, и она понимала, как это страшно, она от него отпрянула, но он удержал ее, ощущив в ладонях ее плечи; если бы она попыталась защититься, уперев крепкие локти в грудь, он бы, очевидно, потерял голову. Но Елена была сейчас такой незащищенно робкой, в такой мере в его власти, что сама ее робость обратилась в силу и остановила Петра.

— Диву даюсь, — сказал он, стараясь приладиться к ее неширокому, но быстрому шагу. — Лелька с ее строптивостью и злостью вдруг признала вас.

Елена засмеялась, она не хотела скрывать, что ей приятны его слова.

— Вы говорите так, будто до меня был кто-то другой, кого она не признала.

Петр точно оступился.

— Она вам сказала?

— Нет, это я поняла из ваших слов.

— Вы хотите, чтобы я подтвердил?

— Нет, зачем же?

— Тогда извольте, был такой человек.

Теперь она пошла тише.

— Только, ради бога... как говорит Патрокл: я хочу быть сама по себе.

— Патрокл? Вы обещали объяснить... почему Патрокл?

— А я, право, не знаю. — Она задумалась. — А может быть, знаю? Патрокл... Это же так на него похоже! Патрокл, верный друг Ахилла... верный, без страха...

Они добрались до Остоженки лишь к полуночи. Елена открыли дверь тотчас. Когда светлое платье Елены растущевалось в темноте и осторожно закрылась дверь, Петр поднял глаза к окну рядом и едва не отпрянул. В окне стоял Репин.

## 103

Осень восемнадцатого года была еще тепла, когда упал снег. Он лежал на листве, не тронутой осенним багрянцем. Потом ветер сменился, небо поголубело, явилось солнце и тепло, на грунтовых дорогах взвилась пыль. О снеге вспоминали не без юмора: зима среди лета! Только зелень не воспринимала юмора — снег был не по ней. Листва, так и не приняв красок осени, пожухла и осыпалась, листья желтели на земле. Солнце и обнаженные деревья — поистине необычайной была осень восемнадцатого года.

В раннем снеге и белой замети вдруг стал зримым грозный лик русской зимы. Из черных посольских сундуков извлекали дохи и меховые шапки, обсыпанные нафталином, как инеем. Погасли огни на Дворянской в Вологде, опустело Осаново — дипломатическая Вологда подала в отставку. На запад, к Питеру, а потом резко на север, к Мурманскому, по ломаной прямой, будто ее прочертли не по топи русского севера, а по лилейной белизне ватмана, ушел поезд с вологодскими дипломатами. Только бы добраться до Мурманска! Мурманск — дверь в Россию и из России, распахнутая настежь. Еще короткий мир, и дипломаты выйдут в эту дверь, не отказав в удовольствии ею хлопнуть.

Вместе с черными посольскими сундуками со скарбом, вместе с коврами, обернутыми в рогожу, и ящиками с посольской посудой и серебром, вместе с тюками, кулями, коробами, узлами, полными посольского добра, из Вологды на север подался весь многоцветный и многоязычный сонм посольской знати и челяди, не исключая поваров, письмоводителей, священников, шифровальщиков, вахтеров, экономов и, разумеется, учителей русского языка.

У посла персональная языковая опека. Русскому языку его учит мадам Кноринг. Она не переоценивает данных посла и полагает, что он сделает успехи, если характер мадам Кноринг будет железным до конца. Не беда, что педагогине за семьдесят и что образцом грации она считает Софию Федорову, а образцом мужской красоты Александра III. Главное — в железной воле старой женщины, в ее умении заставить трепетать своего почтенного ученика. В посольстве знают: никого посол так не боится, как ма-

дам Кноринг. Когда поутру целеустремленная педагогиня появляется в посольстве и занимает свою позицию у выхода из квартиры посла, почтенный дипломат начинает метаться в своих апартаментах, как мышь, почувствавшая приближение кота; надо улизнуть от мадам Кноринг и нельзя — у квартиры одна лестница. Человек, перед кабинетом которого стоят в очереди промышленные, финансовые, земельные магнаты, человек, который не всегда ходит на прием к министру, предпочитая, чтобы тот являлся к нему, человек, чувствующий себя на равной ноге и с государем и с патриархом, пусть смерти боится красного карандаша мадам Кноринг и, получив тетрадку, расцвеченнную этим карандашом, спешит упрятать ее за три дверцы своего стального шкафа, как редко когда прячет нансекретные бумаги.

У мадам Кноринг есть мечта. Осуществясь она, мадам Кноринг, пожалуй, обрела бы сознание, что прожила жизнь не напрасно. В сущности, этому была посвящена если не жизнь почтенной педагогини, то ее последние годы. Мадам Кноринг мечтает увидеть своего почтенного ученика, произносящего речь. Разумеется, по-русски. Попытки были две, отчаянные. Первая: «Общность исторических судеб двух великих народов». Но это оказалось не по силам послу: не выдюжила память — речь пресеклась еще до победы американского Севера над Югом. Потом была вторая попытка: «Общность экономических интересов». Силы посла иссякли еще до того, как речь зашла о поставке в Россию американских жатвенных машин, которые движутся по полю, увлекаемые табуном лошадей. Но воля тщеславной педагогини не знала границ. Там, где посол готов был капитулировать, полная решимости мадам Кноринг продолжала атаку: «Общность военных интересов двух великих народов». Нет, рациональная мадам Кноринг заставит зайца зажигать спички! Пусть презренный заяц пишет русские слова хотя бы латинскими буквами, но речь произнесет!

А сейчас утро, посольский поезд, прибывший накануне в Мурманск, еще стоит на запасных путях, а бдительная педагогиня уже поместила на черном сундуке, стоящем возле купе посла — как некогда на Фурштадской в Петрограде и позже на Дворянской в Вологде. Ничто не в состоянии обмануть зоркости мадам Кноринг.

Но, кажется, произошло чудо, быть может, физиологическое, а возможно, педагогическое: посол заговорил по-русски! Уже давно ночь занавесила окна вагона светлыми северными шторами, уже давно сон сморил мадам Кноринг, и она тихо дремлет на своем черном сундуке, а посол бодр и полон сил. Он усадил перед собой всех, кто способен слушать: и секретаря-

переводчика, и щефа посольского протокола, и лунного человека, и, разумеется, военного атташе. Нет, бывают же чудеса на свете: посол заговорил по-русски!

— Говорят, что мы в Мурманске потому, что сюда не только легко войти, но отсюда легко и выйти. Неверно!

Да, в речи, где русские слова изображены латинскими буквами, посол стремится убедить мятежную Россию в преимуществах старого порядка над новым. Посол уже может говорить об успехах союзнического оружия на русской земле! Британский крейсер «Атентив» расстрелял в упор береговые батареи острова Мудьюг и открыл войскам вход в Архангельск. От Мурманска до Архангельска, от Архангельска к Вологде, от Вологды к Москве! Сколько надо войск, чтобы взять Москву? Сто тысяч — более чем достаточно. А с востока идут чехи — о чехах забывать не надо! Правда, первые бои на пути к Вологде были наихестокими, но терпение и настойчивость все победят — на Москву!

Была осень восемнадцатого года.

Репнину решили, что Николай Алексеевич съездит на два дня в Питер — не все дела по переезду в Москву были устроены. Поезд был полупустым и ушел с опозданием на час. Москва осталась позади, объятая дождливым мраком и туманом, совсем осенним. Медленно про плывали дощатые платформы подмосковных дачных станций, черные от дождя, широкие, похожие на плоты. Москва будто удерживала поезд силой своего притяжения, вот выйдет он за пределы магнитного поля и тогда наберет скорость.

Тревога, идущая исподволь, все нарастающая, от которой не убережешься, взяла в плен и Репнина — казалось, что она, как призывающая вода, подберется к самым шлюзам и сломит их... Перед отъездом в Питер Репнин говорил с Чичериным — Георгий Васильевич не скрывал, что после июльского взрыва не сталотише. Куда устремит Россию ее трудная судьба, по каким косогорам?

Где-то за Клином Репнин невольно прислушался к разговору, происходящему у окна. Наверно, говорил питерец — есть в говоре жителей северной столицы своя отчетливость, чуть-чуть торжественная. Голос был слышен даже тогда, когда человек переходил на шелот.

Трех фраз было достаточно, чтобы Репнин понял, что речь шла о событии, произшедшем в салтыковском дворце у Троицкого моста, который все еще был занят под английское посольство. История казалась необычной даже для петроградской хроники восемнадцатого года, которая не была бедна событиями. Чека получило сообщение, что в салтыковском двор-

це происходит нечто вроде конференции английских агентов. Дворец был оцеплен. Когда отряд чекистов проник в здание, то оказалось, что оно полно дыма — во дворце жгли бумаги. Не без опаски чекисты прошли вестибюль и вступили на лестницу, ту самую, на которой обычно встречал своих гостей Бьюкенен. Выступили знаменитые зеркала против входной двери — здесь дым был не так густ. Заветные три ступени и на этот раз преодолеть было несложно — сработала система зеркал и раздались выстрелы. Позднее выяснилось, что на лестнице, где было традиционное место Бьюкенена, стоял, обнажив пистолет, военно-морской атташе Кроми.

Англичанин сразил наповал чекиста, идущего впереди. В следующий момент упал с пристреленной головой и сам Кроми.

Репнин слушал рассказ незнакомца, и в памяти встал январский вечер восемнадцатого года, пестрая стая питерских аристократов, атакующая столы расчетливых англичан, беседа с сэром Джорджем Бьюкененом о путях новой русской дипломатии и руки сэра Джорджа, лежащие на столе без признаков жизни.

Репнин вышел в коридор. Незнакомец (не старый человек в офицерском кителе с отпоротыми погонами) продолжал свой рассказ.

— Стены посольства уже никого недерживают, если огонь перенесен за их пределы! — произнес незнакомец. — Линия фронта пересекла апартаменты посла, и «максими» ведут огонь по кабинету первого советника! Вы улыбнулись иронически? — обратился человек в китеle к Репнину.

— Как следует из ваших же слов, не столько по апартаментам, сколько из апартаментов, — заметил Репнин.

Человек в китеle смущился:

— А это уж как когда!

Дверь купе в дальнем конце коридора открылась, и вышел Кокорев, одетый необычно: пиджак, косоворотка, брюки в сапогах.

— Николай Алексеевич, нам с вами никак не разминуться! — произнес он, быстро приближаясь. — Еще в Москве до отправления поезда мне показалось, что я услышал ваш голос.

Действительно чудо, и не только по той причине, какую имел в виду Кокорев. Чудо в другом: разговор, который только что услышал Репнин, будто вызвал сюда Кокорева.

— Заходите, Василий Николаевич (время не обскакешь — Репнин может назвать Кокорева так), в купе я один. Вы надолго в Питер?

— Дня на три... Даэржинский там.

— События переместились? — спросил Репнин.

— Нет, почему же? Эпохе Локкарта достигла своей кульминации, Локкарт — это Хлебный переулок в Москве.

— Разве это все еще его адрес? — спросил Репнин.

— Нет, — ответил Кокорев. — С той ночи, — пояснил он. — Признайтесь, что вы не очень верили, что Локкарт пойдет так далеко?

Репнин сел удобнее, опершись спиной о стену вагона.

— А я и сейчас принимаю это до определенного предела.

Кокорев не мог скрыть улыбки — он будто хотел сказать: «В известном возрасте человек нелегко расстается со своими заблуждениями».

— А вы знаете, что произошло?

Что имел в виду Кокорев? События в Хлебном переулке? Всю эту историю, которая пошла по Москве под названием «арест Локкарта»? Это имеет в виду Кокорев?

— Я хочу знать, что произошло, — сказал Репнин с той грубой прямотой, какая у него обнаруживалась не часто.

— У вас есть два часа, Николай Алексеевич?

— У меня есть ночь.

— Вряд ли от вас потребуется такая жертва, — сказал Кокорев и улыбнулся, улыбнулся рассеянно, думая уже о том, что намеревался рассказать Репнину. — Должен признаться, Николай Алексеевич, сомнения, и немалые, были и у меня. Все произошло, как вы знаете, в ночь на первое сентября. Когда во тьме встало это шестистороннее здание в Хлебном переулке, очень плоское, зауженное, не без претензии на моду, я, признаюсь, подумал: почему Локкарт поместил свою резиденцию в многоэтажном доме, а не в особняке, как живут обычно люди его круга? Чем объяснить это: неискренностью или желанием иметь по соседству таких, как он сам? А может, все от молодости, от щегольства — для него комфорт не роскошь, а потребность. Мне тоже нравятся эти новые дома, построенные в начале века, — их много в Питере на Каменноостровском. Есть в этих домах нечто от прогресса времени. Нет, не только лифт, паровое отопление, электричество — сам стиль дома, обилие стекла и камня, высокие потолки, простор... Этот шельма Баскаков был человеком расчетливым, он и хозяин, он и подрядчик: строит первый этаж, а подвал уже сдал в аренду, строит второй — сдал первый и так до самого неба, лишь бы фундамент был толстым, лишь бы основа выдерживала! Хоть он сдавал по этажам, а подобрал квартирантов один к одному: генералы в отставке, присяжные поверенные, крупные чиновники, знатные иностранцы. Я не знаю, жил ли здесь Локкарт, когда был вице-консулом. В доме один подъезд, и это облегчило нам задачу. Был комфортом заметно поубавился в этом новом доме — восемнадцатый год! Лифт не работает, электричество на лестнице выключено, и свет от наших

зажигалок поскакал по бугристому восьмиграннику, которым на лестничных площадках застеклены просветы. Вот так, размахивая зажигалками, пошли на пятый этаж. Шел, думал: как-то встретит Локкарт? Представьте ощущение чисто психологическое: месяцы и месяцы держать человека в поле зрения, думать о нем день и ночь, знать его так, как, наверно, знают его немногие, и потом встретиться лицом к лицу в той своеобразной обстановке, в какой предстояло мне встретить его этой ночью. Стук в дверь, заспанный голос секретарши, узкий коридор, точно улочка в средневековом городе, и, совсем как в таком городе, коробка уличного фонаря над головой вместо абажура. А потом разговор с Локкартом, который поднялся с постели так проворно, точно ждал нас еще с вечера, а мы запоздали и пришли за полночь. Как сейчас вижу, Локкарт сидит на оттоманке. Уши чуть-чуть оттопырены (он из тех, кого зовут лопоухими), толстые губы сомкнуты, но дышит тяжело — видно, безнадежно простыл. Удущливо пахнет маслянистым кремом, которым смазаны его волосы... Разумеется, обыск очень щадительный. Нет, это не просто холостяцкая квартира, пожалуй, квартира-контора с секретарем и служами, которые живут тут же, квартира-штаб, где все шесть комнат, даже гостиная и спальня, не столько приспособлены для жилья, сколько для работы, где батареи полных и пустых бутылок, которые никуда не упрятать, в сочетании с такими же запасами сигарет и папирос свидетельствуют, что работа эта преимущественно ночная, где деньгами, и царскими и советскими, в крупных купюрах, забиты ящики письменного стола, где пистолет и патроны лежат у хозяина квартиры под рукой... Это квартира — командный пункт, квартира-бивуак, куда можно было явиться и по телефонному звонку, и, что надежнее, по световому знаку в окне — дом стоит, как утес, окна пятого этажа видны издали, при желании их можно рассмотреть и с Поварской в любую непогоду. Последнее, что я увидел, когда обыск заканчивался, окна, уже тронутые предрассветным солнцем, желтое лицо Локкарта, зябко пожимающего плечами, и груду денег на обеденном столе, именно груду — такое количество денег можно увидеть только в банке. Кстати, позже я не раз возвращался в мыслях именно к этой груде денег — как показали последующие события, Локкарт дал этим деньгам работу.

Кокорев умолк — он завладел вниманием своего собеседника и мог позволить себе такую вольность. Он умолк и посмотрел в окно. Поезд шел просторным полем, безлесым и темным, только где-то далеко справа висело облачко тумана, видно, там было озеро.

— Простите, но для меня ваш рассказ... свидетельство не столько фактическое, сколько эмоциональное, — заметил Репнин осторожно, он очень хотел выразить недоверие к тому, что рассказал Кокорев, но опасался это сделать определенно, боялся ненароком вспугнуть Корева. — Согласитесь, что как ни любопытно эмоциональное свидетельство, в данном случае оно недостаточно...

— Я всего лишь протянул руку, чтобы развязать узел; сейчас вы увидите, как я это сделаю, — засмеялся Кокорев: замечание Репнина не было для него неожиданным. — Я сказал, что и через две недели после этой ночи я все время видел невыспавшегося Локкарта и груду денег на столе. Короче, он передал мешок этих кредиток человеку, который, как был уверен Локкарт, употребит их на захват Кремля... Надеюсь, Николай Алексеевич, что это свидетельство нельзя называть только эмоциональным, в нем есть и фактическое зернышко?

— Значит, можно рассмотреть уже и финал истории Локкарта — Робинса? — спросил Репнин, он продолжал считать эту историю примечательной для дипломатической хроники восемнадцатого года и хотел знать, как она завершилась.

— Если говорить о Робинсе, то компания против него в прессе достигла точки кипения и, по слухам, он будет судим специальным судом сената...

Репнин молчал, хмуро глядя на Кокорева, который нехотя отвел глаза к окну. Поезд уже миновал поле, и озеро с белым облачком тумана осталось позади. Теперь пошел лес, а вдоль него старая дорога — сколько шин впечаталось в нее, сколько подков истоптало? Дорога шла рядом с поездом, не опережая его и не отставая.

Кокорев оторвал взгляд от окна.

— Наверно, пройдут годы и Локкарт соорудит толстую книгу, в которой хроника восемнадцатого года, как она возникла перед ним, будет проследена записями о собственных доблестях. И в этих записях осторожно, чуть иронизируя над временем и собой, Локкарт внушит читателю, как он был прозорлив и храбр.

Репнин улыбнулся:

— Вы полагаете, что он не был храбр?

— Нет, почему же, — тут же отозвался Кокорев. — Наверно, Локкарт был храбр и опасен, очень опасен, как только может быть опасен человек, поступками которого руководят авантюрами. Но если говорить о доблестях, которые припишет себе Локкарт, то истины ради следует сказать, что они, эти доблести, преувеличены, — на мой взгляд, он нередко действовал непрофессионально.

Кокорев в очередной раз отвел глаза к окну: дорога была рядом, она шла перелеском и не-

глубокими оврагами, обходила болотца и взбиралась на холмы, но не отставала ни на шаг.

— Простите, но в какой мере случай с Локкартром компрометирует дипломатию, даже английскую? — спросил Репнин. — Всегда было так: разведка разведкой, а дипломатия дипломатией. Есть неколебимые принципы английской дипломатии, опирающейся на традицию, — она ходит на своих ногах, костили ей не нужны. — Репнин умолк, стараясь сосредоточиться и поточнее выразить свою мысль. — В какой мере сэр Джордж Бьюкенен должен отвечать за Брюса Локкарта? Да, в какой мере, когда всем известно, что Бьюкенен выехал из России в знак несогласия, в известной мере разумеется. — Репнину хотелось сказать еще многое, но он остановил себя, он умел остановить себя в тот самый момент, когда у эмоций оказывалось слишком много власти над ним.

— Вот я смотрю на эту дорогу и думаю: она вечна, — сказал Кокорев, все еще глядя в окно, будто истина, которая возникла в беседе, лежала в спекшейся глине дороги, в ее рыхлинах и ухабах. — Не по этой ли дороге проехал Радищев? Помните: «Страхись, помещик жестокосердый, на челе каждого из твоих крестьян вижу твое осуждение»? Помните?

Так вот почему он так долго смотрел на дорогу, идущую рядом. Смотрел, и дорога возвращала его к Радищеву, а радищевской ненавистью можно затопить всю Россию — она копилась века. Не Репнина ли видит Кокорев в помещике жестокосердом? И Николаю Алексеевичу пришло на память первое впечатление от Кокорева (нет вернее впечатления, чем первое!), когда они ехали той глухой ночью из репнинского дома в Смольный. Помнится, Кокорев заговорил о Зимнем и Петропавловке, и казалось, что он только что вышел из боя и все еще держит обнаженную саблю над головой. В Кокореве решительно есть что-то от фанатика — в его бледном лице, в блестящих глазах с косинкой, в сединах — фанатики седеют рано!

— Употребление власти кружит голову — это тоже... Радищев, — недобро бросил Репнин.

Кокорев засмеялся, он вдруг понял обиду Репнина.

— Но ведь у Радищева это сказано о коллежском ассессоре, который зрил себя повелителем нескольких сотен себе подобных!

— Но у Радищева сказано и другое: ассесор происходит из сословия, отнюдь не привилегированного, — заметил Репнин, ответив на смех Кокорева улыбкой, которая должна была свидетельствовать, что он понимает шутку.

Кокорев загремел своими сапогами — он собрался уходить.

— Можно подумать, что жестокий пламень Радищева обращен против коллежских, что

в Любани, Спасской Полести, Вышнем Волочке, Медном и Пешках — сплошные коллежские...

Кокорев сказал «Спасской Полести» и «Вышнем Волочке», а у Репнина мороз пополз по коже. Ненависть к тому миру жива, и никуда ее не упрятать! Хотел ли сказать Кокорев то, что сказал, или у него вырвалось это невзначай, но Репнин умолк.

— Нам не надо обманыватьсь, Николай Алексеевич, — миролюбиво заговорил Кокорев, точно сожалея о том, что разговор неожиданно обострился. — Дипломатия, как она сложилась в минувшем веке, уже нет. Дипломат ли Локкарт? Пожалуй, дипломат, но из тех, которые пришли в дипломатию в веке двадцатом. Нам не надо обманыватьсь.

Кокорев ушел, а Репнин безнадежно потерял сон. Наверно, никто так не близок к истине, как солдат, узнавший почем фунт лиха. — ничто так не обостряет чувства правды, как смерть, когда она рядом. Где-то Кокорев нашупал стержень проблемы, нашупал грубо, поручив Репнину добираться до сердцевины.

Английский дипломат покладист и уравновешен. Его позиция — счастливая середина между расчетом и умеренной фантазией. Он усидчив и тщательен. Он чужд презренной похвалии. Он благороден, но никогда не играет в благородство. Он говорчив, храбр и справедлив. Кто внушил все это Репнину? Не английские ли книги, посвященные доблестям дипломатии? Но вот задача: все это будто специально написано для того, чтобы не быть похожим на Локкарта? Это Локкарт... благороден, но никогда не играет в благородство? Это он говорчив, храбр и справедлив? И не он ли, наконец, чужд презренной похвалии? Нет, у дипломатии началась новая история, и учебники дипломатии как науки ума и достоинства должны быть переписаны.

Да в жестоком ли лемехе революции дело? Издавна в мирной колеснице посольства коренным был посол, а пристяжными два его верных сподвижника — коммерческий и культурный советники. Все на своих местах: и легально, и благородно, и достойно. Разумеется, русская дипломатическая служба знала и иных советников, но их стыдились, как стыдятся в богатом доме бедного родственника, да никто и не считал их дипломатами. Что-то произошло в мире непоправимое, если коммерческий атташе стал мишенью насмешек (господи, какая может быть торговля, когда рушатся троны и карта мира изрезана в лоскутья!), а о культурном советнике просто забыли, будто он никогда не существовал.

Коренным все еще остается посол, но могучие пристяжные держат его на помочах, как держат больную лошадь, утратившую способность опереться на собственные ноги: справа от

посла — советник от разведки, слева (именно слева, а не справа!) — советник от генерального штаба. Как хочешь, так и понимай. Собственно, в какой мере необходим в этих условиях посол и обязательно ли должен быть послом дипломат? При новой системе послом может быть человек, который в самых смелых своих мечтах видел себя туземным царьком, главой американских духоборов или, наконец, вожаком мафии, но только не послом, а стал именно послом. Дипломатия становится машиной, а посол всего лишь винтиком, главное, чтобы винтик был, — в дополнительном запасе прочности нет нужды, машина будет работать.

Другое дело советник от разведки или советник от генерального штаба... Нет, многомудрость нашего века в этих людях с неизменно посеребренными висками и розовыми лицами, в их кастовости, в их патриархальности, в их откровенном пренебрежении к штатским, в их знании истории, истории — не философии!

Утром, когда поезд пришел в Петроград, Репнин вышел на перрон вместе с Кокоревым. Казалось, и Кокорев не спал: шаг был тих, лицо серо-желтое, под цвет неярких питерских камней.

— Вы помните наш разговор о копье? — спросил Кокорев.

Разумеется, Репнин помнил этот разговор, но какой смысл Кокорев пытается придать словам о копье сейчас? Не о том ли он говорит, что убиты Володарский и Урицкий, тяжело ранен Ленин?..

— Невозможно отразить удар, не взяв в руки оружия, Николай Алексеевич, — сказал Кокорев.

Вот Кокорев и пошел по последнему кругу: все, что он был лишен возможности сказать Елене, он говорит Репнину.

На площади у вокзала они расстались.

— В Москву послезавтра? — спросил Репнин.

— Может, и послезавтра, но только не в Москву, Николай Алексеевич.

— В Вологду? — улыбнулся Репнин.

Кокорев помолчал.

— Нет... в Архангельск. — Он снял свой кожаный картуз. — Кланяйтесь... Елене Николаевне.

Так вот куда устремил свои стопы Кокорев! В тревожную тьму севера, в Архангельск, за пределы кордона, который стал с некоторого времени огневым. «Кланяйтесь... Елене Николаевне». Да, не в этой ли фразе привязь к Репнину, которая при всех взрывах была у Кокорева прочной, привязь и, пожалуй, доверие?

Репнин сошел с тротуара, пытаясь рассмотреть уходящего Кокорева, но тот уже не был виден.

Чичерин сообщил Репнину, что их приглашают к себе Ленин. Для Репнинна это было неожиданно: лишь третьего дня Ленина впервые видели на улице. Его рука была на перевязи, он шел нетвердо, обратив улыбающееся лицо к солнцу. Если в таком состоянии он хочет видеть Репнинна, значит, дело не терпит отлагательств. Николай Алексеевич условился с Чичериным направиться в Кремль вместе, однако Георгия Васильевича вызвали туда еще утром и он не возвращался в наркомат весь день. Нет, все указывало, что происходит нечто необычное.

Чичерина в Совнаркому не оказалось, как, впрочем, не было там и Ленина. Пришел секретарь и сказал, что Ленин хотел бы остаться этот вечер дома и просит Репнинна к себе, кстати, Чичерин уже там.

Девушка в просторной бумажной блузке провела Репнинна по длинному коридору, мимо солдата, сидящего на табуретке, с огромной трехлинейной винтовкой в руках, мимо шкафа с книгами, мимо человека в кожанке, задумчиво раскуривающего трубку, мимо женщины в пенсне, замершей над раскрытым тетрадью, к дальней двери, где находилась квартира Ленина.

— Простите, — произнесла девушка, приглашая Репнинна войти. — А как скоро будет товарищ Белодед?

— Право, не знаю, — сказал Репнин, а сам подумал: «Однако не предполагал я увидеть Белодеда сегодня».

Репнин готовился войти в просторные апартаменты, заполненные сумерками, с высокими орехового дерева панелями, со стенами, оклеенными тисненой кожей, а увидел небольшую комнату со столом под клетчатой скатертью, уставленной разномастной посудой, и в пролете раскрытой двери другую комнату, очевидно спальню, с кроватью, застланной пледом.

— Это ты, Николай? — Репнин услышал мягкую поступь Чичерина, и в следующую секунду Георгий Васильевич появился в дверях. — Не припомнешь ли, — заговорил он, и Репнин ощутил в ладони некрепкую, заметно податливую руку, — не припомнишь ли, Британский музей давал книги на дом?

— Да, да, давал на дом? — послышался голос Владимира Ильича из соседней комнаты. Ленин медленно поднялся с кресла, опершись правой рукой о подлокотник — левая была на перевязи. — Я не могу припомнить, чтобы брал книги на дом. — Он поклонился Репнину и, все так же опираясь на подлокотник, медленно опустился в кресло.

— Я проработал в библиотеке музея год и, очевидно, воспользовался бы этой возможностью, если бы она... — Репнин запнулся, ему

явно не хотелось отдать предпочтение кому-либо из спорящих. — Если бы она имела место, — заключил он.

— Я же говорил! — возликовал Ленин, ему было приятно, что память не подвела его. — Нет, нет, Георгий Васильевич, я преотлично помню: не давали, не давали!

Он произнес «не давали!» так, будто связывал с этими словами больше, чем исход спора, — каждой страсти он отдавал всего себя.

Хорошо помню, что проштудировал том Бисмарка, который только что вышел, проштудировал от корки до корки, — произнес Ленин, указывая взглядом на кресло подле себя и приглашая Репнина сесть. — И каждый раз, — продолжал Владимир Ильич, — когда приходил в библиотеку, возвращался к странице, которую закончил накануне. Кстати, у него есть великолепное высказывание о дипломатии творческой и догматической.

«Ну вот мы обогнули землю и благополучно вернулись на прежнее место! — решил Репнин. — Спор о дипломатии творческой и догматической продолжается». Репнин огляделся. «Сейчас придет Белодед, и я ввязусь в этот спор», — подумал он и тут же услышал, как комната вздрогивает от размеренных шагов; разумеется, это был Белодед.

— Нет-нет, мы вас не ругали. Но через одну минуту начали бы ругать, — заметил Владимир Ильич, подавая руку Белодеду. — Не правда ли?

— Да, а заодно и меня. — Репнину стоило усилий взглянуть сейчас в глаза Петру: пришла очередь Репнина отвечать на рукопожатие Белодеда.

— Дипломатия и революция никогда не состояли в законном браке, — сказал вдруг Ленин.

— Там, где революция, много ли дела у дипломатии? — спросил медленно Репнин, ему казалось, что замечание Владимира Ильича адресовано ему.

— Нет, наоборот, но они никогда не шли рука об руку, — заметил Ленин.

— Не шли, но должны идти! — живо реагировал Чичерин и подошел к книжной полке, он не терял надежды вернуться к спору о Британском музее и взять верх.

— Да, разумеется, — задумчиво произнес Ленин, обращаясь к собеседникам и осторожно перекладывая здоровой рукой руку на перевязи, он готовился к обстоятельному разговору и хотел занять позицию удобнее. — Нет, речь отнюдь не будет идти о том, чтобы дипломатия пришла на помощь революции. — Ленин теперь уже прямо смотрел на Репнина; то, что он намеревался сказать, он хотел высказать именно Репнину. — Наше представительство в Берлине активно, однако его активность имеет

свою тенденцию. Пока я болел, я перечитал депеши нашего посла в Берлине, и у меня создалось впечатление... Короче, круг людей, с которыми общаются наши дипломаты, мог быть шире.

— Вы полагаете, Владимир Ильич, — нетерпеливо откликнулся Петр, — что мы игнорируем связи с пролетарским Ведингом?

Ленин улыбнулся.

— Только ли с ним надо говорить? — Он сделал паузу, раздумывая, как точнее ответить на вопрос Петра. — Мы, как мне кажется, повернулись спиной к аристократическому Берлину.

— Но это так естественно, Владимир Ильич, — сказал Белодед.

— Очевидно, естественно, как все, что определено нашими эмоциями, но верно ли?

Репнин смотрел сейчас, как Ленин укладывал больную руку: он еще не все сказал.

— Но берлинские аристократы могут и не пойти в дом с красным знаменем. — Белодед начинал понимать замысел Ленина, однако продолжал настаивать на своих возражениях.

— Но, может быть, тогда надо пойти к ним? — сказал Ленин.

— Оттого, что я пойду к ним, дело не изменится, Владимир Ильич, — произнес Белодед улыбаясь.

В этот раз пауза была достаточно долгой — ключ беседы находился здесь.

— Да, речь идет именно об этом, — сказал Ленин. — Положение в Берлине напряженно. Этот германский ответ Вильсону о новой конституции весьма красноречив. Все решится в ближайшие три недели, и мы не можем больше быть в неведении.

Репнин понял: Ленин говорил о его поездке в Берлин, поездке неотложной. Возможно, когда эта идея родилась, в берлинскую миссию должен был войти и Белодед (речь шла и о Вединге). Сейчас положение менялось. К радости Репнина? Возможно. Но, быть может, и к радости Белодеда?

Репнин поднял глаза и вновь встретился с взглядом Белодеда, упрямо-пасмурным, испытующим. И вновь ему показалось, что Белодед думает не о Берлине, а об отношениях с семьей Репниных, и вновь, как прежде, Николаю Алексеевичу стало бесконечно жаль Елену.

— Насколько я понимаю, — сказал Репнин, — нам предстоит решить вопрос практический.

— Да, именно практический, — поддержал Ленин, остановив больную руку на весу; каждый раз, когда он забывал о руке, боль напоминала о ней. — Я говорю о вашей поездке в Берлин. — Он обратил взгляд на Белодеда. — Вам, Петр Дорофеевич, мы дадим другое направление. — Он перевел глаза на Репнина. — В Берлин, — произнес он твердо.

Репнин задумался: вот этого он как раз и боялся, когда шел. Берлин пугал своей таинственностью. Ленин был прав, когда говорил, что чувствует приближение грозных событий в Берлине. Чем еще поразит мир угрюмая тевтонская доблесть? Чего греха тантъ, дело там может повернуться так, что Репнин окажется в положении человека, который никого не представляет. Но как об этом сказать сейчас? И потом этот взгляд Белодеда, все такой же упрямо-сумрачный, он и требует и сурово предупреждает. Впрочем, какое значение для Репнина может иметь этот взгляд и в какой мере он перед этим человеком в ответе?

— Если говорить откровенно, я не хотел бы ехать в Берлин, — сказал Николай Алексеевич.

— Простите, почему? — спросил Ленин.

— Можно подумать, — произнес Репнин, — что среди русских людей теперь в Берлине именно меня и недостает... — Репнин запнулся. — Буду откровенен: эта миссия требует доверия, которого я не имею и иметь не могу, — сказал Репнин, чувствуя, как ветерок волнения проник в грудь — подобного он еще не говорил в этом кругу.

Было такое впечатление, что этой своей репликой Репнин поставил в нелегкое положение и Ленина.

— Если вам поручается эта миссия, очевидно, доверие, о котором вы говорите, есть... — возразил Ленин.

— Я дипломат и люблю смотреть в будущее, не обманывая себя: каждое доверие... относительно, — подхватил Репнин. — Может получиться так, что я буду лишен возможности снести с Москвой и стану островом в море, отнюдь не добром.

— Вот и отлично, — сказал Ленин. — Будете действовать, как велит вам... ваше понимание долга.

«Нет, сегодня не избежать спора с Белодедом! — подумал Репнин. — Все идет к этому».

— Я не скрою, — сказал Репнин, глядя на Белодеда, — что у меня свое понимание того доверия, которым дипломат должен обладать, и ответственности, которую он в этой связи несет.

— Какое? — спросил Ленин.

— Я считаю, что дипломат не должен себя ставить в положение острова в открытом море.

— Но если он все-таки оказался в таком положении?

— Сделать все, чтобы им не стать. — Репнин смотрел на Ленина, тот молчал, что-то обдумывая. — Я не скрою, у меня был спор, спор жестокий, с Петром Дорофеевичем.

Ленин рассмеялся и, осторожно поднявшись, пошел по комнате; казалось, вместе с хорошим настроением к нему вернулось и здоровье.

— Меня это действительно начинает увлекать. — Он оглянулся, и улыбка осветила его лицо. — Что же сказал Петр Дорофеевич?

Белодед взлохматил черные вихры.

— Я сказал: завидую дипломатам семнадцатого века, их отделяли от столицы полосатые столбы и месяцы нелегкого пути.

— И что же из этого следует?

— Практически дипломат лишен был возможности сообразовать свое поведение с точкой зрения третьего лица.

— Третье лицо — это... правительство? — спросил Ленин весело, он продолжал идти по комнате.

— Может, и правительство, — ответил Петр невозмутимо.

— Прелюбопытно, — заметил Ленин.

— А коли так, дипломат, не став островом, должен быть готов им стать в любую минуту. Он должен быть готов к тому, что не сможет послать депеши, снарядить дипкурьера, привлечь в советники или свидетели коллегу. Он сам, его сознание, его опыт будут в этом случае министерством иностранных дел, сам себе он будет посыпать депеши и отвечать на них, отвечать на них и за них. Ведь может произойти, например, такой чрезвычайный случай: посольство подожжено...

— Ну, случай действительно чрезвычайный, — улыбнулся Ленин.

— Но и он не исключен, этот случай, — ответил Петр. — Посольский особняк уже объяло пламя. Надо спасать и людей и бумаги... Особняк обложила толпа, ревут сирены — они требуют впустить их в пределы посольства и погасить пожар. Но мы же знаем, что значит тушение пожара. Особняк с той целью и был подожжен, чтобы его разрешили потушить людям с улицы! Все средства связи в посольстве давно выключены, и до Москвы достучаться мудрено. И вот постараитесь на секунду влезть в шкуру посла! На острове он?.. На острове, да еще каком!.. Что делать?.. Сидеть и ждать депеш из Москвы или, полагаясь на свой ум и храбрость, действовать? Что делать послу?

— Разумеется, такое возможно, — произнес Репнин спокойно: то ли волнение Петра не передалось ему, то ли он его умело не обнаружил. — Но ведь из частностей никогда не выводят закона, Петр Дорофеевич.

— Все, что составляет жизнь, Николай Алексеевич, не частность! — откликнулся Петр горячо. — Доверие — вот что необходимо дипломату! Это право должно быть дано дипломату декретом. Дипломат должен иметь возможность действовать без оглядки, только в этом случае он сумеет быть полезным стране в той мере, в

какой позволяет его ум, опыт, талант... — Петр умолк и взглянул на Ленина, который медленно приближался к дальней стене комнаты. Наступившее молчание заставило Ленина обернуться, их взгляды встретились.

— Ну, насчет декрета вы это... слишком, — произнес Ленин и неожиданно взглянул на Чичерина. — Мне бы хотелось, чтобы вы были в Берлине еще в октябре. Впрочем, это уже детали, не так ли, Георгий Васильевич?

— Да, конечно, — ответил Чичерин; спор между Репиным и Белодедом поверг его в раздумье.

Петр спрашивал себя: что могла означать последняя реплика Ленина? Одобряет он точку зрения Петра или отвергает? Петр хотел думать, что в этом споре с Репиным Ленин отдавал предпочтение мнению Петра. Белодед хотел убедить себя в этом, очень хотел. Если таких оснований не давала последняя фраза Ленина, фраза осторожная, то эти основания, как думал Петр, давала жизнь Ленина, опыт его жизни, цель, к которой она была устремлена. Петр знал письмо Ленина, адресованное, кажется, послу в Германии. Оно недвусмысленно предупреждало, что без ведома и разрешения наркома иностранных дел послы не вправе делать решающих шагов. Но разве это предупреждение противостояло тому, о чем сейчас говорил Петр?

— Я могу подумать, — сказал Ленин, — что вы затеяли весь этот спор, чтобы... как это называется в дипломатии? — обратился он к Чичерину.

— Навести на ложный след, Владимир Ильич, — усмехнулся Чичерин добросердечно.

— Вот именно, — мгновенно подхватил Ленин. — Вы нас вовлекли в спор, чтобы отвести удар от себя, — произнес он, адресуясь к Белодеду. — Однако мы предупредили удар и нанесли ответный! Получайте: вот он! — Ленин на минуту умолк, собираясь с мыслями. — В ответ на арест Локкарта английское правительство... подскажите мне эту вашу дипломатическую формулу... — обратился Ленин к Чичерину.

— Чинит препятствия! — весело реагировал Чичерин.

— Именно: чинит препятствия деятельности нашего представительства, — подхватил Ленин серьезно. — В итоге поток информации из английской столицы остановился. Да, именно остановился. Поставлена плотина, русло высохло, мы все ощущаем испытываем жажду. Короче, вам надо выехать в Лондон, как никогда, взорвать плотину. И еще одно: надо помочь... Папаше, — так Ленин называл Литвинова. — Подробнее поговорите с Чичериным.

Петр мог ожидать всего, но только не этого:

Лондон! Точно кто-то легко и нетерпеливо ударил в грудь. Что греха таить, это был щадящий, больше того, радостный удар. Нет, не только потому, что это был Лондон, не только потому, что надо было взрывать плотину, а следовательно, единоборствовать, что было и оставалось для Петра великим счастьем, но еще потому, что эта поездка обещала встречу с Кирой. Петру стало вдруг страшновато: не позже, как через две недели, он увидит ее, глянет ей в глаза — глаза не врут, только глаза не врут.

— Время не ждет — мы не можем дать вам на сборы и двух дней, — сказал Ленин, а Петр подумал: «Он мог бы спросить, согласен ли я ехать в Англию, но это, наверно, было бы лицемерием: совершенно очевидно, что я не могу отказаться, не должен, не имею права. Кому не понятно, что я не могу этого не сделать?»

— Я выеду завтра.

Вечером он сказал Елене об отъезде.

Они долго бродили по далеким и близким аллеям Нескучного сада, потом он позвал Елену к себе, дал ей комплект «Нивы» за девятьсот второй год, который накануне купил на развале у Китайгородской стены, а сам по давней привычке закатил рукава сорочки, надел фартук матери и ушел на кухню. Елена слушала, как он орудовал там ножами, — в этих звуках был свой ритм, веселый, исполненный доброты и охоты. Потом из кухни донеслось аппетитное шипение и запахи, один вкуснее другого. Это воистину было чудо, одно из чудес, которые мог явить только он. Гора крупно нарезанной жаренной картошки, гренки с нежнорумянной корочкой, пучок зеленого лука, который, как хорошо знала Елена, не выводился в белодедовском доме круглый год, чай с молоком. А он сидел рядом, большой, сияющий, довольный, что нехитрой этой трапезой порадовал ее.

А часом позже они стояли в саду под молодой, но рослой яблоней, на которой в эту позднюю осеннюю пору чудом удержались листья, не без опаски смотрели на дом, где одно за другим зажигались окна (видно, мать вернулась), и он говорил о поездке в Лондон, говорил и ждал: сейчас она спросит о Кире, сейчас обязательно спросит. А она и не думала спрашивать.

— Меня мучит вопрос, — поднесла Елена руку ко лбу, ее кольцо слабо блестело. — Все хочу спросить вас: вот такой, какой вы есть... могли бы вы лишить жизни человека?

— Ничего не понимаю... к чему это вы? Елена не отняла руки от лба; посветлело, и кольцо загорелось ярче.

— Мне важно знать: могли бы?

Петр вдруг вспомнил разговор с Кокоревым в вагоне, идущем на фронт. «Этот вопрос она тогда задала Кокореву, задала и сокрушила его. Не пришел ли теперь мой черед?»

— Разумеется, мог бы.

— Вы сказали это с такой готовностью, будто все это у вас было?

Петр нахмурился.

— Было! — вдруг вырвалось у него. — Лишил, как вы говорите, жизни... человека!

Елена отняла руку от лба, посмотрела на Петра с безбоязненной печалью.

— Хорошо, что я узнала такое о вас.

— Вы даже не спросили, что это был за человек, — сказал Петр.

— Это как раз не важно. Достаточно, что он был человеком.

Она подумала, почему же она не говорит Петру всего того, что сказала тот раз Кокореву? Почему она медлит: то ли отваги в ней стало меньше, то ли ей недостает теперь честности? Почему то, что она сказала тогда Кокореву, не говорит Петру?

## 106

А Репнин, выйдя от Ленина, не торопился покинуть Кремль. Подняв глаза, он вдруг увидел артиллерийские стволы у стен арсенала, ярко-черные от только что прошедшего дождя. Репнин видел эти стволы, когда много лет назад приходил в Кремль с дедом. И ему показалось, что сегодняшний день до боли, до внезапно остановившегося дыхания, до толчка в груди похож на тот далекий день его детства, когда он шел с дедом по свежей траве Кремля, входил в сумерки Архангельского собора, смотрел на Ивана Великого, как чудилось Репнину, чуть наклоненного, готового рухнуть и все-таки неколебимо устойчивого. И оттого, что эти два дня, сегодняшний и тот, далекий, неожиданно повторили себя в сознании Репнина, на память пришло нечто такое, что никогда бы не вспомнилось. «Храбрость должна быть прикрыта умом, как кольчужкой...» Эти кремлевские камни дышат холодом: за недолгое московское лето солнце не успевает добраться до их сердцевины. Вот Репнин и бросился в пучину событий, и поток подхватил и увлек. «Упаси бог ей быть короткой...» Куда донесет его этот поток?

Репнин вернулся домой. Дом был темен, только окно Ильи освещено. Не спит Пимен, кропает летопись — и у него страдная пора. Дверь в комнату брата полуоткрыта, точно тот приглашает Репнина войти. Негасим белый лист на столе, наполовину заполненный круглым и крупным почерком Ильи, однако Ильи нет — видно, вышел на веранду хлебнуть ве-

черней свежести, взглянуть на небо. А почерк у Ильи действительно круглый и крупный — нужно усилие, чтобы оторвать глаза от него. «Неумолима логика этого года — огненного года. Союзники проломили линию германцев — все решится в эти два месяца. Не хочу быть провидцем, но, кажется, провидцем буду: есть одна цель, способная примирить страсти, сплотить воедино недавних недругов — поход на восток... Не хочу быть провидцем, но буду им... Ненависть сплачивает». Нет, действительно надо усилие, чтобы оторвать глаза от круглых строк. Они накатываются на тебя... Репнин круто повернулся, пошел вон из комнаты; в дверях стоял Илья.

— Ты прочел?

— Прочел.

— Не хочу быть провидцем! — засмеялся Илья.

— А ты им и не будешь, — сказал Репнин.

— Буду! — почти воскликнул Илья, он был воинственно радостен сегодня. — Не я провидец — история!

— У нее привилегия перед тобой?

— Если хочешь, привилегия — она более цельна, чем я: сегодня у нее успех частный, а завтра Берлин... Не было в природе еще такого вала!

— Берлин, не Москва, — сказал Репнин.

— Не обманывайся, будет и Москва.

Только сейчас Репнин подумал, что не сообщил брату о поездке. Подумал и не пожалел. «Время не спало, — решил он. — Попсвет — скажу».

Николай Алексеевич прошел в свою комнату, нашупал край софы, сел. Не хотелось зажигать света. Никогда Илья не был так решителен, так весело лих, как теперь. Кажется, даже неудачи с сыном не могли повергнуть его в уныние. Небо его надежды было не так уныло, тучи раздались. «До Берлина они будут идти одни, дальше пойдут с немцами!» — вот смысл его записи. Он так и сказал: «В природе еще не было такого вала...» Репнин не мог отказать брату в логике: все могло повернуться так, как говорил Илья. «В природе еще не было такого вала...» Значит, Репнину предстояло пойти навстречу этому валу, наперекор... И вновь припомнились слова деда о кольчужке: «Упаси бог ей быть короткой...»

Ночью Репнин сказал Настеньке о предстоящем отъезде. Тревога, вызванная поездкой в Берлин, теперь, когда он рассказывал об этом жене, как-то опала. Осталось только ощущение единоборства с Петром и беспокойство за Елену. «Что-то в нем и открыто радушное, и скрытое, в этом радушии скрытое...» — сказал он о Петре. Окно на улицу было распахнуто. Сквозной ветер, по-осеннему холодноватый, входил в комнату, прохладными ладонями ка-

сался плеч, холодил шею и тело. Настенька лежала безгласная, покорная и странно радостная.

— Да скажи ты... хотя бы слово, — вымолвил Репнин. — Что с тобой?

Она засмеялась — в смехе было и хорошее настроение, и озорство, и тайная мысль.

Он привык к этой ее реакции, неожиданной, нередко противной логике. В самом деле, какая причина для радости и тем более для озорства, когда Репнин едет в Берлин.

— Я знаю, — заметил он. — У тебя произошло что-то.

Она взяла его руку в свои ладони, поднесла к губам. Он чувствовал, как пышут жаром губы, жаром и горячей влагой. Она положила его руку себе на плечо — оно казалось ему сейчас более хрупким, чем обычно. Она охватила его ладонью свою шею и передвинула ладонь себе на живот. Она накрыла его руку своей, и он почувствовал, как кожа ладони стала чуткой.

— Слышишь... вот это и есть Вологда, — сказала она и замерла.

— Вологда? — На какой-то миг он затих, пытаясь проникнуть в смысл слов, очень тайных, на какой-то миг, потом все понял. — Вологда! — И он вспомнил то утро, когда она пришла с реки чуть-чуть озябшая, с руками, облитыми речной прохладой, и вдруг разогрелась и ожила, такая родная. — Вологда!

И он вдруг подумал, что в этой горячей тьме, которая так туго перепелена землю и которую не потревожить никаким сквозным ветром, проклевывалась, рвалась к свету и набиралась сил новая жизнь.

— Вологда, Вологда... — говорил он, целяя ее, и ловил себя на мысли, что ведет себя так, как никогда не вел, безнадежно растеряв где-то по дороге к ней все, что когда-то было ему свойственно, что было сущностью и натура его.

Она остановила его, коснувшись рукой щеки.

— Слышишь?

В ночи, нет, не на улице, а в доме. быть может, вот за этой стеной, играл граммофон, играл негромко, опасаясь потревожить сон большого дома.

— Да не Елена ли это? — Настенька приподнялась на кровати. — Елена... одна? — Настенька ожила. — Я хочу посмотреть!

Она быстро оделась и выпорхнула из комнаты. Репнин вдруг услышал ее смех, в этот раз нескрываемо ликующий, и все ту же танцевальную мелодию. Нечасто в репниковском доме в полночь устраивались танцы. Репнин оделся так, точно выходил из дома (полудетям он никогда не покидал своей комнаты), прошел в столовую. Дверь в гостиную действительно

была полуоткрыта, и по лепному потолку, смешно переломившись, скользили тени танцующей пары. Репнин шагнул навстречу двери и едва не отпрянул. У окна сидела Елена, а Настенька, возбужденная, с раскрасневшимся лицом, двигалась в весело-задорном вальсе с Петром. Признаться, Репнин готов был ко всему, но только не к этому. Он стоял в темноте, прислушиваясь к стонущему голосу граммофона. «Ничего не произошло, — говорил он себе. — Ровно ничего не произошло, все в ее характере, всего лишь в ее характере, и тебе пора к этому привыкнуть... пора...»

## 107

Анастасия Сергеевна получила письмо из Христиании. Письмо было корректным, даже ласковым. Жилье просил Настеньку встретиться с настоятелем храма святой Екатерины. Она не хотела делать тайны из беседы с настоятелем, наоборот, полагала, что разговор будет пристойным, если произойдет в ее доме. Настенька сказала Репнину, что хотела бы встретиться с Рудкевичем у себя, даже если настоятель будет не один. Репнин спросил Настеньку, желает ли она, чтобы он был дома. Она не знала, что ответить. Ему показалось, что она хотела быть дома одна.

Когда, по мысли Настеньки, до встречи оставалось добрых минут пятидцать, она увидала у себя под окном трех извозчиков и целую стаю духовных и светских лиц, которые, точно серые гуси, медленно шествовали к дому. Вместе с Рудкевичем их было шестеро, все почтительно-корректные, молчаливые, с внимательными глазами.

У стола устроились удобно, точно разговор, который их ожидал, мог затянуться на день. Рядом с собой Рудкевич посадил того, кто был назван Федором Ивановичем фон Бедигером. У Бедигера были рыжие усы и животик, крепкий и изящно округлый. Впрочем, желтый портфель, который он держал в руках, был таким же крепким и изящно округлым. Рудкевич скосил на него белые глаза, Бедигер понимающе пожал плечами и мигом выложил на стол стопку бумаг и увесистый фолиант, заключенный в красный шелк, — он сделал все это так быстро, что первое время казалось непонятным, откуда он извлек фолиант: из портфеля или из-под матово-черного сукна пиджака.

— Достопочтенная Анастасия Сергеевна, — произнес Рудкевич, он был верен себе и все еще звал Настеньку Анастасией. — Мы потревожили вас, чтобы просить вас соблюсти некоторые формальности, вытекающие из вашего брака... — Он взглянул на Бедигера, точно прося его согласия на безобидную эту

фразу. — Вам предстоит подписать два документа. — Теперь он взглянул на господина с седыми подусниками, которого за минуту до этого назвал Донатом Степановичем Маламой, и тот в знак согласия покорно опустил глаза. — Вот первый документ, быть может, вы о нем не знали, а может, и знали...

Перед Настенькой лежал акт об отказе на владение экономией в Христиании.

— Каменный особняк, два флигелька, мельница...

«Да, да, именно мельница, ее фотография стояла на письменном столе мужа... Господи, да неужели это все существует в природе и я к этому имею или, вернее, имела отношение? Имела?»

— ...Настоящим отказываюсь от владения всем этим имуществом... Москва, октября двадцать третьего, года тысяча девятьсот восемнадцатого... в присутствии...

Вздрогнули баки с полубаками и усы с подусниками. Бедигер поименно перечислил высоких гостей, впрочем не упомянув Рудкевича.

Настенька взглянула на него: казалось, все, что происходит здесь, содеяно вопреки его воле. Его серые с искоркой глаза были полны небесной сини. Все были на земле, а он в заоблачных высотах.

— Тогда разрешите зачитать? — произнес Бедигер и смешно сомкнул и разомкнул толстые губы.

— Да, пожалуйста.

Бедигер начал читать.

— «Я, Жилья Анастасия Сергеевна, настоящим...»

«Господи, да неужели я все еще Жилья?... — подумала Настенька. — Как же все это далеко... и Кирочная, и мокрые питерские вечера, и полуночные поездки на острова, и дежурные приемы по средам, и торжественно-робкие речи Шарля о железных магистралях из Европы в Америку и чудо-паровозах — этаких дредноутах сушки...»

— «...Отказываюсь от владений экономией «Фрам» близ Христиании, Норвегия... семьдесят три гектара пахотной земли и тридцать четыре луговой, шерстомойка, галетная фабрика...»

«Ах, какие галеты шли из Христиании, жесткие, чуть присоленные и хрупкие, сахарные, с тисненой надписью «Фрам».

— «...Три ледника, одиннадцать амбаров для хранения зерна, ковроткацкая мастерская...»

«Да, именно паласы... серо-синие, синие, под цвет медленно тускнеющего северного неба, ими была выстлана квартира на Кирочной...»

Потом была пауза. Она, очевидно, тоже входила в расчеты Рудкевича. В тишине лишь вздрагивали усы и подусники. Ручка, костяная, в золотых колечках, была рядом. Настенька взяла ее с письменного стола Репнина по просьбе Рудкевича. Было приятно сейчас взять ручку — она весома и прохладна. Взять ее в руки и начертать: «...Анастасия Репнина». Настенька улыбнулась. Один миг тишины.

— Анастасия Сергеевна... — Казалось, фиолетовая дымка колыхнулась в глазах Рудкевича. — Не мог бы я... — Он указал глазами на дверь комнаты, откуда Настенька принесла перо.

Она встала.

— Надеюсь, мне будет прощена такая вольность? — Он оглядел сподвижников.

— Сделайте милость, — выдохнул Бедигер.

Они прошли в рабочую комнату Репнина. Окна были зашторены, и в комнате властвовала полутьма, красновато-золотая, точно настоящая на терракотовой краске, которой были окрашены шторы. Настенька потянулась к окну, чтобы раздвинуть шторы, но рука отца Рудкевича легла на ее плечо.

— Анастасия Сергеевна, могу... я дать вам совет?

Что-то происходило с Рудкевичем необычное — что-то внутри него дрогнуло и сообщилось голосу и руке, которую Настенька чувствовала своим плечом.

Она потянулась к шторе, но он удержал ее вновь.

— Анастасия Сергеевна, я уже был свидетелем вашей решимости и дерзости вашей, — начал отец Рудкевич. — Все, что вы хотели доказать вашему мужу, вы доказали. — В его голосе впервые послышались просительные ноты. Он твердо наставлял, редко советовал, но никогда не просил. — Вам надо проявить благородство, и здесь я ваш друг. — Его свободная ладонь коснулась другого плеча Настеньки. — Все мы беспечны и расточительны в молодости, но жизнь — это не только молодость, даже не столько молодость, жизнь — это усталость и недуги, жизнь — это старость. — Он сдавил ее мягкими и сильными ладонями, потряс, точно хотел сказать: «Опомнись! Опомнись!» — Вот мой совет: я заклинаю вас, Анастасия Сергеевна, всем лучшим. — Он не без раздумий произнес не «святым», а «лучшим». — Я заклинаю вас, сделайте так, как я вам велю. Возвращайтесь в гостиную и скажите этим господам, что хотите поразмыслить и не можете подписать бумагу. Я вам обещаю, что никто из них не будет настаивать и тут же покинет ваш дом. Можете сказать Николаю Алексеевичу, что так советовал ваш духовник.

Ну конечно же, ему надо, чтобы она сказала об этом Николаю! Вся его игра сводится к этому. И эта встреча у Губиных, когда они впервые появились вместе с Николаем, и разговор в храме святой Екатерины, и этот первый визит вместе с Бекасом в московский дом Репниных, и нынешний визит, когда Рудкевич ведет себя рыцарски, нет, не только по отношению к Анастасии Сергеевне, но и к Николаю Алексеевичу, даже больше к нему, чем к ней... Все ополчились против Репниных: и Жиль, и его сводный брат, и старые друзья Анастасии Сергеевны, а Рудкевич устоял. Впрочем, такое впечатление, что эти недоброжелатели нужны ему, чтобы утвердить приязнь. Недаром он приволок в дом Репниных целую коллегию — откуда только норов и энергия, не молод ведь человек! Он почти настаивает, чтобы Анастасия Сергеевна сказала мужу о его совете. Шутка ли, усилиями отца Рудкевича возвращено имение в Христианий! Как не признать в Рудкевиче благожелателя, как не благодарить его. Нет, не только Анастасия Сергеевна, но и Репнина. Такое впечатление, что без дружбы Репнина отцу Рудкевичу не сделать и шагу. Но вся эта акция не риск ли для отца Рудкевича? Вдруг Анастасия Сергеевна возьмет и скажет «нет». В конце концов, что ей Христиания? Не окажется ли тогда отец Рудкевич, как любит говорить он сам, в никовом положении?

Но взгляд ее глаз, обращенных на духовника, кроток.

Он наклонился к ней. Ему хотелось удостовериться, не шутит ли она.

— Разумеется, если это соответствует вашему желанию...

Он улыбнулся: да неужели лукавит она? Но ведь изумление ее было таким натуральным.

— Анастасия Сергеевна, сделайте так, как я советую.

Она высвободила плечи.

— Вы это мне хотели сказать... это? — спросила Настенька и шагнула к окну.

— Я заклинаю вас... сделайте, — повторил он, теперь уже не опасаясь, что его услышат в соседней комнате.

Звякнуло колечко на металлическом стержне — она отодвинула штору.

— Где ваши бумаги?.. Я хочу подписать их сейчас. Все бумаги, сколько бы у вас их ни было.

Три извозчика медленно проехали мимо дома Репниных.

Настенька видела, как Елена прошла в сад. На Елене была бордовая куртка из мягкой замши. Сад был полон солнца, и куртка казалась красной. Настенька поймала себя на мысли,

что следит, как пламенеющее пятнышко удаляется в глубь сада. И еще подумала Настенька: она видит в Елене Николая. Бывает так, даже Елена отступает прочь и остается Репнин. И не только Елена отступает, но вместе с нею та женщина, что родила Елену. Кстати, кем была та женщина Репнину? Женой? О господи! Настенька вошла в дом. В столовой по-летнему занавешены окна, в комнате Елены, наоборот, солнце добровольно до пледа, которым застлана кровать. Женщина, очень юная, с пучком темно-русых, Настеньке даже кажется, пепельных волос, смотрит с портрета. В глазах женщины спокойная радость. Такие глаза бывают у молодой матери. Наверно, она уже родила. Настенька смотрит в сад. Оттуда доносится запах сухих яблоневых листьев, он очень терпок, этот запах. И горек. А во взгляде женщины, что смотрит со стены, все та же радость, мудрость. Она была счастлива в тот далекий и для нее непреходящий миг, эта женщина. Она родила, родила... Наверно, нет большего счастья, чем это — счастье общей крови. Настенька смотрит на женщину — та будто отняла у Анастасии Сергеевны нечто очень большое, чем она только что владела. И чего ради она вызвала эту женщину из небытия? Настенька бросилась к двери. Там стояла Елена. Ну конечно, она была свидетельницей встречи Настеньки с матерью. Сейчас Настенька видит, как она похожа на мать.

— Анастасия Сергеевна, вам худо?

В самом деле, худо ли ей, если одна мысль о Репнине, искорка мысли способна сжечь всю ее старую жизнь. «Цепи — это жалость?» — доносилось издалека, из далекого далека. Даже чуть-чуть жутковато: все во власти времени. Да был ли сегодня в ее доме Рудкевич и о чем он говорил, к кому взвывал, что дарил и что пытался отнять? Вот вопрос: был ли сегодня Рудкевич?

## 108

Репнин вернулся домой к одиннадцати и, по обыкновению, прежде чем уйти к себе, зашел к брату.

Илья работал. В эти полуночные часы он был особенно деятелен. Все, что обесспокоило его мысль днем, что воинственно насторожило и сосредоточило, он поверял бумаге. События развивались с утроенной силой; ему казалось, что каждый новый день приносит нечто такое, что утверждает его правоту. Он искал встречи с братом — все, что хотелось сказать, он мог выговорить только Николаю. Нередко фраза, только что записанная в дневник, адресовалась брату и фраза, сказанная брату, перекочевывала в дневник. Илья уже готовился произнести одну из таких фраз, которые были призыва-

ны сразить Репнина младшего, вроде того, что «Франция не была союзником Германии, теперь будет», когда Николай Алексеевич сообщил:

— Брат, я еду в Берлин.

Илья онемел.

— Погоди, погоди... куда?

— У меня командировка в Берлин... на месяц.

Илья усмехнулся, нелегко было рассмешить Илью в эти дни — брат это сделал: у него командировка в Берлин, да еще на месяц!

— А ты представляешь, наивный человек, что будет через месяц в Берлине?

— Представляю.

— Тогда, быть может, просветишь: что будет? — спросил Илья.

Репнин насупился.

— Прости, брат, но я бы не хотел вести разговор в таком тоне.

— Нет, погоди, давай договорим до конца! Ты представляешь, что будет через месяц в Берлине? — переспросил Илья, он был заинтересован в продолжении разговора.

Николай был мрачен.

— Сделай любезность, скажи, что будет.

Илья решительно отодвинул свою рукопись, столь непочтительно он поступал с нею нечасто.

— Через три недели союзные армии войдут в Берлин, в Германии будет образовано новое правительство, и ты окажешься в тылу могущественного войска, наступающего на Совдепию. История не знает такого сплава: трезвый ум Альбиона, влияние Франции на умы и сердца, технический гений германцев и ко всему этому сказочные ресурсы Америки... Какая сила может противостоять этой?

— Считать умеешь не только ты, — слабо возразил Репнин.

— Ленин умеет считать, да? — вознегодовал Илья.

— По-моему... умеет.

— По тебе Ленин — Кутузов, а по мне — Пугачев. Потерял Пугачев копеечку, и надо считать заново. Только одну копеечку потерял, и расчеты не сошлись.

— Ты полагаешь, ошибка в расчетах?

Илья стоял сейчас над братом.

— Уверен.

Николай сидел безмолвный — видимо, в словах брата был резон и для него.

— Брат, ты кинулся в горную реку! — говорил Илья. — Она подхватила тебя и понесла по перекатам и крутикам! Не robей, брат, вперед! Зачем жесть кровь и корчиться, когда можно довериться природе — она, по крайней мере, честна, не так ли? Отдай себя во власть течению — оно за тебя в ответе. Или расплещит на камнях, или выплеснет на спасительную отмель. Вперед, брат! Помнишь, как мальчишка-

ми мы смотрели на кавалерийские маневры в Таврии? Тоже река, да только черная: и гогот и гик! Отпусти поводья да припади к гриве, не то снесет тебя с коня ударом ветра! Вперед, вперед. Снесет, и свои же истолкнут тебя в пыль. Колытом в грудь, в спину, по черепной кости — свои, свои... — Илья смотрел на брата, задумчиво шевелил пальцами. Как ни азартен был рассказ, он не распался Илью, не увлек. — Но ведь та сила без глаз, а у тебя они еще остались, — тихо сказал Илья. — Придержи коня, оглянись, куда тебя занесло; если седла глядеть, оно виднее.

Николай замер, уткнув глаза в землю. Может, и надо придержать коня и оглянуться? Не ушел ли он дальше, чем того хотел? И не пошел ли за... Лениным? Неправда, за Лениным он не пошел. За Чичериным? Пожалуй. Но почему надо Репнину идти за Чичериным, а не за Сазоновым и Даубе? Чичерин человечески ближе Николаю Алексеевичу? Да. Он интеллигентнее? Разумеется. Он порядочнее? Наверно. Его правда совестливее? Конечно. Да как можно сравнять Чичерина с Сазоновым? Чичерин беспребренник, готовый на все ради счастья России... Кажется, Репнин добрался до истины: ради счастья России. А какая разница между Чичериным и Лениным? Для Репнина какая разница? Встав под начало Чичерина, признал Репнин над собой авторитет Ленина?

— Ты хочешь знать, что надо делать? — спросил Илья, он продолжал стоять подле Николая.

— Хочу знать... предположим, — сказал Репнин.

— Есть одно безотказное средство у дипломатов, на все случаи жизни безотказное: забота!

Репнин встал; давно он вот так рядом не стоял с братом, с мальчишеских лет не стоял.

— Нет...

Илья вздохнул, его горячее дыхание донеслось и до Репнина.

— Дал слово?

— Дал.

— Репнины слово держали и перед... Кайном.

Николай Алексеевич точно и не услышал этой фразы — он полагал, что не всем словам брата он обязан внимать.

— Ты думаешь, что логика событий именно такова, как представляешь ее ты? — спросил Репнин. В той мере, в какой брат обращался к расчетам, неразумно было их отвергать.

— Когда дело касается дела, нет больших атеистов, чем дипломаты, они в чудеса не верят, — сказал Илья.

— Ты полагаешь, что только чудо может опрокинуть твои расчеты?

— Да, только чудо, но ведь его не будет.

— А революция... чудо? — спросил Николай.

Илья рассмеялся.

— Революция — татарник, на культурных землях не растет.

— Революции не боишься? — вдруг вырвалось у Николая помимо его воли.

— Татарник рубят огнем, — отsek Илья. — Не боюсь татарника, боюсь огня, особенно если ляжет вот тут. — Он указал на кусок паркета между ними.

— Боишься потерять брата? — спросил Репнин.

— Боюсь, — сказал Илья. — Выбирайся из потока, не то расшибет он тебя на камнях! То, что должен решить ты, не решит никто другой.

— Подумай о себе, это будет лучше! — сказал Николай Алексеевич и удивился тому, что сказал, не хотел он сказать этого.

— Что ты имеешь в виду? — тут же отозвался Илья.

— Послушай, Илья, мне сказали... не спрашивай, кто сказал! — Репнин умолк, фигура брата была едва различима на светлом поле стены. — Этой ночью... Кочубеева тетка увезла Егора за кордон.

Илья нашупал край стола, оперся.

— Так, — не проговорил, а простонал Илья. — Надо что-то делать.

— Дневник в кулак — и за Егоркой, не так ли? — Репнин не без умысла произнес эту недобрую фразу, ему хотелось и сшибить ею дурное состояние духа Ильи, и узнать, что в конце концов намерен делать брат.

Илья пошагал прочь, слабо толкнул дверь.

— Не грех в моем положении податься и за Егором, — произнес он и усмехнулся. — Ну что ж... утро вечера! — вымолвил он, но с места не сдвинулся. — Будто видимся последний раз — все новости выложили, ничего на завтра не сберегли. — Илья умолк, стараясь припомнить, что еще не сказал брату. — Совет за совет! — вдруг произнес он. — Будешь в Берлине — повидай Франца Шульца! Он дипломат со связями и человек... не злой.

— Спасибо, — сказал Репнин, а сам подумал: «Может, и в самом деле есть смысл повидать Франца Шульца, давнего и доброго друга братьев Репниных. Есть смысл повидать, хотя встреча с Шульцем... Господи, чего только на свете не бывает?»

Репнин видел последний раз Шульца 4 августа четырнадцатого года. 1 августа вступила в войну Россия, 3 августа Франция. Весь день по Французской набережной шли манифестанты с флагами и иконами. Студенты, священники, мелкие чиновники, гимназисты, приказчики.

«Да здравствует Франция!» Потом незримая, но сильная рука направила этот поток от французского посольства к посольству германскому. Посольство кайзера — в центре столицы, у скрещения ее главных путей, между Исаакиевским собором и Мариинским дворцом. Здание является собой темно-красную глыбу из финляндского гранита. Фасад увенчан монументальной скульптурной группой: бронзовые атлеты держат могучих коней. Репнин не помнит, донесла ли толпа от дома французского до дома немецкого иконы и флаги, но по мере приближения к Исаакиевской площади она зверела. Короче, толпа предала посольство разору и точно в гигантской ступе искрошила мебель, картины, посуду, уникальные мрамор и бронзу эпохи Возрождения из частной коллекции посла Пуртасеса. Разгром посольства завершился тем, что толпа обрушила с крыши на мостовую бронзовыми атлетами и их коней.

При всех иных обстоятельствах вряд ли Шульц рискнул бы выйти за пределы посольства, но в тот момент спасение было на улице. И Репнин встретил его на Лебяжьем мостице через Фонтанку. Чего греха таить, Репнин растерялся: каким бы добрым другом ни был Шульц, он был дипломатом страны, с которой Россия находилась в войне.

Как подсказывал Репнину опыт, чисто житейский, отношения между людьми более устойчивы перед испытаниями времени, чем отношения между государствами. В наше переменчивое время государства чаще обращаются во врагов, чем это смогут сделать два человека. Так, по крайней мере, думал Репнин. Да и Шульц, наверно, думал так. Они бросились друг к другу, как добрые друзья, благо берег Фонтанки был в эту минуту пуст...

— Ну что ж... Шульц так Шульц, и на том спасибо, — сказал Репнин, пожимая руку брату.

## 109

Петр решил не сообщать Литвинову о своем приезде. Он выехал вечером из Абердина и ночь провел в дороге. Он был в Лондоне на рассвете, нанял такси и прибыл на Викториа-стрит, 82, к большому шестиэтажному дому, где по письмам, полученным накануне от Литвинова, должно было помещаться советское посольство. Петр перешел на противоположную сторону тротуара и внимательно осмотрел здание. Оно строилось с пониманием того, что выходит на Викториа-стрит. Первый этаж отвели под магазины. И солнцезащитные тенты украшали рекламные аншлаги так же, как зеркальные стекла витрин. Во втором и третьем эта-

жах, очевидно, помещались деловые конторы. Резиденция Литвинова должна была быть где-то здесь. В четвертом и пятом — квартиры. Мансарда, обрамленная мощными печными трубами, была построена в два этажа и выглядела весьма нарядно.

Петр вернулся к парадному подъезду. Здесь должна быть табличка «Русское народное посольство». Таблички не было. Не рискуя быть замеченным (был тот предутренний час, когда Викториа-стрит почти безлюдна), он смерил дом взыскательным взглядом с ног до головы: ничего не выдавало в нем жизни. Казалось, небо над крышей было продолжением дома, такое же каменно-неподвижное, коричневое. Неизвестно, как долго стоял бы Петр, глядя на дом, если бы его не окликнул звякий голос:

— Хэлло, друг, отсюда вы не увидите окна своей любимой, вам нужно отступить дальше.

Перед Петром стоял полисмен — многоопытный страж безошибочно определил, что соответствующее окно должно быть в мансарде. Петр скосил глаза на полисмена: крутой подбородок с ямочкой (кончиком мизинца тронули тесто), крупные губы, яркий деревенский румянец — словно не было ни бессонной ночи, ни холодной влаги, ни тумана.

— Нет, мое окно тремя этажами ниже, — сказал, улыбаясь, Петр.

Полисмен затенил лохматой бровью глаз, взглянул на третий этаж, мысленно пересчитал каждое из семи окон.

— Мистер Лоу, присяжный поверенный? — спросил полисмен с ходу.

В догадках полисмена была своя логика: если не девушка из мансарды, то присяжный поверенный с третьего этажа — и к той и к другому мог наведаться человек в этот предутренний час.

— Ваша пуля легла рядом с яблочком, — сказал Петр, не обнаруживая иронии.

Полисмен улыбнулся — слова Петра ободрили его.

— Мистер Хилл, портной его величества? — произнес полицейский не задумываясь — твердые «г» выдавали в нем шотландца.

Петр едва сдержал улыбку — мысль полисмена неожиданно изобразила зигзаг.

— Нет, не присяжный поверенный, не портной его величества, — сказал Петр, — а всего лишь русское народное посольство.

Полисмен присвистнул:

— Друг мой, так оно же переселилось в Бристон-приз, это ваше народное посольство! — Он беззвучно засмеялся и вытер свободной рукой веселые слезы, в другой руке он держал свой жезл. Петр решительно поправил настроение полисмену с Викториа-стрит.

— Вы сказали, Бристон-приз? — Петр был не в силах скрыть впечатления, которое произвело на него сообщение полисмена.

— Да, разумеется, в Бристон-приз, — заметил полисмен сдержанно, он щадил Петра. — История весьма заурядная, — продолжал полисмен. Встреча с Петром ожила для него это скучное утро. — Русские действительно сняли пять окон на третьем этаже и в каждом из них установили по гаубице. Вы что смотрите на меня такими глазами? Именно по гаубице! Они установили гаубицы и трахнули по дворцу английского короля! Трахнули один раз, потом другой. Точно так, как они были по царскому дворцу в Петрограде! Хозяин дома вспомнился. «Джентльмены, одну минуту! — сказал он. (Речи полисмена были свойственны не только шотландские «г», округлые и крепкие, но и юмор, тоже шотландский.) — Разумеется, вы можете стрелять и по Букингему, как вы можете палить по Даунинг-стрит и даже Скотланд-ярду, но только не из моего дома!» Русский посол сказал, что хозяин дома нарушил контракт, и подал на него в суд. На суде хозяин дома не отрицал, что нарушил контракт, но объяснил, что сделал это единственно потому, что хотел спасти английскую корону от неосторожной артиллерийской пальбы. Суд принял сторону хозяина дома. — Полисмен умолк, потом значительно добавил: — Русский посол продолжал настаивать — это смущило английский суд. Для ясности русского посла направили в Бристон-приз — там большой опыт в разбирательстве таких дел.

Петр еще раз взглянул на дом, он был тих и благополучен, ничто не выдавало в его облике недавних событий.

Петр шел по Лондону. Опять Бристон встал на пути. В январе — Чичерин. В октябре — Литвинов. Очевидно, будущий историк английской дипломатии скажет, что самое большое, на что решились английские власти, это объявить посла персоной non grata. Да, более чем корректно объявить, что пребывание посла в стране нежелательно, заготовить выездные документы и вежливо указать на соответствующую дверь. Вряд ли в этой истории будет замечено, что в борьбе с первыми дипломатами революционной России участвовал Бристон-приз. Вряд ли будет признано, что первые встречи с представителями революционной России официальная Англия перенесла из золоченных покоев Букингемского дворца под темные своды Бристона. Вряд ли будет упомянуто, что в силу исторических метаморфоз, внешне случайных, а в действительности закономерных, два самых крупных дипломата революции начали дипломатическую деятельность в каче-

стве пленников английской короны. Петр шел по Лондону, а рассвет приближался трудно, точно солнце шло к городу, пробивая путь киркой, — может, дойдет, а может, обессилеет и повернет обратно. Солнце шло трудно: удар кирки — шаг, еще удар — новый шаг. Это, наверно, не в характере Петра, но, быть может, надо действовать и ему так же — осторожно, словно рассчитывая силы: удар — шаг, еще удар — новый шаг. Именно осторожно, не переоценивая свои силы. На другое сегодня он не имеет права.

Петр поднял глаза. Стояли дома, точно тесаные камни, цельные от земли до неба, нерасторжимо цельные в своей неприязни и ненависти своей. Никогда Лондон не виделся Петру таким враждебным, как в это утро. Не верилось, что когда-то Петр любил бродить по улицам этого города, мчаться по серой воде Темзы на катере, блуждать по далеким окраинам города, слушать бродячих ораторов и певцов, покупать букеты вереска, встречаться с Кирой. Встречаться с Кирой?.. Надо сегодня же дать телеграмму в Глазго. Телеграмма уйдет, и наступят дни ожидания. День, второй, третий... Приедет или нет? Как не приехать — приедет! Каким же нелегким был этот год. А солнце все еще трудно движется к городу. Удар — шаг, еще удар — новый шаг... Прежде чем решиться на действие, надо призвать свой собственный опыт и, пожалуй, опыт товарищей. Адреса? Три, целых три. Какое это сейчас богатство — три адреса! Сподвижники Литвинова? Да, пожалуй, сподвижники и помощники. Прежде чем действовать, попросить у них совета. Пройти по тайным путям, разыскать и встретиться. Где? Возможно, в коридорах Британского музея, а может, на пароме, идущем через Темзу. Вода не слышит, вода не выдаст. Но не исключен и другой путь — пенька. Красный купец прибыл в Лондон, как издавна приезжали в английскую столицу купцы из России. Прибыл и разложил товар: пеньковые полотна попрочнее льняных, а каковы канаты!

Солнце приблизилось к городу еще на вершок, но в городе светлее не стало. Когда-то Петр презрел бы в себе осторожность и скрушил бы крепость с ходу. Презрел бы осторожность, как нечто недостойное настоящего человека, а сейчас возвел эту осторожность в доблесть. Петр шел по Лондону. Светало все заметнее. Однако от одной зари до другой длинный путь. Что ожидает Петра сегодня? По каким магистралям пройдет путь, какой улицей начнется, какой площадью закончится? Неисповедимы пути чужого города.

Петр бывал в Лондоне много раз. Он жил в нем, знал его ближние и дальние пути. Иногда казалось, что он пересек тот тайный предел,

когда город перестает быть чужим и с наступлением утра как бы выходит навстречу. Но так могло произойти с любым другим городом, только не с Лондоном. Чтобы пересечь заповедный рубеж, наверно, нужны не годы, а сама жизнь, иной образ жизни, совсем иной, а не тот, который вел гонимый русский. Петр помнит, как в первый приезд он был в одном лондонском доме, судьба свела его с библиографом Британского музея, молодым ученым, посвятившим себя изучению болгарского Возрождения. Семья молодого англичанина принадлежала к старолондонской интеллигенции, когда-то пользовавшейся дворянскими привилегиями, но потом оскудевшей. Однако вопреки всем переменам в семье дом являл собой непотревоженный уголок минувшего века. Петр помнит матовый блеск тисненой кожи, которой были оклеены стены, темное, точно приглашенное временем дерево кресел, тусклый от свет посуды, тяжелой, отмеченной густой паутиной трещинок, лишенной вульгарной белизны. И все это — стены, кресла, фолианты, посуда — будто пропитались сумерками, которые, наверно, не размывались ни ярко облачной лондонской весной, ни осенью и олицетворяли в этом доме само время, его мудрое молчание, устойчивый покой, да, именно покой, который навсегда останется достоянием этой страны, ее городов и сел и который ничто не в состоянии нарушить. Что-то было в этом доме неразгаданное, такое, что навсегда останется за всесильной чертой тайны. Наверно, это смешно, но Петру не раз казалось: сумерки старой лондонской квартиры окутали весь Лондон. Русскому человеку непросто преодолеть этот рубеж и постичь душу города. Петр говорил это себе каждый раз, когда предстояло совершить в Лондоне что-то значительное. Такое ощущение было и теперь. Красный купец прибыл в Лондон. Отгремела слава парусных фрегатов — на пеньковых парусах и канатах гордый бритт подчинил себе половину планеты. А как теперь? С какого края проникнуть в дебри Сити, как проложить себе дорогу в их первозданной чаще?

Такое ощущение, что ты на острове! Спор с Репниным продолжается. Вот так и бывает с дипломатом в жизни: ты и твоя совесть да еще чуть-чуть ума и храбрости, если, разумеется, ими обладаешь. А против тебя чужая страна с тоскливой тьмой чужой речи и интересов чужих. Если и есть в такую минуту добрый друг, друг верный, который все может заменить — и семью, и близких, и даже страну родную, то это доверие соотечественника, родины твоей. Полное доверие. С ним, с этим доверием, ты все выдюжишь, все преодолеешь, тебе, в сущности, ничего не страшно, а вот попробуй со-

владать со всем тем, что на тебя навалилось без него! От одной мысли умрешь, хотя в жизни бывает и такое. Спор с Репниным продолжается! Все, что стремился узнать в эти дни Петр, не далось ему щедрой пригоршней. Это больше походило на то, как возникает мозаика: разноцветные горы камней окружают художника. Картина рождается от камешка к камешку. Впрочем, то, что родилось сейчас, меньше всего походило на картину — всего лишь кусок мозаичного пола римского храма, единственное, что удалось раскопать на месте древнего города. Итак, картины не было, возникала лишь ее деталь.

Все малые и большие дороги вели к одному человеку — молодому клерку на Даунинг-стрит Джеймсу Тейлору. Да, тот самый Джеймс Тейлор, который совершенствовался в русском под руководством Литвинова, а затем посредничал при освобождении Чичерина из Брикстон-приз. Однако пути твои, господи, действительно неисповедимы: русский народный посол заключен в Брикстон и посредником между министерством иностранных дел и послом выступил Тейлор. Подробности, которые узнал Петр, были любопытны: Тейлор хочет посетить Литвинова. Хочет или, быть может, уже посетил? Петр решил, что при всех обстоятельствах его встреча оправдана. Петр дал знать об этом Тейлору. Судя по тому, как быстро пришел ответ, не было сомнений, что эта встреча отвечает интересам и англичан.

## 110

Автомобиль бежит неширокими улочками Вест-Энда. Всесильная копоть перекрасила кирпич, бетон, камень. Дома кажутся серыми: чем старше, тем темнее. Только двери сохранили свой цвет — оранжевые, коричневые, ярко-черные. Двери да, пожалуй, газоны перед ними — глубоко-зеленые. Улица вбегает в рощу, каким-то чудом миновав трущобы пригорода. Трущобы оттеснены отсюда на северо-восток. Там сейчас небо густо-бордовое, задымленное. А здесь прямой путь к рощам и лугам, к чистой воде пригородных озер.

Деревянный дом у дороги, желтый, точно оструганный, просторный бар, светлый и почти пустой. Пол выстлан кирпичом. Окна в кованом железе, из такого же железа сплетены люстра и бра. Из окна справа видно дерево над прудом, чистый луг, рябые коровы на нем. Пейзаж почти деревенский. Молодой человек с неярким городским румянцем идет Петру навстречу.

— Здравствуйте, мистер Белодед? Как удалось сделки с пенькой?

— День добрый, мистер Тейлор. Благодарю вас. Все идет как нельзя лучше.

— Английский флот без доброй русской пеньки рискует оказаться на мели, мистер Белодед.

— Ему и прежде случалось оказываться на мели, мистер Тейлор, и русская пенька была беспомощна выручить его.

— Однако канат из русской пеньки — гарантия успеха, мистер Белодед.

— Садитесь на мель, мистер Тейлор, а мы подумаем, пускать нам в ход наши крепкие канаты или повременить.

— Сдаюсь, мистер Белодед, у русской пеньки отменный ходатай.

Мистер Тейлор любит старорусские слова и лепит их напропалую — «отменный», «ходатай». Впрочем, к чести Тейлора надо сказать, что он охотно, с видимым увлечением говорит по-русски и весьма преуспел.

Однако далаась ему эта пенька! Очевидно, признак хорошего тона для мистера Тейлора в том, чтобы не обнаружить камуфляжа, даже если он явный, но легкая ирония допустима. Иронизируя, Тейлор точно хотел сказать: не заблуждайтесь в своей игре, она никого не обманет.

— Теперь вижу, мы встречались, — произносит Тейлор. В облике молодого человека что-то старомодное, английское. Его полубаки, небрежно расчесанные, и яркие запонки на манжетах, и рыжий костюм в легкую полоску будто из того столетия. Странное дело, но человек в тридцать лет очень хочет выглядеть сорокаletним, хотя понимает: ничто не может приблизить для него заветного сорокалетия. — Да, я вижу теперь, мы встречались, — повторяет Тейлор, приглашая Петра к столу.

Петр оглядывает холл еще раз. Это сочетание дерева, точно окрашенного яичным желтком, и черного плетеного железа, наверно, красиво.

Джеймс Тейлор смущен — не хотелось начинать разговор с Брикстона, однако разговор начат.

— Время, как аэроплан! — произносит Тейлор. — Всегда... впереди.

Наступила пауза. Первая после того, как беседа началась. Все обязательные слова произнесены. Предстоял разговор по существу.

Только сейчас Петр увидел за высокой стойкой бара хозяина. Если верно, что человек повторяет своим обликом какое-то животное, то этот за стойкой бара — слон. Округлые формы, мощные и добрые, меланхолический хобот носа и маленькие глаза, грустные и неизлобивые, — все от слона. И два черноволосых человечка, прислуживающих в зале, очевидно, сыновья хозяина — трудолюбивые слонята.

— До меня дошли слухи, что у вас возникли трудности с русскими прилагательными

и вы решили призвать на помощь старого учителя, — сказал Петр, смеясь, не сводя глаз с Тейлора.

Собеседник Петра улыбнулся. Ему определенно были приятны эти слова.

— Браво, вы все знаете! — воскликнул Тейлор с видимой искренностью. — И про... прилагательные знаете!

Руки Тейлора робко взлетели. Кстати, степень восприятия им русской речи заметно выше его умения говорить по-русски. Впрочем, это, наверно, характерно для тех, кто изучает русский. У изучающих английский процесс обратный.

— Ну что ж, если это и так, цель достигнута, — деланно простодушно заметил он. Он смеялся тем сдержанно-искусственным смехом, когда звучит только голос, а глаза остаются безучастными. Ему легко было перестать смеяться. — Вы хотите знать, мистер Белодед, что заставило меня поехать в Бристон-приз? — спросил Тейлор так кротко и спокойно, будто только что и не смеялся.

Петру казалось, что медленно-ровный голос Тейлора походил чем-то на его рукопожатие, на жесты, расслабленные и вместе с тем рассчитанные, на выражение глаз, которые смотрели тихо и отрешенно-внимательно.

Тейлор умолк на миг, и этим тут же воспользовался слоненок. Он приволок блюдо дымящихся ростбифов, щедро засыпанных кольцами лука. На столе оказался и жареный картофель, крупно нарезанный, приятно подсоленный. Нашлось место и для салатниц, и для кувшинка с вином.

— Вы обратились ко мне в самое время, — начал англичанин, когда добрые куски ростбифа перекочевали с блюда на тарелки и первая кружка вина была выпита, — он очень аппетитно произнес это русское «в самое время». — Мистер Литвинов может быть освобожден в ближайшие три дня, — проговорил он без запинки, видно, эту часть беседы он заучил наизусть. — Английские власти помогут русским вернуться на родину. Все ваши просьбы будут выполнены...

— Этому великодушию, наверно, есть цена? — засмеялся Петр.

Тейлор напряг взгляд — не хотелось, чтобы разговор принял такой оборот.

— Какая? — спросил Петр.

Где-то рядом послышалось несмелое дыхание слоненка. Но Тейлор предупредительным жестом оттеснил доброе животное к стойке.

— Помните, как вернулся в Россию мистер Георгий Чичерин? — спросил Тейлор.

— Вы имеете в виду обмен?

— Конечно, на господина посла Бьюкенена, — подтвердил Тейлор.

Петр поднял глаза, взгляды слона и слонят, казалось, были обращены на него.

— Вы считаете обмен обязательным условием и сегодня? — спросил Петр.

— Да.

— Значит, Литвинов возвращается в Россию из Англии, а кто-то второй должен вернуться из России в Англию?

— Первый.

— Кто же?

— Брюс Локкарт.

Слон обвил бревно хоботом, нелегко приподнял — вот-вот рухнет. Его глаза полны крови.

— Брюс Локкарт?

— Да.

При том умении понимать русскую речь, каким мистер Тейлор обладает, эти лаконичные «конечно» и «да» удобны.

Значит, единственное, чего хочет Тейлор, обменять Литвинова на Локкарта. А Петр думал, что Тейлора привела сюда добрая память об учителе, желание протянуть ему руку. Наверно, нет более неразборчивого в средствах существа, чем молодой клерк, подающий надежды. Ему кажется: если за пять лет он не выбьется в люди, наша древняя планета распылится в прах и погребет под обломками многомудрое свое дитя.

— Но мог бы я рассчитывать на ваше содействие, мистер Тейлор, если бы возник вопрос о моей встрече с Литвиновым?

Англичанин поднял кружку.

— Да, конечно. Хотя есть одно... примечание.

— Какое примечание, мистер Тейлор?

Тейлор нарочно долго пьет вино.

Вопрос все еще висит в воздухе, как то бревно, поднятое хоботом. Глаза слона напряженно красны, словно огни бакенов в предвечерний час на Темзе. Час действительно предвечерний — луг за окном потускнеет.

— Если вас устраивает встреча с Литвиновым через три дня, я вам ее обещаю.

Иногда правда может быть обнажена, если ее вскрыть прямым ударом.

— Не хотите ли сказать, что за эти три дня должна произойти ваша встреча с Литвиновым? — спрашивает Петр.

Новая пауза. Сейчас они стоят над столом, готовые поблагодарить слона и его двух слонят, откланяться и выйти. Это пальто с плюшевыми отворотами, котелок, зонт дополняют представление о Тейлоре. Молодой человек пришел сюда из девятнадцатого века. А может быть, он призвал всесильный тот век, чтобы защититься от века нынешнего?

— Я увижу господина Литвинова завтра, — произнес Тейлор медленно, — и смогу передать от вас... привет, — добавляет он без улыбки.

Петр вернулся в город. Не хотелось идти в гостиницу, и он пошагал вдоль Темзы. Река казалась черно-багровой: черной от надвигающегося вечера, багровой от неушедшего солнца. Ощущение тревоги, которое возникло еще за городом, здесь, у реки, стало острее. Петр помнит самую интонацию голоса Ильича, когда в последний раз в Москве, перекладывая большую руку с подушки на маленький столик у кровати, Ленин сказал: «Надо помочь... Папаше...»

Сейчас Петр припоминает, что видел однажды письмо Ильича Литвинову. Там так и было написано: «Папаше от Ленина». Петр и сейчас помнит это ощущение, когда он прочел письмо Ильича. Ничто так не передает характера человека, строя его души, сердца, как письмо. Будто взглянул человеку в глаза, услышал его голос. Это письмо было характерно не только для Ленина, но и для Литвинова. Такое письмо Ленин мог написать именно Литвинову, оно учтывало особенность характера этого человека. Помнится, Ильич писал там: «...надо действовать решительно, революционно и ковать железо, пока горячо». Так и сказано: «Вы тысячу раз правы... что надо действовать открыто». И еще там было: «За транспорт беритесь вы и познергичнее». Что ни слово, то призыв к действию. А может, все дело в моменте, когда было написано письмо, и характер Литвинова здесь ни при чем? Письмо написано в самый канун пятого года. Революция была не за горами. Первая революция. Быть может, все дело в этом? Вот грянула революция, и Литвинов стал народным послом в Лондоне. Да нет, суть не в дипломатии, в ее больших и малых правдах. Наоборот, все, что делал человек, он делал вопреки дипломатии. По крайней мере, наперекор тем нормам, которые она до сих пор исповедовала. Посол — это черный фрак и черный лимузин, медленно шуршащий по улицам Лондона. Когда это было, чтобы посол выступал на митинге трамвайщиков? Или назначил шотландского учителя Маклина советским консулом? Нет, не просто единомышленника, а честного человека, именем которого в Шотландии можно открыть любую дверь. Взял и назначил советским консулом. Погодите, но ведь это вопреки всем нормам дипломатии. Да, вопреки! Но главное не в дипломатии — в революции. Пора понять: в России произошла революция, какой не было с той поры, как земля встала на свои библейские опоры.

Значит, завтра в полдень Тейлор будет в Бристоле и Литвинов узнает, что англичане согласны обменять его на Локкарта. Обменять. Любопытно, что самая древняя форма человеческих отношений, древняя и, быть может, при-

митивная — обмен, — изжив себя во всех сферах современного общества, осталась в наиболее тонкой и аристократической из них — дипломатии. Давно не меняют хлеб на пряжу, галеры на табун лошадей, раба на раба, а дипломатов еще меняют. Меняют примитивно, как меняли в свое время кусок золота на алмаз-самородок. Того гляди, твой партнер по обмену выхватит у тебя кусок золота до того, как отдаст алмаз. Выхватит, и помнишь как звали — только пятки блеснут! Процедура обмена, как ее определила современная практика дипломатов, в общем сводится к тому, чтобы предупредить этот побег. Впрочем, не будем голословны. Над пограничной рекой повис мост. Часовые, с каждой стороны по трое, выводят дипломатов к середине моста, точно к середине. Дипломаты, обремененные тяжелыми дохами и титулами, идут по мосту, с завидной легкостью отбивая шаг. Они достигают середины моста и становятся лицом к лицу. Да, они стоят сейчас друг против друга, будто часовые на смене караула. Команда — дипломаты делают шаг в сторону. Еще команда — два человека одновременно (одновременно!) делают шаг вперед. Не дай бог, один из дипломатов замешкался и запоздает сделать заветный шаг вперед: за линией окажутся два дипломата, свой и чужой! Чем черт не шутит, того и гляди, сорвется с места чрезвычайный посол, и помнишь как звали!..

Завтра в полдень Литвинов узнает, что Петр будет у него еще на этой неделе. Только бы Тейлор сообщил ему эти новости, а Литвинов сумеет постоять за себя. В позиции англичан не все так просто, как кажется на первый взгляд. Если мы начнем с ними разговор об обмене, мы сразу отождествим правовое положение Литвинова в Лондоне с положением Локкарта в Москве. Локкарт арестован, следовательно, и правовое положение Литвинова должно быть таким же. Значит, тот факт, что переговоры начались, не означает освобождения Литвинова из Бристоля. Наоборот, этот факт предполагает, что Литвинов должен находиться в Бристоле, поскольку взят под арест и Локкарт. Но в Москве переговоры об обмене могут вести те из англичан, которые не находятся под арестом, в то время как в Лондоне таких русских нет. А как же Петр? По существу, сегодня он уже начал эти переговоры. Нет. Петр должен отстраниться, начисто отстраниться от каких-либо переговоров по этому вопросу с Тейлором. В конце концов его правовое положение в Англии (ткацкие станки в обмен на лен и пеньку, только ткацкие станки!) не дает права на ведение таких переговоров. Расчет Петра прост. Пусть разговаривает на эту тему Литвинов. Именно это обстоятельство может заставить англичан освободить его. В своем нынешнем положении Литвинов лишен

возможности вести переговоры и тем более сноситься со своим правительством — он узник. Значит, он должен быть освобожден.

Но может случиться и так, что англичане заупрямятся и Литвинова не освободят. Как следует поступить тогда? Тридцатистрочная заметка в правом верхнем углу любой газетной полосы обладает магической силой. Быть может, эта заметка и будет тем ключом, который наконец откроет железную дверь. Фронт лондонских газет отнюдь не так монолитен, как кажется иногда. Желание обойти партнера и напечатать нечто необычное сильнее взаимной солидарности.

## 112

Встали темные вязы и медленно отступили. Вот и отель. Петр войдет сейчас в гостиницу и по привычке взглянет через голову портре в гнездышко справа. Нет ли письма от Киры, или, лучше, телеграммы, или, еще лучше, записки? Но произошло нечто такое, что было много проще и счастливее того, о чем думал Петр. В гнездышке письма не было, но зато поодаль в глубине холла за столиком сидела Кира. Он узнал ее по движению протянутой руки, по чуть-чуть приподнятым плечам, по откинутой голове, по волосам — только у нее они такие. Лицо ее было обращено к открытой двери, но Кира, казалось, ничего не видела.

— Кира! — крикнул он и замер.

Она встала, близоруко отвела голову — свет из открытой двери слепил ее, шагнула на встречу Петру, беспомощно всплеснула руками — свет все еще мешал ей видеть, вошла в тень и наконец рассмотрела Петра.

— А я тебя жду, — сказала она.

— Я тоже, давно.

Видно, этих слов, сказанных ими друг другу, было достаточно, чтобы она овладела собой. Сейчас от ее столика до него было шагов семь. И по тому, как она прошла это расстояние, медленно, церемонно склонив голову, не торопясь, даже сдерживая себя, он все понял. А потом они шли по парку и хлынул ливень. Она раскрыла зонт, но зонт не уберег их. Все деревья неожиданно проходили, и нельзя было найти места ни под одним из них. Они перебегали от дерева к дереву. Потом выбежали на поляну и увидели, что окружены потоками воды. Вода била по ткани зонта с такой силой, что казалось, ткань прорвется. Они стояли, припав друг к другу. Только тонкая косточка ручки зонта была между ними. Она соединяла их и, быть может, разъединяла.

Когда белая ветвь молнии, обнаженная, посеннему без листьев, падала на землю, чудилось, что сама земля вместе с камнем зданий,

оград и мостовых расплавилась и побежала к Темзе. Этот шквал ненастья обступил Петра и Киру и будто соединил навечно: если есть от ненастья спасенье, то для него — в ней, а для нее — в нем.

Неожиданно она выглянула из-под зонта, и струи воды побежали по лицу.

— Скажи, ты приехал из-за меня?

Он подумал, что она подставила лицо дождю, чтобы скрыть слезы.

— Из-за тебя.

Она сдвинула зонт, и вновь по ее лицу побежали струи ливня.

— Нет-нет, скажи, ты приехал сюда, чтобы увезти меня?

— Увезти.

— Я тебе все хотела сказать, — произнесла она. — Чтобы человек по-настоящему почувствовал себя счастливым, надо вначале отнять у него это счастье.

— А потом вернуть? — спросил он.

— Вернуть, как у меня получилось с мамой, — сказала она. — До того как я уехала в Россию, мама казнила меня изо дня в день. А теперь нет ее счастливее.

— Отнять, а потом вернуть счастье? — Он понимал, что Кира говорит не о Петре, а о своей маме.

— Обязательно вернуть, — сказала она.

— А если не вернуть? — спросил он.

Она затихла.

— Я тебя не понимаю.

— А вот если отнять счастье, а потом не вернуть, как ты сделала со мной? — повторил он.

Ливень стих. Неожиданно стало тепло. На встречу им будто вставали из тумана и медленно шествовали черные деревья. Когда-то в дни загородных прогулок с Кирой в Глазго у Петра был молчаливый зарок. Он не разрешал ни случайному прохожему, ни сухому придорожному кусту, ни рекламной тумбе, стоящей у скрещения окраинных улиц, ни дереву пройти между ним и Кирой. Наверно, это было наивно, но было именно так. А сейчас деревья свободно шли между ними.

Петр и Кира ждали речного трамвая, который должен был отвезти ее куда-то на левый берег Темзы. Там жила ее тетка, та самая, у которой она останавливалась в прошлый раз.

— Нет, ты не думай, что я уеду сейчас со всем, — сказала она, преданно глядя на него. — Ты дай мне телеграмму, и я приеду тебя провожать.

Подошел пароходик и забрал ее. Пароходик отчалил и скрылся в полумгле.

А Петр смотрел вслед, думал: ей не надо было перебывать лето, как ему. Ей было легче, чем ему. У нее был этот ее расчет, который, как второе дыхание, помогал ей унять

боль. Но он тут же осек себя. Если бы она была такой, какой он видит ее сейчас, он бы не полюбил ее. Пусть она уйдет от него, но пусть уйдет такой, какой он знал ее всегда. Но почему же тогда ей так легко далась разлука и почему она сейчас там, в гостинице, шла к нему этой походкой, сдерживая порыв, словно любяясь собой? Пусть уйдет, но пусть тревога владеет и ею. Пусть хоть на миг будет слабым человеком, который не может совладать с бедой. Пусть будут и слезы и тревога. Пусть будет даже крик о помощи, как было в парке, когда шумел ливень. Нет, это не нужно ему, это нужно его мыслам о ней...

Петр вернулся в отель. Оказывается, звонил Тейлор, и, кажется, дважды: очевидно, дело приняло оборот неожиданный и для него — без большой нужды он не позвонил бы дважды.

Тейлор недолго оставлял Петра в неведении — раздался новый звонок.

— Добрый день, господин Белодед! — заговорил Тейлор. — Как поживает русская пенька?

— Великолепно, мистер Тейлор! — парировал Петр; тон Тейлора не должен сбить с толку, наоборот, надо поддержать этот тон и заставить Тейлора отказаться от него. — Английский флот без надежных русских канатов — какая ему цена?

— Пусть будет у вас сто контрактов, господин Белодед!

— Благодарю вас, мистер Тейлор!

Тейлор перевел дух — и нехитрые остроты стоят сил.

— Неожиданные обстоятельства, мистер Белодед.

— Мне нравятся неожиданные обстоятельства, если они не печальны, мистер Тейлор.

— Нет, не печальны, мистер Белодед. — Тейлор рассмеялся почти беззаботно. — Завтра я не могу быть у господина Литвинова.

— А вы хотели быть там и завтра?

— Конечно, я говорил вам.

Разумеется, хитрец Тейлор ничего не говорил Петру о завтрашнем визите в Бристон по той причине, что не предполагал быть там завтра, да и версию о завтрашнем визите в Бристон Тейлор только что придумал. Придумал единственно для того, чтобы ускорить визит Петра в лондонскую тюрьму и встречу с Литвиновым.

— Мистер Тейлор, меня осенило: а нельзя ли мне быть в Бристоне завтра вместо вас?

Тейлор затих. Не проник ли Петр в замысел Тейлора?

— Я... могу вам предложить, — произнес Тейлор спокойно.

— Благодарю вас, мистер Тейлор. Нам остается договориться о деталях.

— Пожалуйста, мистер Белодед.

Они условились: Петр будет у Литвинова завтра в два. Петр положил трубку. Что же произошло вчера в Бристоне между Литвиновым и Тейлором? Их беседа определенно осложнилась, если столь неожиданно возникла необходимость разыскивать Петра и назначать встречу на завтра. Петр должен быть в Бристоне завтра в два — нелегко прожить сутки, почти сутки. И вновь он стал думать о Кире. Ему все казалось, что она в Лондоне. Он вспомнил, что уже с парохода она ему крикнула, что будет на будущей неделе в среду. Будет ли, и надо ли, чтобы она была? Он заметил, что, вспомнив, он не растревожился, как, впрочем, и не испытал большой радости. Он полагал, что Кира устремится к нему, а она пошла к нему этой своей походкой. «Я отлично прожила эти месяцы и без тебя, — точно говорила она ему этой своей походкой. — Естественно, я тосковала по тебе. Но в моей власти было совладать с этой тоской. Я совладала. А вообще я сильнее, чем ты думаешь обо мне. Я сильная. Настолько сильная, чтобы не повернуть к тебе, не повторить ошибки. Для меня это была бы ошибка». Именно так она должна была думать. Именно так и думала. Это похоже на нее. Тогда зачем же он пытается вызвать ее из небытия? Упорно пытается. Внезапная мысль остановила Петра: Елена. Когда-то и она жила здесь. Быть может, ходила по этой набережной, поднималась по этой лестнице, сидела вот под тем старым вязом. А как бы на месте Кирьи повела себя она? Но она настолько другая, что вряд ли она могла бы оказаться в положении Кирьи.

## 113

Белодед прибыл в Бристон без четверти два.

Петр не преминул установить, что коридор, которым он шел сейчас, был и просторнее, и выше, и светлее того, которым они следовали тот раз на свидание с Чичериным. Впрочем, и комната, которой они закончили длинный путь, была похожа именно на комнату, а не на тюремный каземат, как тогда. Помимо обычных окон, из которых, к удивлению Петра, виднелось небо (судя по всему, этим достоинством в Бристоне обладали не все окна), здесь были камин и люстра, большая, домовитая, которая за долгую свою жизнь висела, наверно, и над столом, застланном скатертью.

Вошел Литвинов, увидел Петра, протянул руки. Как-то мгновенно запотели очки. Литвинов снял их, достал платочек, протер. Сейчас очки почти сухи, да и голос свободен от волнения.

— Берите стул и идемте со мной. — Литвинов подходит к окну. Окно в отличие от стен не слышит, а может, он просто захотел воспользоваться возможностью взглянуть на настоящее небо. — Все, что вы хотите мне сказать, — говорит Литвинов, — вы должны успеть произнести за сорок минут.

— Готов поступиться пятью минутами, Максим Максимович... в знак признательности.

— Вы щедры, — смеется Литвинов.

За жизнелюбивым смехом Литвинова трудно рассмотреть настроение. Без смеха ему нельзя: поступишься — погибнешь.

— Вы видели Ильича до отъезда?

Литвинов сказал «Ильича», точно хотел спросить, как он совладал с черным днем тридцатого августа.

— Я видел его за день до отъезда, — сказал Петр. — Он еще слаб, но быстро поправляется и полон надежд.

— Газеты пишут, что опасность не миновала, — сказал Литвинов.

— Миновала, — заметил Петр.

— Ну что ж, это весть добрая, — сказал Литвинов. — Теперь коротко: ваше мнение об европейской ситуации. Ваше.

Петр готовился к разговору по конкретно деловому вопросу, но отнюдь не по столь зыбкой и неясной проблеме, как общеевропейская ситуация. С чего здесь начинать и чем кончить?

— По-моему, у войны есть два конца, Максим Максимович. Первый: чистая победа союзников, чистая настолько, чтобы единолично им воспользоваться и наказать Германию. Второй: Антант делает Германию союзницей и обращает ее армию против революционной России.

Литвинов улыбнулся:

— Невероятно. Однако вы не исключаете и такой вариант?

— Я не думаю, чтобы союзники решили сохранить германскую армию даже после ее поражения, — сказал Петр. — Мы опасаемся альянса немцев с союзниками, Антант еще больше боится союза немцев с нами.

— Значит, остается первый вариант? — спросил Литвинов.

— Да.

— Тогда как поведем себя мы? Не думаете ли вы, — спросил Литвинов, — что в этом случае мы обретем какие-то козыри?

— Да, наверняка, — ответил Петр.

— Но есть еще один вариант — третий, — сказал Литвинов. — Вы понимаете меня?

Пауза была короткой.

— Да, разумеется.

Сказав «третий», Литвинов имел в виду главный вариант — революцию.

— Все решится в течение этих шести недель, — сказал Петр.

— Может быть, даже четырех, — заметил Литвинов.

Подошел человек в форменной куртке служителя тюрьмы. Высокий, худой, с мглистыми сединами. Они у него были какими-то мглисто-синими, как синим было его лицо. Быть может, это цвет серых камней Брикстон-приз?

— Господин посол, вы имеете еще двадцать минут, — сказал человек, почтительно поклонился и отошел.

— Благодарю вас, — сказал Литвинов и проводил его взглядом.

Петр отметил для себя: поклон человека в форменной куртке был весьма почтителен, и человек при этом сказал: «господин посол». Очевидно, сами слова «господин посол» должны были прозвучать в Брикстоне необычно.

Итак, в распоряжении собеседников оставалось двадцать минут, только двадцать, а до окончания разговора еще было далеко.

— У меня к вам будут три поручения. Очень прошу вас все хорошо запомнить, — сказал Литвинов и умолк, как показалось Петру, пытаясь сосредоточиться.

«Сейчас пойдут имена, названия улиц, номера домов», — подумал Петр. Новое русское посольство продолжало путешествовать по Лондону. Оно посещало банк и вокзал, ненадолго останавливалось у почтового окошка, делало короткую передышку на скамье в Гайд-парке, путешествовало в омнибусе по городу и, как может удостоверить Петр, не пренебрегало обширной и гостеприимной кровлей Брикстонской тюрьмы.

— Я прошу вас посетить дома... Вот адреса. Запоминайтесь...

Литвинов говорит. Каскад имен, названия районов Лондона, названия улиц, имена хозяев домов, наконец самих адресатов. Очень много номеров улиц, квартир. Каждое название и каждый номер Литвинов произносит раздельно, будто давая Петру возможность вцементировать номер и имя в память.

Вновь подошел человек с синими сединами.

— Господин посол, у вас еще десять минут. — Его поклон был, как и прежде, подчеркнуто почтителен.

— Оказывается, мои достоинства и мои недостатки имеют точное измерение — Локкарт, — произнес, смеясь, Литвинов, когда человек отошел. Его смех, как, впрочем, и хорошо оттуженный костюм, и свежая сорочка, был спасительным в нелегком положении. — Я хотел сказать Тейлору: честное слово, я стою больше. Но ведь у них своя мера длины и своя мера веса.

— Но как я понял Тейлора, этот разговор не имел для него результата, — сказал Петр.

— Не только для него, но и для меня, — заметил Литвинов. — Тейлор уговаривал меня дать телеграмму в Москву прямо из Бристона.

— Телеграмма, посланная вами из Бристона, освободит их от необходимости освобождать вас из тюрьмы, — сказал Петр.

— Именно! — воскликнул Литвинов. — И это, разумеется, я не скрыл от Тейлора, но тот сделал круглые глаза. Коли ему хочется делать их круглыми, пусть делает. Кстати, какого вы мнения о нем?

Превыше всего именно твоё мнение, даже, как сейчас, о Тейлоре. Он должен оценить твою способность видеть, анализировать, мыслить. Ему это необходимо, чтобы потом, когда он вспомнит этот разговор от начала до конца, правильно расставить акценты.

— Мне кажется, — сказал Петр, — что в разговорах с вами он похваляется положением в министерстве иностранных дел, а в разговоре с коллегами из министерства связями с вами.

Литвинов нахмурился. Что бойко — то мелко, — кажется, так когда-то сказал Литвинов. Петр сейчас видел, ему была не по душе фраза Петра. В этой фразе Литвинов мог рассмотреть претензию. В его вкусе другое: спокойное и рациональное.

— Как вы считаете, — спросил Литвинов, — можем ли мы рассчитывать на его лояльность? Или в нашем деле он сохранит нейтралитет?

Петр задумался: не слишком ли много задач для получасового разговора? Но можно ли рассчитывать на лояльность Тейлора? Нет, не на доброжелательность, а именно на лояльность. Если не рисковать ошибиться, можно обратиться к ответу, который при всех обстоятельствах будет верным. Надо сказать, что Тейлор сохранит нейтралитет. Погодите, но нейтралитет не синоним лояльности? Нет, пожалуй, нейтралитет меньше. Но ведь Литвинов спрашивает мнение Петра. Как полагает Петр, Тейлор будет лоялен, но практически эту лояльность не следует учитывать, нет расчета.

— Что будет практически, я представляю, — возражает Литвинов. — Меня интересует лояльность Тейлора как таковая. Есть она в природе?

— Скорее... есть.

— Он вас еще не приглашал к себе? Пригласит. Имейте в виду, что у семьи Тейлора... русские традиции. Сегодня это выражается в том, что именно в доме Тейлора собираются члены русского клуба во главе с сэром Джорджем Бьюкененом...

Подошел человек с синими сединами, показал на часы:

— Господин посол, ваше время истекло, но пять минут я могу взять на себя.

— Благодарю вас, мистер Кейк.

Но как Литвинов использует эти пять минут, которые великолепно предоставил ему человек с синими сединами?

— Послушайте, Белодед, все хотел вас спросить, какими пистолетами вы увлекаетесь? — спросил Литвинов. — Браунингами или кольтами? Если память мне не изменяет, вашей страстью были кольты?

Петр рассмеялся. Наверно, это характерно для Литвинова. В тот раз он запомнил эту деталь: дипломат, увлекающийся кольтами. В его сознании Белодед отождествляется с этой страстью.

— Нет, зачем же кольт и браунинг, сейчас есть великолепная машина смит-и-вестон, — заметил Белодед.

— И вы, конечно, были у лондонских оружейников и видели ее?

— Видел.

— И я увлекался когда-то оружием! Но об этом, — Литвинов помедлил, оглянулся вокруг, — в другой раз.

Они быстро пошли от окна.

— Вы видели этого мистера Кейка, который так любезно предоставил нам эти пять минут?

— Да, разумеется.

— Простая и верная душа, хотя и работает здесь не первый год. — произнес Литвинов, пытаясь обнаружить взглядом человека с синими сединами, который, видимо, на минутку вышел в коридор.

— Между прочим, он относится к нам не без симпатий, и я ему верю. Ему ведь незачем хитрить. — Литвинов посмотрел на распахнутое окно. — У меня такое впечатление, что еще на этой неделе мы с вами встретимся под чистым небом.

## 114

Тейлор пригласил Петра к себе.

Хочешь не хочешь, а продолжишь спор с Репниным: для Петра британская столица сейчас именно остров необитаемый. Для Петра — не для Тейлора. За Тейлором — ревнивое участие родного города, сонм друзей и советчиков, многоопытный Форейн-Оффис. За Белодедом только он сам, Белодед. Нет, здесь девятнадцатый век ни при чем! И многомесячные поездки на перекладных, и длинные российские дороги, и полосатые столбы упомянуты не к месту! Все может обернуться так круто, что ты окажешься один. Короче, в посольстве пожар и судьба большого дела, которое тебе доверено, как собственная судьба, в твоей власти.

В семь вечера Петр был на Бейсугтер. Подъезд трехэтажного каменного дома, чём-то

напоминающего гостиницу. На звонок вышел Тейлор.

— Простите, что я не при галстуке — работал... — как это по-русски? — до седьмого пота! — молодой дипломат одет с изысканной простотой. Небрежность его домашнего костюма рассчитана. — Подписал гору бумаг и могу съесть вола!

Тейлор не рисуется: ему действительно кажется, что он много работал и имеет право быть довольным собой. На взгляд Петра, гордость Тейлора наивна: вряд ли ему ведом смысл слов, которые он произносит, — «до седьмого пота».

Они идут по дому. На улице полдень с облачным небом, а тут сумерки. В гостиной портрет человека в жабо — наверно, далекий предок. По лицу разлился румянец, в то время как губы посинели. Румянец бело-розовый, стариковский, от холодной спальни, в которой, по английскому обычью, должно быть, спал предок. Впрочем, синие губы тоже от холодной спальни. Если бы можно было заглянуть чуть-чуть вперед, то нетрудно установить: синие губы предрекли почтенному предку кончину — предок умер в своей спальне, окоченев, — английская смерть для знатных и, пожалуй, незнатных. А сейчас предок задумался, смежив набухшие веки и скав губы. Где-то волнистое жабо слилось с волнистой кожей лица — из жабо торчат только глаза, выражющие и норов и упорство, да старушечий рот, исполненный неутоленной гордости и презрения, на века и века вперед — презрения. Сколько поколений Тейловор обречены ходить под взглядом этих глаз и нести на себе это презрение?

— Не нашли ли вы хорошего покупателя пеньки? — спросил Петр. Он решил заплатить Тейлору за его остроты сторицей.

— Нет, я хочу говорить о пеньке в той мере, в какой она относится к дипломатии, — парировал Тейлор.

— Но предметом нашего разговора будет пенька, мистер Тейлор, — настаивал Петр.

— Дипломатия, мистер Белодед.

Два часа пополудни слишком поздно для ленча, впрочем, в Лондоне час ленча у каждого свой: у докеров в двенадцать, у клерков Сити в двенадцать тридцать, у деловых людей — между часом и двумя. Что же касается Тейлора, то он лишен предрассудков и по необходимости может сесть за стол в одно время с докерами, клерками или деловыми людьми.

Человек с красным затылком, накрывавший на стол, художник: сочетание добрых кусков мяса, зажаренных на сильном огне, со свежеподжаренным хлебом и искристой грудой зеленого салата хорошо и по краскам.

Тейлор приглашает гостя к столу — он накрыт в комнате рядом.

— Мистер Белодед, как вы знаете, я вчера был у господина Литвинова. Я подробно изложил ему предложения об обмене и просил дать телеграмму в Москву. — Речь Тейлора текла довольно гладко; самые гладкие речи мистера Тейлора, как успел уже убедиться Петр, были самыми важными, он возлагал на них известные надежды и репетировал. — Он сказал, что из тюрьмы ему депеша посыпать трудно, — все той же безупречной скороговоркой произнес Тейлор. — Не думаете ли вы, что для вас это было бы удобнее, господин Белодед?

Вопрос поставлен точно: Литвинов должен оставаться в тюрьме, а ты пошлешь телеграмму. Главные линии замысла англичан прорачивались все четче. Англичане были достаточно осведомлены, насколько серьезна ответственность их агента за события в России, и спешили с его освобождением. Разумеется, они действовали через своих представителей в Москве, но этого им казалось мало. Они хотели, чтобы в этом участвовал Литвинов — его депеша в Москву могла бы решить все. Участвовал, оставаясь в Брикстон-призне. Литвинов дал понять им, что обязательной предпосылкой должно быть его освобождение. Но, быть может, депешу пошлет Белодед? Вопрос поставлен точно и требует ответа.

Однако Петр еще раз может убедиться, что Великобритания — цитадель! Испокон вековвода соединила Британию с внешним миром. Теперь она утратила это свое свойство. Ее волны поднялись и окаменели, обратившись в крепостные стены, Россия отсечена намертво, она в другом мире. Разумеется, друзей, и многих, можно найти и в крепости, добрых друзей, но и они не решат за Белодеда. Вот и обернулся новой гранью спор с Репиным. Итак, вопрос поставлен точно: готов Белодед слать депешу в Москву? Никто не решит этого вопроса за Петра, вопроса, в котором свои свет и тени, свои глубины и скрытые отмелы.

— А стоит ли так спешить с депешей? — спросил Белодед и посмотрел на Тейлора. Тонкие брови англичанина медленно приподнимались — он недоумевал.

Здесь, у окна в палисадник, еще светло, а в большой гостиной с портретом человека в жабо уже вечер. И кресла, обитые плюшем, дремлют вдоль стен. И пепельницы из камня-самоцвета потускнели. Вряд ли эти пепельницы постоянно стоят в гостиной — их принесли сюда в тот вечер, когда здесь были сэр Джордж и его сподвижники по русским делам. Наверно, горел камин и сэр Джордж то и дело подносил к огню зябнущие руки. Вот и сейчас, так видится Белодеду, Бьюкенен обернулся к столу, где сидят почтенные члены русского клуба, а руки, худые стариковские руки вдруг отказались следовать за своим господином, они слов-

но прилипли к огню — не ровен час, вспыхнут и опадут на штиблеты сэра Джорджа маслянистым пеплом. «Полагаю, что лучшего советника по делам России, чем русский клуб, правительству его величества не найти...» Десять человек, сидящих за столом, согласно кивают головами — нелегко опровергнуть это утверждение, даже если ты с ним не совсем согласен.

— Вы сказали: «Стонт ли спешить?» Но ведь речь идет о том, сколько господину Литвинову сидеть в тюрьме? — возразил Тейлор.

— Тогда надо посыпать депешу теперь, — бросил Белодед простодушно.

— Но я это сказал раньше вас: надо посыпать депешу немедленно, — произнес Тейлор.

— Да, да, ни единого дня промедления, — поддержал Петра, он определенно действовал заодно с Тейлором. Они сделали еще по одному кругу и вернулись к исходной точке. Очевидно, Тейлору следовало произнести фразу, ничем не отличающуюся от той, с которой он начал этот разговор. Она, эта фраза, была у него на кончике языка, и все-таки он не решался ее произнести. Неспроста же Белодед прогнал его по кругу. Тейлор медлил. Но само молчание обладало не меньшей силой, чем слова. В сущности, оно должно было сказать то же, что и слова, даже больше, чем слова. И англичанин решился:

— Мне трудно понять, мистер Белодед, причины вашего отказа.

— Простите, но, обращаясь с этой просьбой к Литвинову, вы это понимали?

— Да, но почему депеша в Москву должна быть послана Литвиновым, а не вами?

— По той самой причине, по какой вы это считали вчера, мистер Тейлор.

— Я отказываюсь понимать, мистер Белодед.

Кто-то невидимый прошел по дому, растущевавшись во тьме и тишине, прошел и нещедро разбросал огни по стенам — кажется, и в большой гостиной зажглись бра. Зажглись и вызвали из тьмы неяркий блеск дверных ручек. Кажется, и Тейлор встрепенулся, обратив взгляд в гостиную, — заседание держателей русских ценных бумаг продолжается!

Сэр Джордж здесь авторитет. Его участие дало клубу имя. Он равнодушен к знакам внимания, однако готов их принять сполна — все, что причитается, отдай! Когда сэр Джордж открывает коробку с сигарами, три руки пододвигают пепельницы; не беда, что сэр Джордж окружен хороводом пепельниц, у него это не вызывает улыбки. Когда Бьюкенен неожиданно останавливает усталый взгляд на окне, почтенные знатоки русских дел тянутся к форточке: «Не душно ли вам, сэр Джордж?» Бьюкенен устал, у него болят ноги и поясница, его мучит

головокружение. Как некогда в Летнем саду, его иной раз так завертит и закружит на дорожке Гайд-парка, куда он приходит по утрам, что впору броситься в объятия дубам и вязам. Нет, Бьюкенен принимает знаки внимания не из тщеславия, просто пришла старость и без крепкой руки, которая поддерживает тебя, на ногах не удержаться.

Но вот в глубине дома осторожно щелкнул дверной замок, и большая люстра восприняла шаги человека, входящего в гостиную.

— Сэр Уинстон Черчилль...

Нет-нет, надо смотреть не на сэра Уинстона, а на сэра Джорджа — в своем роде психологический фокус. Взгляните только, как подскочил сэр Джордж, с какой легкостью и радостной бравадой он устремился вперед, как ткнул локтем соседа и отвел створку двери — непросто тучному сэру Уинстону войти в дверь! Но дело даже не в том, как Бьюкенен встретил сэра Уинстона, взгляните только, как он повел себя дальше: сдвинулся рычажок в мозгу человека, пришли в движение колесики, которые были неподвижны едва ли не с рождества Христова! Сэр Джордж уже не полулежит в кресле, а скорее стоит, изобразив своей длинной фигурой вопросительный знак. Диву даешься, как можно принять эту мудреную позу, не утвердив соответствующего места на сиденье. «Настоящему политику, сэр Уинстон, никогда не стыдно отказаться от своих прежних взглядов, если время... Короче, я — за вторжение. Разумеется, я понимаю, что при налоге в шесть шиллингов на фунт это сделать трудно, но при шести шиллингах и десяти пенсах... Речь идет лишь о десяти пенсах, сэр Уинстон!»

В большой гостиной становится все темнее и, так кажется Петру, тише; члены русского клуба погрузились в нелегкое раздумье: десять пенсов и вторжение в Россию.

— Все так ясно, — произнес Петра с той энергией и непримиримостью, с какой вел весь разговор. — Как ни спешно для вас было это дело, вы выждали сутки и обратились с просьбой о депеше к Литвинову. Заметьте, не ко мне, а к Литвинову, и в этом был резон...

— Вы сказали: резон. Какой? — спросил Тейлор.

К этим жестким «вы сказали» Тейлор обращался не без умысла — он получил от Петра готовые русские фразы и, повторяя их, выгадывал время — в этом напряженном разговоре время было ему очень нужно.

— Если вы частное лицо, вы можете обратиться с этой просьбой и ко мне, — проговорил Белодед.

— Я лицо не частное! — почти патетически воскликнул Тейлор. — И все, что я сказал, имеет силу официального разговора.

Любопытно, чем определены русские интересы Тейлора? Его далекий предок, может, тот самый, чей портрет висит в большой гостиной, ходил в Вологду за русским мехом или другой прародитель, не столь древний, но столь же упрямо цепкий, был главой британской дипломатической миссии у Екатерины? В какой мере это было так и насколько все это могло оказать влияние на судьбу Тейлора? Кем видит себя Тейлор в будущем: шефом восточноевропейского департамента на Даунинг-стрит или директором русско-британской, лучше, британской нефтяной компании в городе на Каспийском море?

— А вот о себе я этого сказать не могу, — возразил Петр. — В этом вопросе, разумеется, преимущество у вас. — Петр поймал себя на мысли, что произносит эти слова — «преимущество у вас» — с радостью. — Как вы понимаете, — продолжал Белодед, — этот разговор имеет смысл, если ведется на началах паритетных. Официальному положению вашему должно соответствовать такое же положение человека, с которым вы ведете разговор.

— Вы сказали: «на началах паритетных». Тогда мы зашли в тупик, — проговорил Тейлор.

— Нет, почему же. Литвинов должен быть освобожден из тюрьмы. Он единственное официальное лицо, которое правомочно вести переговоры.

— Ну, что ж, желаю вам... продать всю пеньку, мистер Белодед! — вырвалось вдруг у англичанина.

— Благодарю вас, мистер Тейлор.

Они прошлись, едва вышли из холла. Дальше провожать Петра Тейлор не стал. Нормы вежливости дозированы: меньшее внимание неприлично, большее в данном случае вряд ли уместно.

Петр не мог не спросить себя: «Разрыв ли это и надо ли было вести к разрыву?» Он затревожился: «Однако ты действительно на острове! Не исключено, что Тейлор на этом сочтет свою миссию завершенной и отстранится — в сущности, события пришли к логическому концу и для него. Кто выиграет от такой перспективы?» Литвинов останется в Бристон-призне, а этим определяется и результат миссии Петра на британские острова. Но в какой мере возможен такой исход? Разумеется, англичане пренебрегут судьбой Литвинова и оставят его в Бристон-призне на месяцы и месяцы, как оставили они там Чичерина. Но пренебрегут ли они судьбой Локкната? Все свидетельствует о том, что они спешат. Очевидно, Петр вел себя верно и не о чем жалеть. Легко сказать: жалеть не о чем. Когда ты один, наверно, так же трудно принять решение, как и его выполнить. Значит ли это, что ты не должен принимать решение?

Вернувшись в гостиницу, Белодед взглянул на деревянное гнездышко с ключом от номера. Завтра среда, и Кира могла подтвердить свидание письмом или телеграммой. Но в деревянном гнезде покоялся только ключ. Петр ждал телеграммы до конца дня, потом утром — напрасно. Он позвонил из города в отель — результат тот же. Потом он подумал, что она всегда была точна, точна до обидного, и решил, что она будет, будет в их час. Он вернулся в отель без четверти шесть — она ждала его в холле, все за тем же столиком.

— Пойдем вдоль Темзы, — сказала она. — Будем идти и идти, пока не дойдем до луны.

Она все рассчитала: луна должна была быть сегодня в девять.

С моря двигались тучи, они были темно-лиловыми, непросвещивающимися и, надвигаясь, будто сплющили чистую полоску неба, и от этого она стала такой яркой

— Все люди, сколько их на белом свете, разделены на два больших народа, только на два: первые живут для себя, вторые — для других...

Он рассмеялся — эта ее мысль определена заранее.

— Прости, а к какому народу ты относишь себя? — решился он спросить ее.

— А разве это не понятно?

— Нет.

— Ты же знаешь, что для меня без мамы нет жизни, — сказала она.

— Это монастырь? — спросил он.

— Если хочешь, монастырь, — ответила она.

— Ты уехала из России из-за мамы?

Она молчала.

— Из-за мамы уехала? — повторил он.

Она вздохнула.

— Я скажу, Петр, но ты меня не осуждай... Кроме мамы, бабушки и брата, у меня никого здесь нет. Пойми: никого...

— Да, говори.

Она опять умолкла.

— Ну, говори же.

— Пойми, Петр. Я честно ехала туда, и Клавдиев — честно...

— Но Клавдиев остался в России! — воскликнул Белодед.

— Клавдиев — да. И бабушка собирается в Россию, как только победит недуги...

— Они — не ты...

— Да, не я, но только не спеши меня осуждать, — заговорила она тихо, волнение источило ей голос. — Для Клавдия родина Россия, для меня... Шотландия.

Он остановился, потом зашагал вперед.

— Я никогда не пойму тебя, — бросил он гневно и обернулся, она медленно шла вслед. «Только не спеши меня осуждать...»

Туча застлала небо, полоска света стала и

уже и ярче — пронзительный свет выхватил высокие крыши храмов, шпили, купола, переплеты моста, выхватил и погас, стало очень темно.

Она стояла сейчас перед ним.

— Только ты не говори, что любишь меня, — сказала она. — И что тебе без меня тяжко. И что приехал сюда потому, что не можешь меня забыть. И что тебе со мной будет хорошо, а мне с тобой. И ласковых слов не говори, совсем не говори, я не хочу, — произнесла она быстро, словно опасаясь, что он ее прервет; она шла где-то рядом, у самого берегового борта, но он едва видел ее.

— Почему не говорить — боишься? — спросил он.

— Боюсь.

Они шли и шли. Иногда он слышал ее дыхание.

— Ты со мной была бы счастлива... — Из всех слов, что она запретила ему произносить, эти были самыми страшными.

Она кинулась к нему.

— Я люблю тебя. Пойми, тебя, тебя...

Туча разверзлась, и на землю пролился свет — они дошли до луны.

Кира стояла сейчас перед ним молчаливая — все, что кричало в ней, затихло, все, что болело, наверно, отболело.

— Я знаю, все кончилось... все, — произнесла она; казалось, она была спокойна.

Поздно вечером позвонил Тейлор. Он сказал, что завтра господин Максим Литвинов будет освобожден.

## 115

«Революция — татарник, на культурных землях не растет». Странно, но именно эти слова пришли Репнину на память, когда поезд уже шел через Германию. Сосед по купе, краснолицый бельгиец, не то поэт, не то архитектор, а вернее, и то и другое одновременно, каким-то чудом ухитрялся выскочить на перрон даже там, где поезд останавливался ровно на столько, сколько требовалось, чтобы подать сигнал к отправлению.

— Чудные люди эти немцы, — хлопал красными веками бельгиец. — Говорят о каком-то фантастическом ящике, который упал с тачки на берлинском вокзале, распался и засыпал весь Берлин листовками с призывом к революции, разумеется, русскими листовками. — Бельгиец недоуменно разводил руками. — Я спрашиваю: «Ящик упал с тачки или с самолета?» — «С тачки», — говорят немцы. «И засыпал весь Берлин листовками?» — «Засыпал». — При этом бельгиец смеялся и выгля-

дал из окна: поезд отходил, а перрон был полон народу, такое впечатление, что пассажиры остались на перроне и поезд ушел пустым.

А раним вечером километрах в двухстах от Берлина бельгиец выглянулся в вагонное окно, восхликал: «Однако эти листовки с берлинского вокзала проникли и сюда!» Вслед за бельгийцем Репнин посмотрел в окно и увидел корпус завода, точно сложенный из тесаных глыб антрацита, асфальтовую мостовую и добрую сотню рабочих, идущих с красным флагом. И вновь пришли на память слова: «Революция — татарник, на культурных землях не растет».

Репнин уже не мог отойти от окна: смеркалось. Черная вода в реках, черные рельсы — они разлиновали и землю, и небо, черные кирпичные заборы, и чайки, грязно-черные, задымленные, на этих заборах. А много позже, вечером, поезд остановился на полустанке, затопленном ночью, и Репнин вышел. В ночи разговаривал колокол. Разговаривал не по-русски. И Репнин вдруг понял, что он в Германии, в той самой трижды проклятой, вильгельмовской, которая виделась ему единственной виновницей русского горя. И Репнину вдруг показалось, что ничто не изменилось с тех пор, как началась война: есть фронт от Черного моря до Белого, есть траншеи и в этих траншеях русские люди. Все было как прежде. Непонятно лишь, как Репнин преодолел фронт и очутился под Берлином, на этой платформе, затопленной ночью, под этими ударами колокола...

Поезд пришел поздно вечером. Едва он остановился, в дверь купе постучали. Репнин открыл дверь. Черноглазый великан в бушлате, назвавший себя Алексеем Апаторовым, посыским управляющим делами, не сообщил, а доложил, что ему поручено встретить Николая Алексеевича.

Войдя в купе и осторожно закрыв за собой дверь, он сказал, что посол и его коллеги покинули Берлин еще той ночью, вынуждены были покинуть, и что единственным хозяином в посольстве является он, Алексей Апаторов. Дождавшись, пока Репнин закончит сборы, Апаторов взял из рук Николая Алексеевича один из чемоданов и двинулся было к выходу, но остановился, заметив, что на перроне Репнина ожидает некто Шульц.

— Не хочет и слышать, что вы поедете вместе со мной, — произнес Апаторов, не глядя на Репнина. — На мое замечание, что я готов отвести вам хоть целый особняк, ответил, что особняк есть и у него.

Репнин сказал Апаторову, что Шульц действительно его давний приятель и Николай Алексеевич хотел бы этот вечер провести с ним, к тому же у него есть к Шульцу дело.

Невелика дорога от купе до перрона, но сколько мыслей промелькнуло у Репнина. Он вспомнил посольскую квартиру Шульца в красном доме у Исаакия, пианино в простенке, на котором недурно играл хозяин, двухпудовые гири в углу. — Шульц убедил себя, что обладает силой необыкновенной, и, обмениваясь первым рукопожатием, считал необходимым так сдавить руку своего нового знакомого, что у того слезы выступали, при этом дамы не могли рассчитывать на снисхождение. В остальном Шульц был славным малым: он даже увлекался философией и слыл вольнодумцем, не щадя и монарха, который правило в подборе потсдамских офицеров (разумеется, по росту) перенес на подбор статс-секретарей; последний из них (по иностранным делам) был назначен после того, как покорил сердце императора тем, что во время поездки в Танжер легче и быстрее остальных поднимался и спускался по веревочному трапу яхты «Гогенцоллерн». Репнин готовился встретить рыжеусого здоровяка с лицом, усыпаным ярко-красными веснушками (на ум пришла фраза Ильи, обращенная к Шульцу: «Милый Франц, отдаю должное твоей родовитости, но не вижу твою кровь голубой, она у тебя рыжая!»), а встретил сухонького человека с быстрым взглядом.

— Ничего не пойму: ты мне казался и выше и могуче! — произнес Репнин, приветствуя приятеля. — Этак ты и пудовой гири с места не свинешь!

— Я и сам не пойму, что со мной стало — высох, как высыхает кисель! Был кисель, а осталась... корочка! Как будто и не болел, но даже ростом стал меньше! Но сила есть! — Нет, это только казалось, что Шульц изменился, он был прежним.

Они вышли из здания вокзала.

— Прости, Николай, но не мог добыть ничего пристойнее, — произнес Шульц и оглядел громоздкое сооружение на дутых шинах. — Революция, как бы это сказать... перетасовала колоду! — Как все иностранцы, которым знание русского языка давалось не без усилий, он дорожил ходкими словечками. — Сам увидишь: потерян счет часам. Нет, усадеб не жгут и пока не берут нашего брата на вилы — это же немецкая революция! Пока, а там один бог ведает!

— Чудно, товарищ Репнин! — поднял могучую руку Апатонов, до сих пор не проронивший ни слова. — Не думал, что увижу германскую революцию! Это, скажу вам, такая картина! Поставили на крыше советского посольства красный флаг, и пошли, и пошли! — Он развел руки. — Для них этот красный флаг — и Москва, и Советы, и Ленин... Велите гнать на Унтер-ден-Линден! — обратился он к Шуль-

цу. — Там вся картина германской революции как на ладони!

Они действительно проникли на широкую Унтер-ден-Линден. Репнин был последний раз в Берлине едва ли не четверть века назад. (Была конка, и по городу расхаживали военные в эполетах.) А сейчас он смотрел кругом во все глаза и ничего не узнавал. Берлин был и тот и не тот. Город точно возник в памяти и тут же рушился, заново отстраивался и мгновенно обращался в руины. А толпа становилась все гуще — веселая воинственность власть имущих.

— Вы взгляните, взгляните сюда! — вдруг воскликнул Апатонов.

Репнин поднял глаза и все понял, до дрожи внутри, до холодного озноба понял: дом с черными затененными окнами и красный флаг на крыше — советское посольство.

Что произошло в течение этого вихревого года, если он, Репнин, очутился посреди революционного Берлина, имея по одну руку Шульца, а по другую Апатонова? Где находится Репнин сейчас, на каком свете, в начале трудного пути или на той островерхой хребтовине, на которую и взойти было немыслимо, а сойти во сто крат труднее? Как должен был вздышаться и перевернуться вверх дном мир, а заодно с ним и Россия, чтобы произошло такое?

— Не тревожьтесь, я с вами, — произнес Апатонов, легонько, но властно сдавливая локоть Николая Алексеевича. — Салют, камарад! — крикнул он старику в вязаной шапочке и, обратив лицо к Репнину, продолжал: — Видите отметину? — указал он на шрам, перечеркнувший щеку. — Нет, не живой рубец, а знак революции. — Он прикрыл ладонью шрам. — Нет, не на море — на суше! Салют, камарад! — Он скосил веселый глаз на человека в квадратных очках и, взглянув на Репнина, продолжал: — Июнь пятого года, Черное море, порт Одесса. Миноносец номер двести шестьдесят седьмой. Тот самый, что пришел в Одессу вместе с броненосцем «Потемкин-Таврическим». Там было так, как сейчас в Берлине. Только не дай бог, чтобы здесь было так, как там. Салют, камарад!..

Шульц отпер калитку, пропустил Репнина, а потом долго и тщательно проверял, надежно ли заперта калитка, сотрясая ее крепкой рукой. Когда шли темным садом, Репнин еще долго слышал, как гремят на камнях экипаж, на котором уехал Апатонов и увез вещи Репнина — Николай Алексеевич полагал, что задержится допоздна.

— Только подумать, русская революция в Германии!

— Русская? — переспросил Репнин.

— А ты думаешь, французская? — мгновенно отозвался Шульц.

— Может быть, и... французская, — заметил Репнин.

Они пришли в маленький особнячок в глубине сада, похожий на охотничий домик.

— Нравится тебе моя обитель? Я тебе сейчас все объясню. — Он взглянул в окно. — Там у меня мой особняк. Там электричество, паровое отопление и холодильные шкафы. Там двадцатый век. А здесь — век девятнадцатый. — Он оглядел комнату. — Здесь сальные свечи, добная бургерская печь, которую можно истопить дровами, березовыми дровами — я тебе это покажу. Сейчас я поставлю сковороду и изжарю сосиски.

В самом деле, в мгновение ока полыхнул в печи огонь, запахло березовыми поленьями, запахло маслом, и добрый запах жареного мяса пошел по дому.

— Это надо есть горячим, — произнес Шульц, извлекая шипящую сковородку из самого пламени.

Они осушили первые бокалы — наступило молчание, чуть торжественное.

Горели свечи, потрескивали поленья, сумеречные тени вздрагивали на стеклах окон.

— Как в исповедальне, — засмеялся Репнин.

— Недавно здесь исповедовался Бернгард Бюлов — он сидел на своем месте.

— Бюлов? — Репнину захотелось встать и оглядеть стул, на котором он сидел.

Только подумать: Бюлов! Для Репнина Бернгард Бюлов олицетворял если не золотую эпоху русско-германских отношений, то, по крайней мере, пору, когда не все мосты еще были сожжены и на будущее смотрели не без надежд, правда, весьма скромных, но все-таки надежд. Сын известного дипломата, ставшего сподвижником Бисмарка, Бернгард Бюлов пришел к высокому положению имперского канцлера путем, который может быть назван немецким. У дипломатов были свои привилегии, когда речь шла о высоком положении в государстве. Но право на дипломатическую карьеру обреталось не только в лучших университетах той поры (Лозанна, Лейпциг, Берлин), но и в армии. Поэтому вслед за университетом у Бюлова был фронт; на франко-прусскую войну будущий канцлер пошел волонтером, а явившись после фронта в иностранное ведомство, мог рассчитывать лишь на весьма скромный дипломатический ранг — атташе. Казалось, ни образование, ни связи, ни военные заслуги, ни более чем высокое происхождение не дают Бюлову никаких преимуществ: он был в самом начале пути. Пятнадцать лет — небольшой срок, чтобы атташе стал послаником даже в периферийной европейской столице, но пятнадцать лет он отмерил сполна. Потом (это характерно) пошло быстрее: посол в Риме, статс-секретарь

по иностранным делам и, наконец, канцлер, при этом на срок значительный — девять лет. Наверно, Бюлов хотел быть преемником бисмарковского начала германской политики, но время было не то, да и умения, должно быть, недоставало. По признанию Бисмарка, он ушел в отставку, будучи обвинен в русофильстве. Бюлов, по его словам, тоже считал главным средством своей политики поддержание добрых отношений с Россией, при этом пытался даже журить Бисмарка за то, что тот подчас был непочтителен с Горчаковым. Но деятельность Бюлова, в особенности на посту канцлера, плохо соотносилась с этим его утверждением. Отсутствие бисмарковского таланта и характера Бюлов пытался заменить тонкой лестью. На Вильгельма, как это было установлено задолго до Бюлова, это средство действовало безотказно. «Ну, похвалите же меня!» — требовал он от Бюлова прямо и грубо. Бюлов зябко поводил плечами и хвалил. Лесть — конь резвый, но ненадежный, — обойти кругой поворот он может, преодолеть длинную дорогу — никогда. Бюлов пал.

— Бюлов был здесь до отречения... кайзера? — спросил Репнин.

— До отречения, — сказал Шульц, с угрюмой пристальностью глядя на Репнина, и разлил вино по бокалам.

— И речь шла об отречении?

— Да, конечно. — Шульц коснулся бокала, но не поднял его. — Бюлов сообщил, что накануне с ним беседовал один испанский дипломат. Испанец сказал, что кайзер попросил у Испании убежища. — Шульц не отнимал руки от бокала, однако и не пытался бокал поднять. — Был даже получен ответ. В соответствии с рыцарским духом нации, король испанский готов был принять кайзера. Но как добраться до Испании — вот вопрос! — Голос Шульца воспринял. — Обычный путь через Париж и Энди-Ирун так же малоприемлем, как и морской через Италию и Барселону. Единственный путь — подводная лодка и Бискайский залив. Господи, короли спасаются бегством на подводных лодках! За твоё здоровье, Николай! — неожиданно поднял бокал Шульц.

— А я думал, за германского императора! — рассмеялся Репнин.

— Ты полагаешь, что я вел разговор к этому? — произнес Шульц, пряча улыбку в рижие усы, ему нелегко было ее упрятать. — Ни один германский монарх не был обезглавлен, — произнес он с пафосом, который Репнин не очень понял. — Ни один германский правитель, ни тайно, ни явно!

— Погоди, погоди, это тоже сказал Бернгард Бюлов? — спросил Репнин.

— Бюлов.

— В знак скорби по царствующему дому?

Шульц взял бокал, взял, как показалось Репнину, чтобы отвести глаза от собеседника.

— Думаю, в знак скорби и... осуждения Вильгельма!

— Но что надо было делать Вильгельму? — посмотрел Репнин на Шульца.

— Сражаться, сражаться, чего бы это ни стоило! — Шульц налил новый бокал. — Покрепче натянуть вожжи и воевать. Всех наличных мужчин, у которых есть силы, чтобы нажать на спусковой крючок и выстрелить, отправить на фронт. Если даже император смалодушествует и покинет родину, вернуть его и заставить быть императором!

— Так полагал Бюлов?

Шульц насторожился: его рыхие уши пришли в движение.

— Да, Бюлов.

— А как думаешь ты?

Руки Шульца невольно потянулись к ушам — надо было погасить пламя, живой ладонью зажать.

— Республика... не для Германии.

Часом позже они вышли из дома, оставив дверь в доме открытой — в такой жаре не усидишь. Долго стояли посреди мокрого сада, дожидаясь, пока глаза будут способны что-то видеть. Потом во тьме обозначилась корона дерева с широкой прядью сухих листьев, светлый круг фонтана, бетонный бордюр садовой дорожки, сам дом, большой, с верандой, выходящей в сад.

— Позавчера стояли здесь с Гофманом. Да, тем самым, и он, представь себе, проклинал Брест! Все несчастья, так думал он, начались с Бреста. Да, именно Брест дал возможность Лондону и Парижу убедить мир в претензиях немцев на мировое господство.

Шульц затих и поднял глаза на дом, черные окна которого, окантованные светлыми рамами, были будто развесаны в ночи, каждое на своей веревочке, может, поэтому каждое по-своему раскачивалось и вздрагивало.

— Это Гофман проклял Брест? — спросил Репнин.

— Нет, не только — Шульц тоже. — Он отвел глаза, неспроста он приволок Репнина в эту тьму, здесь упрятать глаза легче. — И все-таки... не дай бог, чтобы поднялась у вас рука на Брест! Для вас Брест — территория, для нас — больше...

— Революция? — спросил Репнин, он хотел, чтобы Шульц договорил до конца, ничего не утаил, все выложил.

— Нет, я этого не сказал, — заметил Шульц.

В доме зазвонил телефон — звонок был тонкий, режущий.

— Слышишь? Звонит Мольтке! Нет, не тот — его племянник, шеф информации в «Берлинер тагеблатт». Согласился в знак личных симпатий сообщать все чрезвычайное — так сказать, личная служба президента! — Он засмеялся. — Вчера поднял с постели и сообщил, что в Компьенском лесу подписан договор. Разумеется, я его отругал: «Что же здесь чрезвычайного? Я знал об этом еще первого августа четырнадцатого года!» — Они вошли в дом, Шульц пошел к аппарату, не торопясь, демонстрируя характер. — Здравствуй, дружище Мольтке! Что ты сказал? Кайзер прибыл в замок Амеронген? Ну что ж, вот это сообщение чрезвычайное! Благодарю тебя, Мольтке! — Шульц положил трубку, печально взглянул на аппарат. — Не телефон, а часы революции!

Он сел за стол, обернулся к печи, в которой поленья уже были превращены в угли, крупные, затянутые мерцающей пленкой.

— Подсыпать сухих листьев в огонь? Запахнет, как в осеннем лесу. — Он налил еще вина. — Мне говорили приятели, бывавшие в России, что видели тебя на Спиридоновке... Вон как! — Он изобразил голосом нечто похожее на радость, однако в глазах была тоска. — Я сейчас вспомнил: ты говорил мне, что знал в Лондоне некоего Чичерина. — Он продолжал смотреть на Репнина, а глаза все еще были тоскливы. — Это нынешний Чичерин?

— Теперь я вижу: ты привел меня в исповедальню! — засмеялся Репнин и отодвинулся от печи — угли жгли немилосердно, их устойчивый жар, казалось, стягивал кожу.

— Нет, ты ответь: Чичерин нынешний? — настаивал Шульц.

— Нынешний — другого нет, — сказал Репнин.

Шульц дернулся плечами.

— Значит, скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты?

— Чтобы понять эту фразу, за ней должна быть следующая. — бросил Репнин; разговор обострялся, Репнин понимал это достаточно.

— Изволь, Чичерин — друг Либкнехта, очень близкий. Ты — друг Чичерина, — сказал Шульц.

«Вот и стал ты главой департамента мировой революции! — подумал Репнин. — Красный Карл, перед которым трепещет юнкерская Германия. Карл, чьей заветной мечтой являются германские Советы, сделался едва ли не твоим единомышленником. Видно, все усилия Шульца были направлены к тому, чтобы установить эту истину. И эта исповедальня с печным отоплением и сальными свечами, и шипящая сковорода, и медленно колеблющееся вино в бокалах, и березовые поленья, и запах горящих листьев, — все, все было призвано подтвердить одну эту истину».

Вновь бешено зазвонил телефон.

Шульц устремился к телефону — он сорвал трубку, однако не удержал ее, трубка грохнулась об пол, и вместе с гудением мембранны в тишину дома ворвался голос, точно барабанная дробь, сбивчивый и громкий.

— Мольтке! — произнес Шульц, приложив трубку к уху. — Мольтке! — Голос в трубке, казалось, остановился, а вместе с ним и дыхание Шульца. — О господи, — произнес Шульц по-русски и выронил трубку; она с лету ударила о стену, и мембрана загудела с новой силой, а вместе с нею и голос Мольтке в трубке — он гневался, этот голос, и вопил о сострадании. Когда Репнин вошел в соседнюю комнату, телефонная трубка еще раскачивалась, а подле сидел Шульц, уперев кроткие глаза в пол.

— Ленин порвал Брестский договор, — произнес Шульц и для наглядности изобразил это руками. — В ключья!..

Репнин оделся и вышел.

Раннее солнце, самое раннее, просвечивалось, как сквозь дымное стекло.

Калитка на улицу была распахнута — дворник мел улицу. Видно, только что прошел дождь, иказалось, что плоские камни мостовой выкленены газетами и листовками.

Репнин пересек площадь и вышел к собору. Двери в собор были открыты — собор дышал холодом.

Репнин взглянул на собор. Ему нетрудно было обнять здание взглядом.

Симметрия. Семь стрельчатых окон — справа, семь — слева.

Ангел — справа, ангел — слева.

Колокольня — справа, колокольня — слева.

Симметрия, классическая симметрия, нет более точной формулы нейтралитета.

Разложи собор на унции — ни одной стороне не отдашь предпочтения.

Кажется, ведь сюда классических нейтралов — шведов и швейцарцев, всех, кто испокон веков стоял на проволоке, стараясь удержать равновесие: «Вот ваша формула, если хотите увидеть ее воочию».

И мысль, точно толчок сердца, остановила Репнина: а формулой твоей жизни не является ли та же симметрия?

Семь стрельчатых окон — справа, семь — слева.

Колокольня — справа, колокольня — слева.

Ангел — справа, ангел — слева.

Нет, Репнин должен додумать эту формулу до конца.

Совесть — справа, а жизнь — сложная, обремененная сомнениями, очень земная — слева?

Шульц — справа, а Апатонов с рассеченной щекой... куда поместить матроса Апатоно-

ва, вторгшегося в жизнь Репнина сегодня ночью?

Собор точно переселил в Репнина и недвижимость своих плит, и каменную тишину, и холода — нужна немалая сила, чтобы сдвинуться с места.

Заговорили колокола, сразу все, торопясь, точно запоздали с началом.

## 116

Поезд с Петром пришел в Москву вечером, и, не заезжая домой, Белодед поехал в наркомат.

Елена разыскала Петра по телефону под утро.

— Приезжай, очень прошу. Ничего не спрашивай, только скорее!

Нет зловещее звука, чем глухой щелчок падающей телефонной трубки, означающий окончание разговора.

Ему открыла Елена. Она хотела что-то сказать, но успела лишь вздохнуть и ткнулась нимом в грудь ему.

— Господи... — могла лишь произнести Елена.

Она отыскала руку Петра и, удерживая ее, повела его из комнаты в комнату, через весь дом. Пахло йодом и сладкой до тошноты, до головокружения валерьянкой, зловещим дыханием беды. Она дошла до двери Ильи Алексеевича, на мгновение остановилась, потом коротким движением оттолкнула от себя дверь, именно оттолкнула. Горела настольная лампа. Старший Репнин лежал на софе, опрокинувшись, точно в лицо ему пахнуло смертным пламенем и, отстранившись, он упал на спину. Крупные осколки стакана, выпавшего из уже слабеющей руки, усыпали пол.

— Германия? — спросил Петр.

— Все сразу! — произнесла она, не поднимая глаз на Петра, ей было больно на него смотреть в эту минуту. — Он кинулся за Егоркой в Стокгольм, но тут же повернулся обратно. Разве это на него не похоже? — произнесла она после минутной паузы — ей надо было совладать с тем, что она только что в Петре заметила. — Нет, это он, он!.. — точно в озинобе она повела плечами, ссутулилась. — Я еще не знаю, что произошло, не подпустила себя к этому, но знаю, что кончилось в жизни что-то большое...

А он слушал ее и думал: «Кончилось или началось? Нет, он не рад смерти Патрокла. Не рад... А это не лицемерие? Пусть бы он жил... жил и единоборствовал? Видно, непросто разобраться в этом — умер человек, который тебе враг, а другу твоему близок. Но в этом ли смысл того, что произошло: закончился смер-

тельный тур. Он начался прошлой осенью, этот тур, и завершился только что. Год! Один год — от осени до осени, по кругу. Он замкнулся, этот круг. И все, что легло в пределах этого кольца, было отмечено борьбой насмерть. И январь, и март, и июль, и август, и, как теперь, ноябрь! Вон какие костры поднялись к небу, костры что вехи нелегкого пути. Наверно, немалое мужество нужно, чтобы пройти по этому пути, — храбрость жизни...

Ночью, облачной и лунной, Петр пришел в Кремль. Он подошел к Малому дворцу, по при-

вычке взглянул на окна в третьем этаже. Вспыхнул и погас свет, точно человек появился в комнате и тотчас ее покинул. Петр замедлил шаг. Хлопнула дверь, и тень легла на плоский камень. Петр смотрел человеку вслед, то ли ветер был встречным, то ли дорога стала круче, человек шел небыстро, заметно приподняв больное плечо, но в шаге его было упорство. Вот он вышел на открытую тропу и возник с неожиданной ясностью, вопреки расстоянию. Человек шел...

Москва, 1958—1966

*Савва Артемьевич Да尼гулов*

**ДИПЛОМАТЫ**

Зав. редакцией В. ИЛЬИНКОВ

Редактор О. ЖДАНКО

Художественный редактор Г. Андronova

Технический редактор Л. Платонова

Корректоры Т. Кубардина и Е. Патина

Фото Н. Кочнева

Сдано в набор 11/XI 1966 г. Подписано к печати 20/XII 1966 г. А 19025. Бумага 84×108<sup>1/16</sup>, 6,5 печ. л.  
10,92 усл. печ. л. 12,977 уч.-изд. л. Заказ № 668. Тираж 3 000 000, 2-й завод: 1 300 001—1 600 000 экз.

Цена 25 коп.

Издательство „Художественная литература“.  
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Ленинградская типография № 1 „Печатный Двор“ имени А. М. Горького Главполиграфпрома  
Комитета по печати при Совете Министров СССР, Гатчинская, 26.

Обложка отпечатана на Ленинградской фабрике офсетной печати № 1, Кронверкская, 7.

Отпечатано с готовых матриц в типографии им. Володарского, Ленинград, Фонтанка, 57. Зак. № 115.

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Вышли в свет:**

**В. Г. КОРОЛЕНКО.** Повести и рассказы в двух томах. Том 1.  
М. 1966. 552 стр. 1 р. 03 к.

**ЛАКШМИ.** Сердце женщины. Повесть. Перевод с тамильского  
А. Ибрагимова. Примечания А. Ибрагимова. М. 1966. 143 стр. 33 к.

**ЛЕВ ОШАНИН.** Сто песен. М. 1966. 207 стр. 2 р. 10 к.

**СЕРГЕЙ ПОДЕЛКОВ.** Власть сердца. Стихотворения и поэмы.  
Вступительная статья Л. Озерова. М. 1966. 227 стр. 52 к.

**Н. ШАМОТА.** О свободе творчества. М. 1966. 308 стр. 74 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“

*В третьем номере*

**РОМАН-ГАЗЕТЫ**

читайте новый роман

**БОРИСА ПОЛЕВОГО**

**„Доктор Вера“**

В городе, оккупированном немецко-фашистскими войсками, в подвале разрушенной бомбёжками больницы, остались больные и раненые, которых не успели эвакуировать.

Начальником этой больницы волею обстоятельств становится рядовой хирург, главная героиня романа Вера Трешникова. Больница для гражданского населения становится и местом, где находили убежище раненые бойцы Советской Армии.

В тяжелейших условиях, без продовольствия и медикаментов, в холодных и душных подвалах жили, работали, делали операции, лечили и ставили на ноги раненых и больных „доктор Вера“, как любовно называли ее окружающие, и ее верные помощники и друзья, не подозревая, что каждый прожитый ими день — это подвиг.

„Доктор Вера“ — роман о самом трудном героизме, о героеизме будничном, повседневном, о душевной красоте и величии советского человека.

25 к.

70782

